И. Вороницын

История одного каторжанина



Государственное издательство
1926

М. С.

И. ВОРОНИЦЫН

ИСТОРИЯ ОДНОГО КАТОРЖАНИНА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД



Гиз. № 11612.
Ленинградский Гублит № 18828.
14$^1/_2$ л. Отпеч. 4000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

«История одного каторжанина» — это не фикция, не вымысел, а самая подлинная история Бориса Петровича Жадановского, подпоручика пятого понтонного баталиона, ставшего во главе восставших войск в Киеве в ноябре 1905 года, осужденного за это в бессрочную каторгу, прошедшего через страшные муки с гордо поднятой головой пленного, но не побежденного революционера, вышедшего волею восставшего народа на свет революции в 1917 году и погибшего под красным знаменем, защищая революционные завоевания, в Крыму, в апреле 1918 года. Автор этой книги лично знал его, делил с ним вместе каторжные лишения в 1906—1912 гг. в Смоленске и Шлиссельбурге, а в годы, проведенные Жадановским в централах Орла и Херсона, косвенно следил за его судьбой. Естественно поэтому, что чувство любви к этой замечательной личности, чувство преклонения перед ним как перед идеальным типом борца и человека, должно было примешаться в этом рассказе к моменту исторически-описательному. Но это не узко-субъективное и не слепое чувство. Нет *никого*, знавшего Бориса Жадановского хотя бы самое короткое время, кто не преклонился бы перед ним и этого не выразил бы тем или иным способом.

Однако, личные наблюдения и воспоминания автора, как в описании личности Жадановского, так и в описании его каторжной жизни, занимают очень небольшое место. Это — *документальная история* преимущественно. По замыслу автора, кроме того, это не только история каторжанина, но и материалы по истории политической каторги в период от революции пятого года до революции семнадцатого года.

Автору, давно разыскивавшему близких Жадановскому людей, благодаря счастливой случайности удалось встретиться с сестрой Бориса—А. П. Жадановской, которая любезно согласилась передать ему для разработки архив семьи Жадановских. Из этого архива почерпнуты сведения о семейной, корпусной и училищной жизни героя этой истории. В нем среди прочего материала оказались черновики и подлинники прошений и писем его роди-

телей к разным высоко-и низкопоставленным чинам разных ведомств, касающиеся его судьбы, и ряд ответов на них; вырезки из газет 1905 — 1907 гг., в которых упоминается его имя или в которых просто говорится о разных обстоятельствах того времени; письма товарищей Жадановского по каторге, выходивших на поселение и спешивших поделиться с его родными новостями о нем и выразить им свои чувства к нему; наконец, письма самого Бориса Жадановского из каторги, до 140 номеров, как легальные, пропущенные администрацией каторги, так и немалое количество выскользнувших за тюремные стены разными нелегальными путями. Совершенно особое место в разработанном материале занимает «Дело о каторжном арестанте Борисе Жадановском», заведенное в смоленской каторжной тюрьме и продолженное последовательно в Шлиссельбурге, Орле и Херсоне тоже в виде отдельных «дел», подшивавшихся к первоначальному. «Дело» это Жадановский при своем освобождении в Херсоне изъял из тюремной канцелярии и оставил в Харькове у сестры на хранение, рассчитывая со временем использовать его для описания своей каторжной жизни. В самом разгаре своей революционной работы в Крыму он не раз вспоминал об этих драгоценных документах и в коротеньких, на спех написанных письмах всякий раз просил беречь их как зеницу ока. Материалы эти как дающие освещение жизни каторги с мало описанной до сих пор стороны, использованы в нашем рассказе в полной мере.

Очерк восстания киевских сапер и предшествующего этому восстанию периода составлен отчасти по обвинительному акту и газетам того времени, отчасти по устным воспоминаниям самого Жадановского, которыми он, в бытность его в Шлиссельбурге, делился с автором.

Ряд лиц содействовали автору в собирании материалов. Он приносит им здесь свою благодарность. В частности, Е. А. Шибинской он обязан сведениями о первых шагах Жадановского на революционном поприще; Л. И. Трофимовой—сообщением о его последних днях и смерти; М. Л. Лихтенштадт—сообщением писем Жадановского, написанных им по выходе из тюрьмы ее сыну В. О. Лихтенштадт—тоже вождю политической каторги и тоже славно сгоревшему в огне революции.

г. Пермь
Июнь 1924 г.

ЧАСТЬ I

ДО КАТОРГИ

I.

КАДЕТ ЖАДАНОВСКИЙ.

Производство в вице-унтер-офицеры.—Призвание.— Офицер-воспитатель и ротный.—Корпусная жизнь.—Выпуск.

Если бы кадету первой роты седьмого класса второго отделения Петровского Полтавского Кадетского Корпуса Борису Жадановскому 10 марта 1903 года сказали, что не пройдет и трех лет, как он станет заклятым врагом «царя и отечества», он презрительно вздернул бы своими худыми детскими еще плечиками и резко отчеканил бы:

— Вздор! Я всегда буду рад умереть за царя и отечество и от всей души ненавижу внутренних врагов.

И в ясных серых, почти стальных глазах сверкнули бы искры глубокой веры и убежденности, а в голосе чистом и резком послышались бы ноты непреклонной решимости.

В этот первый весенний день, солнечный и на диво теплый, Борис Жадановский получил вице-унтер-офицерские нашивки в воздание за отличные успехи в науках и за внимательное и прилежное отношение к учебному делу. Новенькие нашивки блестели под яркими лучами солнца. И от всей миниатюрной и хрупкой, но поразительно стройной фигуры излучалось сияние юной радости и пылких надежд.

И внутри, под упрямым лбом, за зеркалом чистых глаз роились светлые и весенние мысли. Скоро выпуск. Он кончит, если не первым, то вторым во всяком случае. Не даром в двух последних аттестациях ему выставлен средний балл 10,46. Надо только немного приналечь, и выпускной средний балл будет выше одиннадцати. А это значит, что он окончит курс по первому разряду с правом поступления в высшие специальные училища. Как будет рад папа! Еще на Рождестве, когда Боря приехал в Харьков на праздники, старик зазвал его к себе в кабинет и, пряча свою отцовскую любовь и нежность под напускной суровостью, запинаясь и как-то смешно подергивая левой рукой, говорил:

— Ну, вот, Боря... Ты в последний раз приехал к нам кадетом. В наступающем году ты кончаешь корпус. Постарайся

кончить так, чтобы двери в инженерное училище не оказались закрытыми для тебя. Ты ведь по прежнему хочешь быть инженером?

— Да, папа.

— Ну, вот... Я одобряю это намерение. И хотя я за 33 года дослужился всего до инженер-капитана, но я доволен своим делом. А тебе будет легче служить, теперь военная служба совсем другое дело, чем прежде. И потом, если ты кончишь специальное училище, тебе легко будет перейти на гражданскую службу... впоследствии, если ты захочешь.

— Нет, папа, я не захочу. Я люблю военное дело. Это — мое призвание. И я постараюсь...

Добродушная улыбка скользнула по лицу старого капитана и сейчас же привычно спряталась в густой с проседью бороде. Он еще больше, чем обычно, засутулился в своем кресле и, скрывая засверкавшие в глазах блестки, стараясь говорить возможно суше, сказал:

— Ты знаешь, Боря, что когда я умру, останется только пенсия. Я ничего не нажил. Не как другие. Девочки еще не скоро станут на ноги и бесприданницы они. Мама слабеет. Тебе придется о них подумать. Но я уверен в тебе.

Этот разговор вспоминался кадету. При мысли о той радости, какую испытают отец, мать, сестры и маленький бутуз Миша, когда он наденет юнкерскую—почти офицерскую—форму, тепло и весело стало ему. Были и еще мысли, мысли восемнадцатилетнего юноши, влюбленного во всех подруг своих сестер, во всех барышень, с которыми на балах в офицерском собрании он танцевал мазурку, поражая своей легкостью и ловкостью. И потом еще мысль, много мыслей о том, что будет, когда он кончит и училище, когда наденет офицерскую форму и станет на собственные ноги.

* * *

Офицер - воспитатель, подполковник Риттих, акуратно подсчитав и проверив (не вышло бы ошибки) баллы по всем предметам аттестационной ведомости, вывел средний балл: одинадцать целых и семнадцать сотых. В рубрике «замечания» он медленно и твердо заполнил: «Окончил курс по первому разряду с правом поступления в специальные училища». Кадет в его отделении числилось тридцать два, и Борис Жадановский тридцать из них перегнал в своих успехах. Но только в успехах. По поведению Риттих считал его одним из самых последних. Он неизменно во всех аттестациях ставил ему по поведению десять, хотя прямых, самоочевидных поводов к этому снижению балла не имел и хотя, с другой стороны, он нередко ставил двенадцать таким кадетам, которых он самолично уличал в курении и даже в употреблении спиртных напитков. Жадановский же

не курил и приверженности к вину не имел. Не имел он и других пороков, свойственных всякому интернату, в котором мужская молодежь в неизбежные часы праздности и отдыха ищет естественного реванша за принудительно неестественный образ жизни. Он не только не сквернословил и не языкоблудствовал насчет женщин, но, не боясь насмешек, всегда открыто и прямо выражал свое неодобрение этому излюбленному занятию всех, от мала до велика, обитателей корпуса...

И в выпускной аттестации, подводя итог всему семилетнему пребыванию Жадановского в корпусе, в графе «поведение» он, не колеблясь, поставил десять.

Исполнив в этом отношении свой долг, офицер-воспитатель с легким сердцем продолжал писание остальных аттестаций своего отделения, и, когда это дело было окончено, понес приготовленную пачку на подпись ротному командиру.

Фронтовик и бурбон, полковник Юркевич, командир первой роты, мало вникал в воспитательское дело. От кадет он требовал прежде всего молодцеватости и выправки, уменья стать во фронт, отрапортовать громко, четко и ясно, не смигнуть перед пронизывающим оком начальства. Духовный мир кадет, их мысли и настроения, пороки и добродетели для него вообще не существовали, лежали вне поля его наблюдения и, пожалуй даже, сознания. И он откровенно презирал воспитателя Риттиха, который по существующей среди педагогического персонала военно-учебных заведений традиции, хотя и разыгрывал из себя «настоящего» боевого офицера и носил неизвестно почему красный темляк у шашки, однако оставался всегда ярко-выраженным типом немца-воспитателя, иезуита по своим педагогическим приемам и глубокого, хотя и несознательного «штафирки» по своему отношению к военному делу. На откровенное презрение ротного командира Риттих отвечал покорной почтительностью и любезностью, глубоко скрывая свою ненависть, но не упуская благоприятного случая подчеркнуть ограниченность и неразвитость Юркевича даже перед кадетами. Эта вечная вражда, с одной стороны по солдатски грубо-откровенная, с другой—подколодно-ехидная, служила вечным предметом кадетских разговоров и интересов, питая их изощренно-недружелюбную наблюдательность в отношении всего смешного и некрасивого, характеризующего начальство. Большинство кадет все же стояло на стороне Юркевича, импонировавшего прямолинейностью своей натуры, грубостью, элементарной справедливостью и порою срывающимися с языка казарменными словечками. «Настоящий фронтовик. Ему гвардейским полком командовать!» — часто во время ученья проносился по рядам громкий шопот восхищения, снисходительно и не без внутреннего удовольствия терпимый «фронтовиком», но всегда вызывавший кисло-презрительную улыбку на бледном одутловатом лице Риттиха.

У Риттиха открытых сторонников совсем не было. Но у него были «любимцы», тот сорт кадет, у которых школьническое пройдошество свидетельствовало о будущем карьеризме, одной из глубоких язв, обнаруживавших разложение военного сословия в период, непосредственно предшествовавший русско-японской войне и первой революции. «Любимцы» воспитателя любовью товарищей не пользовались. Их терпели, а многие даже уважали, завидуя их способности улавливать слабые струнки всесильного Риттиха и умело играть на них в свою пользу. В своем отделении один, может-быть, Жадановский искренне возмущался институтом фаворитизма, а к самим «любимцам» относился с нескрываемым пренебрежением. За это так же, как и за отрицательное его отношение к срамословию, как и за его крайнюю щепетильность в вопросах чести и достоинства, как за его непонятный идеализм и нравственную чистоплотность, его называли Дон-Кихотом, белоручкой, кисейной барышней, недотрогой. В этих кличках сказывалось не столько презрение к натуре более тонкой и чувствительной и, следовательно, меньше подходящей к тому среднему уровню, под который искусственным подбором семейной обстановки и корпусного воспитания подгонялась военная молодежь, сколько смутное понимание того, что эта натура в дальнейшем ее росте, несмотря на всю ее неприспособленность, неизмеримо перерастет свою среду и в неизбежном столкновении с нею победит ее.

А неприспособленным Жадановский был со дня своего поступления в первый класс кадетского корпуса (он перешел в корпус по окончании первого класса реального училища) и неприспособленным остался до дня окончания его в июне 1903 года. Много лет спустя, вспоминая в кругу наиболее близких товарищей по каторге годы своего учения, он говорил:

— Ну, ничего, ничего светлого, такого, чтобы сейчас вот, вспоминая об этом времени, душа подпрыгнула от радости... Одна казарма, мертвое ученье, холод, мрак. Хуже тюрьмы уж потому хотя бы, что здесь я знаю минуты свободного общения с родными по духу людьми. Здесь я развиваю свой ум, увлекаюсь тем, что способно меня увлечь, не связан оглядкой, не скован дисциплиной. А там было... Если и был порыв протеста когда-нибудь, если что-нибудь возмущало невольно, то самому приходилось смирять себя, потому что... Ну, просто потому, что там вся эта мерзость была в порядке вещей и ты не был бы кадетом, если бы не принимал и даже не одобрял ее... как будущий офицер, блюститель «воинского духа». Это делалось как-то невольно и само собой.

По его словам, у него не было того корпусного патриотизма, которым, особенно в старших классах, отличались все кадеты. Он всегда с нетерпением ожидал наступления летних каникул, больших праздников, предвкушая радость свидания с близкими,

свободу от корпусного барабана, регулирующего всю жизнь, и возвращался снова в корпус с чувством досады и сознанием исполнения трудного долга.

«Я очень сдержан в письмах,—писал он матери из Шлиссельбургской крепости в сентябре 1911 года после получения известия о смерти отца. — А в детстве эта черта была, так мне по крайней мере кажется, развита еще в большей степени. Я, помню, до самых почти последних классов корпуса тосковал страшно после приезда в корпус из дому. Но в моих письмах, конечно, очень мало можно было найти намеков на эту тоску».

В том году самый младший член семьи Жадановских—Миша поступил в корпус. И, сравнивая его письма оттуда со своими корпусными письмами, Борис вспоминает: «В его лета я был гораздо, во-первых, самостоятельнее, был менее ребенком, и, во-вторых, — и это главное — был более скрытен. У Миши удивительно много откровенности, у него нет этой боязни выказывать перед другими, хотя бы близкими, свою душу». В зам[redacted] кругу корпусной жизни, холодной, без света и ласки, чу[redacted] нежная душа мальчика должна была неизбежно отгородиться стеной от внешнего мира. И, может-быть, этому именно обстоятельству обязаны мы тем, что Борис Жадановский в годы возмужания и борьбы стал таким, каким мы его знали и любили. Сокровища души и сердца не растратились в бесплодных излияниях детства, а сконцентрировались и кристаллизовались, чтобы дать нам законченный тип настоящего человека и революционера.

* * *

Бегло и небрежно просматривая кадетские аттестации, полковник Юркевич вдруг поднял на Риттиха недоумевающие глаза.

— Позвольте! Почему вы поставили Жадановскому за поведение десять?

Риттих приготовился к этому вопросу. Он знал, что Юркевич благоволил к маленькому кадету за его ловкость в гимнастических упражнениях и исправность в исполнении службы.

— Видите, Михаил Васильевич, тут дело не столько во внешних фактах, сколько в моем внутреннем убеждении, что этого кадета выпустить с полным баллом мы не можем. Я наблюдаю его несколько лет и совершенно не уверен, что из него выйдет хороший офицер. Я даже уверен в том, что из него офицера не будет. А ведь мы берем на себя ответственность... С нас спросится, если наш питомец в будущем не оправдает той рекомендации, которую мы даем ему в выпускной аттестации.

И в голосе и на лице воспитателя отразилось столько убежденности в том, что кадет Жадановский представляет собою самую несомненную опасность для репутации того корпуса, ко-

торый его воспитал и довел до преддверия к офицерскому званию, что полковник сразу сбавил тон.

— Конечно, вам виднее. Но почему я лишь теперь впервые слышу от вас, что Жадановский плохой кадет? И чем он плохой кадет?

— Помнится, я уже говорил вам об этом. А может-быть не вам, а его превосходительству директору. И это я всегда буду говорить. В нем нет того, что должно отличать кадета от какого-нибудь гимназиста или студента. В нем нет духа, нет военной косточки. Он слишком серьезен и скрытен, он умышленно прячется в тень, хотя имеет все задатки быть коноводом. Он, наконец, монах какой-то. И нет в нем истинного подчинения. Когда он глядит на вас, то так и кажется, что он вас критикует.

— Но все-таки это же не факты, не основания для снижения балла. Это пахнет несправедливостью.

На лице Риттиха появились красные пятна, свидетельствовавшие о том, что упрек ротного в несправедливости задел его за живое. Он поспешно достал затасканную записную книжку в клеенчатой обложке и, перекинув в ней несколько мелко исписанных листков, сказал:

— В несправедливости меня еще никто не мог упрекнуть. За каждым кадетом я замечаю провинности. Как воспитатель я эти провинности расцениваю по их мотивам. Одним я их спускаю, смотрю, так сказать, сквозь пальцы, другим же ставлю в строку. У Жадановского вот: за обедом 16 февраля, когда я делал замечание какому-то кадету, что он неправильно держит нож, Жадановский громко фыркнул. На молитве он переминался с ноги на ногу. После утреннего барабана долго не вставал и, когда дежурный подошел к нему, послал его к чорту. И так далее. Таких замечаний у меня довольно много. Формальное основание для снижения балла они дают.

Юркевич нехотя подписал аттестацию.

На докладе у директора корпуса не возникло больше никаких разговоров, и аттестация, должным образом скрепленная печатями, была сдана на почту и 13 июня вручена почтальоном Петру Андреевичу Жадановскому, инженер-капитану.

— Ты очень хорошо учился, Боря,—сказал только старый капитан, прочтя аттестацию,—но десяти по поведению от тебя, такого серьезного, совсем уже взрослого, я не ожидал.

Борис улыбнулся и, минутку помолчав, точно обдумывая, стоит ли делиться с отцом этим, ответил:

— Я вел себя, папа, не хуже других кадет, получивших двенадцать. Это воспитатель мстит мне за отказ стать его «любимцем» и за презрение к его «любимцам».

— А-а! Это другое дело. Бог с ним. Теперь все это уже позади, а впереди у тебя дорога открыта. Хорошая дорога... И я уверен, по ней ты выйдешь в люди.

II.

ЮНКЕР - ИНЖЕНЕР.

Ломка убеждений. — Новые веяния. — Нелегальная литература. — В инженерном училище. — На войну!

Время, проведенное Жадановским дома со дня его выпуска из корпуса и до поступления в Николаевское инженерное училище 31 августа того же 1903 года, осталось в его памяти как один из лучших периодов его жизни.

Навсегда оставив за собой холодные опостылевшие корпусные стены, он чувствовал себя молодым орлом, вырвавшимся из клетки. Душа, придавленная, стиснутая барабанным регламентом, бездушной казенщиной, выпрямляла крылья и жадно впитывала новые впечатления.

В эти несколько месяцев он впервые почувствовал, что не так прямолинейно ясен окружающий мир, как казалось ему с детства. Принятые на веру авторитеты заколебались на своих пьедесталах. Понятия религиозные и политические, воспринятые без критики со слов воспитывавших и из рекомендованных для кадетских библиотек книжек, оказались совсем не прочными и не убедительными, когда пришлось подвергнуть их испытанию жизни.

Семья Жадановских, в отличие от большинства офицерских семей, строго исполняла все обязательные для православных обрядности. Петр Андреевич был человеком весьма прочных традиционных убеждений, слепым и глухим ко всему, что нарушало заветы отцов и дедов. Дух критики был совершенно чужд его духовному складу, и семейный строй неизбежно должен был равняться по нему. Поэтому обрядовая сторона религии у Бориса устояла легко против озорной безрелигиозности корпусной молодежи, и, когда одноклассники дразнили его «монахом», они этой кличкой били и по той набожности, которая отличала его в ранние годы. В последних классах корпуса эта набожность постепенно ослабевала, но хотя рвения в делах веры уже не было, оставалось, все-таки, непоколебленным убеждение в святости и нерушимости религии.

Вспоминая впоследствии о том, как он стал атеистом, Борис затруднялся указать точно момент этого события.

— Я думаю, что бога и религии для меня не существовало уже, когда я поступил в училище, — говорил он. — Я совсем не помню, как это произошло. Просто долго накоплявшиеся в мозгу данные естествознания незаметно сложились в систему. И эта новая система без всякого трения, без кризиса, о котором гово-

рят так часто, рассказывая о крушении веры, заняла место старой системы. Это произошло совсем так, как выпадают у детей молочные зубы. Внешнего толчка даже не было.

Внешнего толчка не было. Но было другое, сыгравшее ту же роль. Этим именно летом обозначился в психике Бориса тот общий сдвиг, который столкнул его с наезженной колеи. Первым результатом этого сдвига было падение или, вернее, смещение авторитета отца. Старый капитан перестал быть недосягаемым образцом, идеальным выражением того, к чему нужно было стремиться. В нем как-то неожиданно обнаружились и смешные стороны, а его взгляды стали казаться отсталыми, изжитыми уже, свойственными далекому прошлому.

В воздухе тогда носились новые веяния. Они отовсюду врывались и в семью Жадановских. Подраставшие дочери неизбежно расширяли круг знакомств. Проводимое на даче лето, благодаря данной свободе, благоприятствовало широкому общению с учащейся молодежью — гимназической и студенческой. Строгому выбору знакомств родителями как-то уже не было места.

Борис впервые знакомится с нелегальной литературой. В его руки попадают напечатанные на гектографе и мимеографе издания «Харьковского союза учащейся молодежи», либеральное «Освобождение», литографированные оттиски запрещенных сочинений Льва Толстого. Тарас Шевченко, любимый им с детства, попадает в его руки в вольном львовском издании, и он благоговейно переписывает пламенные строки его из «Сна», «Кавказа»... Еще неосмысленно прозревает он «неправду», чувствует ее, и идеалистический порыв к «добру» ищет исхода в туманных мечтах о служении стране и народу.

— Пользу можно приносить и на военной службе,— упрямо отвечает он одному технологу, «пропагандирующему» его и пытающемуся отклонить его от поступления в училище.

Он далеко еще не революционер. Он может-быть и не либерал даже в полном значении этого слова. Но ширящееся революционное движение симпатично ему, созвучно пробуждающимся в нем стремлениям. Авторитет царя слабеет, замечается противное и отталкивающее в особе последнего помазанника, и амфитеатровские «Господа Обмановы» вызывают восхищение как героический гражданский подвиг. Рассказы о преследованиях революционеров, о казематах Петропавловки и Шлиссельбурга, о ссылках и изгнаниях, о тюремных голодовках и протестах приподнимают завесу над неведомым, страшным и увлекательным миром борьбы за лучшее, за чудное, за светлое. И как-то глуше раздается бой барабана и звук трубы, зовущей на военный подвиг.

* *
*

Первое время пребывания в инженерном училище проснувшиеся запросы оставались почти без удовлетворения. Все время, все мысли, все силы поглощало ученье, бывшее в то же время самой тяжелой военной службой. Не даром с момента вступления в училище юнкера считались отбывающими воинскую повинность в качестве вольноопределяющихся первого разряда.

Но и в училище, как в корпусе, «юнкер рядового звания» Жадановский выделялся не только своим девичьим лицом и миниатюрной фигурой, но и своим отношением к делу, с одной стороны, и своей замкнутостью, серьезностью, почти суровостью,— с другой.

Тусклое, однообразное существование, не согретое в первое время даже товариществом, дружбой. Лишь позднее, в лагерях, на практических занятиях завязываются более тесные связи. Во время практических занятий, на топографических съемках Борис знакомится с некоторыми из юнкеров, раскрывает понемногу перед ними свой внутренний мир, встречает родственные отклики. В. Х. Ауссем, раньше его поступивший в училище, вспоминает о нем как о передовом юнкере, выделявшемся из общей массы не только своими незаурядными способностями, но и своим свободомыслием. Юнкер Замбржицкий, с которым у Жадановского не раз бывали политические споры, впоследствии, уже будучи саперным подпоручиком, в своем доносе следственной комиссии по делу о восстании киевских саперов показывал, что «Жадановский в инженерном училище отличался особыми взглядами на свободу и слыл среди товарищей за очень либерального человека». К этому времени относится дружба Жадановского с юнкером Зубковым, целиком разделявшим его воззрения в училище и вместе с ним впоследствии эволюционировавшим к активному участию в революции.

Благодаря этим новым связям, расширяется и кругозор. Кто-то из юнкеров более крайнего направления, имевший связи в революционных кругах Петербурга, снабжает неофитов прокламациями и нелегальной литературой. Но тем не менее казарменная обстановка училищной жизни не дает быстро взойти запавшим семенам, и русско-японская война встречает со стороны Жадановского отнюдь не революционное отношение к себе.

Он негодует и возмущается политикой правящих кругов. Для него ясна неспособность военачальников, неподготовленность армии, разложение ее. Он видит ясно связь между военными неудачами и политическим режимом. Но он еще не созрел до вывода, что первой и единственной задачей момента является уничтожение царизма и демократическая республика. И хотя далекий от урапатриотизма и ехидно насмехающийся над шапкозакидательством, он рвется тем не менее на войну, жаждет военного подвига, полон жертвенного экстаза. Он хочет итти на войну добровольцем.

Рождество 1904 года, проведенное дома, оставило после себя тяжелый осадок. Борис ехал домой с твердой уверенностью, что если не мать, то отец, во всяком случае, одобрит его намерение итти на войну и благословит его. Однако не только мать, но и отец самым решительным образом восстали против его желания. Праздники прошли в непрерывных спорах.

* * *

12 января Борис вернулся в училище. Рассказы о девятом января потрясли его, но нисколько не поколебали в нем убеждения, что его *долг* быть там, на кровавых полях Манджурии.

31 января он пишет матери:

«Я, мама, вот читаю письма с войны, корреспонденции и во всех этих письмах видно одно, что все стараются, как бы поменьше работать. Оно и понятно.. Ведь огромное большинство идет без желания, только потому, что остаться или неудобно, или вовсе нельзя. Ну, а раз у меня есть желание работать, то работа всегда найдется.

Ну, в самом деле, какое странное положение создается. Ведь вот говорят: «Какая идея военной службы? В военные идут только те, кто не думает ни о каких идеях, а хочет только пристроиться получше, благо жизнь довольно спокойная, работать не так уж много, а главное, хоть и малое, но все же обеспеченное жалованье!» Военные и возражают: «Позвольте, а защита отечества? И что бы вы делали в случае войны? и т. д. Вот как придет время войны, тогда мы и заплатим за то, что вы нас кормите, не получая от нас ничего». Ну, а война ведь бывает в 25 лет раз, а то и еще реже. Так какое же тут может быть рассуждение, раз мне представился этот случай (редкий случай) заплатить. Тут уж, конечно, я не должен отвиливать и не должен оставаться еще и еще учиться. Да и для чего же учиться? Все же эти знания могут пригодиться *только* на войне и нигде больше. И вдруг бы я, имея возможность приложить свои знания и принести пользу этими знаниями, значение которых только и видно на войне (ведь ни в одном деле, кроме войны, я этих знаний применить не могу), — вдруг бы я пропустил этот случай и ждал бы: вот я буду опытнее, я тогда больше пользы принесу,

.... Конечно, я не спорю, хочется мне чего-нибудь особенного, необыкновенного, хочется именно пожить, поработать, да не так, как в училище, где все сводится все-таки к тому, получу я 9 или 12. Хочется и отличиться, даже, может-быть, хочется, чтобы кто-нибудь посмотрел бы да и сказал: «Этот молодчина не перепугался, пошел на войну». Все это может быть, но все это понятно, все это простительно и все же все это не главное. Да ведь если смотреть с твоей точки зрения. Ведь в самом деле представь, ну, в училище пришлют 5 вакансий на Дальний Восток. Я буду брать первый. Ну, не возьму я, в конце не найдется желающих, и волей-неволей придется брать эти вакансии последним ученикам (у нас ведь вакансии присылают по числу юнкеров). А что из этого выйдет? Во-первых, человек принужден итти против желания, затем, уж во всяком случае, в смысле знаний я, несомненно, о много раз его богаче. Так что насчет пользы говорить тут много не приходится.

Ты вот, верно, думаешь, что меня все товарищи сбивают итти на войну. Увы, у нас таких мало! В прошлом году, когда до выпуска было далеко, говорили и собирались чуть не все, но теперь... нет, теперь все на дополнительный.... выгоднее. Нет, мамочка, ты и папа должны согласиться, что итти на войну мне нужно, необходимо нужно».

В этих настроениях прошли ближайшие месяцы. А затем, постепенно они стали отходить на второй план. На Дальнем Востоке дела шли все хуже и хуже. Война смеялась своим «красным смехом» и обнажала нестерпимо зловонные язвы режима. Росло революционное движение в стране, и мысли пылкого юноши все чаще обращались сюда, на внутренний фронт.

III.

ОФИЦЕР.

Дома.—В гарнизоне.—Денщик Жуков.—Армия и революция.—«Чудной» в роте.—Стычка с ротным.—«Наш подпоручик».

Юнкер-инженер второй роты перестал существовать 15 июня 1905 года и превратился в подпоручика третьей саперной бригады.

На парадном сюртуке сверкали золотые новенькие эполеты, вызывая радостные аплодисменты сестер и маленького Миши.

— Боря — офицер! Боря — офицер! — хором кричали они все, исполняя вокруг него, немного смущенного и растерянного, но все же гордого, какой-то фантастический танец. Умиленно-радостно улыбались старики. Сестер немного смущал миниатюрный рост новоиспеченного офицера и полное отсутствие растительности на его лице. Но он их утешал:

— Ничего! Теперь усы скоро вырастут. А что рост подгулял, тоже нестрашно. Копчик птичка невеличка, да коготок у ней востер!

И он щелкал высокими каблуками, становился на цыпочки и пытался говорить таким страшным басом, что четырнадцатилетняя Лида зажимала уши и начинала визжать в деланном испуге.

С сестрами Борис делился своими мечтами и планами.

— Я никогда не буду солдафоном! — говорил он. — Я буду для своих подчиненных просто товарищем, а командиром лишь в те моменты, когда нужно будетъ применять на деле свои знания. Я буду в солдатах видеть только таких же людей, как я. Буду говорить с ними на «вы», никогда не буду кричать или ругаться. Это мне будет тем легче, что я буду служить в саперных войсках, где офицерство стоит по своему культурному уровню гораздо выше, чем в пехоте или кавалерии.

Когда отец слышал подобные разговоры, он пытался осадить сына:

— Если ты будешь так вести себя, Боря, ты сразу же поставишь себя в ложное положение. Солдатам твое «вежливое» обращение покажется просто чудачеством, и они за твоей спиной будут смеяться над тобой... Никакого авторитета в их глазах ты иметь не будешь. А офицеры... Обращаясь с подчиненными иначе, чем все, ты невольно станешь в положение выскочки. Старшие будут высмеивать тебя, а то и просто прикажут тебе дурака не валять. Ты должен будешь подчиниться или уйти с военной службы. И из-за чего? Из-за каких-то фана-



Б. П. Жадановский по производстве в офицеры.

берий. Потому что русский солдат тебе не немец или француз. Да и у немцев-то, кажется, начальники всегда говорят своим подчиненным «ты».

— Нет, папа. Может-быть, с практической точки зрения ты прав. Но я иначе не могу. У нас многие юнкера решили, сделавшись офицерами, начать борьбу за улучшение правового положения солдата. Мы думаем, что все молодые офицеры станут на нашу сторону, Да и многие из старых тоже. Теперь ведь всем ясно, что японцы нас бьют, благодаря нашей отсталости, некультурности, забитости солдатской массы. Ты ведь с этим согласен сам, ты сам это говорил. А если старые зубры не

дадут нам, посмотрим тогда. Если я не смогу приносить той пользы, какую должен приносить, если не смогу проводить в жизнь свои идеи, чего же ради буду я носить офицерский мундир?

Такого рода разговоры часто повторялись. Старик возражал, но в его возражениях убежденности не чувствовалось. Новые идеи сына его пугали, но в глубине души что-то радовалось:

— Вот какой у меня сын!

Зато мать, если не вполне разделяла взгляды сына, то откровенно сочувствовала им. Ольга Николаевна Жадановская для того времени, в какое она выросла, и для своей среды была несомненно женщиной гораздо выше среднего уровня. Брожение умов, совершавшееся в эти годы, захватило и ее, и благодаря ее влиянию из обихода семьи были изгнаны и комаровский «Свет» и «Новое Время» и заменены «Русскими Ведомостями» и толстыми журналами — «Русским Богатством», «Образованием», «Миром Божьим». В одном из своих писем каторжного периода Борис, вспоминая этот свой приезд домой — свой последний приезд — спрашивает сестер:

«По старому ли поздними ночами читает мама свои любимые толстые журналы?»

С нею он делился своими новыми взглядами на жизнь и на долг гражданина, и во многом помогала она оформлению и развитию этих взглядов.

* * *

В начале сентября подпоручик Жадановский прибыл в Киев, где была расположена третья саперная бригада, и был назначен в пятый понтонный батальон.

Полковник Немилов, исполнявший обязанности начальника бригады, рыхлый и добродушный человек, встретил Бориса как родного.

— А-а! Сынок Петра Андреевича! Знаю, знаю я папашу вашего, молодой человек. Однокашники мы, как же! Рад, очень рад. Что-ж, послужим вместе. Может, и повоюем еще. Вы насчет войны как?

— Я, господин полковник, всегда рад исполнить свой долг офицера.

— Ну, вот! Ну, вот! Я так и знал, был уверен в этом. Рад, очень рад... Устраивайтесь пока, знакомьтесь с сослуживцами и ко мне заглядывайте. Милости просим. Всегда рад! — и полковник крепко пожал руку юного офицера, исполненного радости, что он будет служить у такого милого начальника.

Зато батальонный командир принял его очень сухо, совсем холодно. Борис вышел от него весь красный, гневный, возмущенный. Он весь кипел недогодованием, когда рассказывал

одному своему другу, тоже молодому офицеру, вместе с ним окончившему инженерное училище, об испытанном приеме:

— Такая скотина! Он даже не взглянул на меня прямо... Цедил слова сквозь зубы. Руку протянул, точно милость оказывал. Воображаю, как он к солдатам относится. С таким прохвостом придется служить.

Его товарищ, горячий, увлекающийся, успевший уже ориентироваться в делах бригады, взаимоотношениях офицеров и настроениях солдатской массы инженерных частей, сразу закипел:

— Да! Ты знаешь, наша бригада такая клоака, что другой подобной и не сыскать. В формирующихся частях всегда так бывает. Самые скверные, самые негодные офицеры назначены сюда. Батальонный еще ничего, он откровенная собака, по крайней мере. А вот ротные есть — я тебе скажу! У нас в третьей роте командир Смирнов. Штабс-капитан, порт-артурец, георгиевский кавалер. Действительно, говорят, храбрый офицер. Но зверь какой-то. Солдат все время кроет по матери, во всем притесняет, говорят, крадет. Но с младшими офицерами держится прилично. Или капитан Шнейвас, ротный второй роты! Это хитрая лисица. Мягко стелет, развел шпионов в своей роте. Чуть кто покажется ему подозрительным, сейчас и выживет. Карьерист! На войне он бы по лазаретам мотался. Ну, а другие... Сам увидишь! Зато среди солдат есть сознательные, больше, чем в других частях. Один студентъ есть, вольноопределяющийся, настоящий революционер. Я тебя с ним познакомлю. Есть очень хорошие, развитые. Я уже много их знаю. Есть и офицеры. Я уже говорил кое с кем. Мы здесь свою организацию устроим. И еще кое с кем познакомлю тебя. Мы покажем этим зубрам!

Увлеченный энтузиазмом приятеля, Жадановский принялся вместе с ним строить планы революционной работы в частях киевского гарнизона. В ближайшие дни они связались с другими единомыслящими офицерами той же третьей саперной бригады.

* * *

Жадановский поселился в крепости, на Московской улице, в доме № 5, недалеко от так называемых «Жандармских казарм», где были расположены саперные части. Он занимал квартиру из трех комнат совместно с подпоручиками Барановым и Меркуловым, тоже новоиспеченными офицерами, с которыми он свел тесную дружбу. Баранов, бледный юноша в очках больше похож был на студента, чем на офицера. Он был проникнут тем же идеализмом, что и Жадановский, и так же, как он, горел желанием принести пользу делу освобождения родины. Меркулов в то время еще не разделял полностью взглядов молодых революционеров,

но сочувствовал и симпатизировал им. Постоянным гостем этой «коммуны» был еще один молодой и революционно настроенный офицер — Зубков, который несколько времени даже жил в одной комнате с Жадановским.

Сначала Жадановский хотел обойтись без денщика.

— Мы ведь против института денщиков, — говорил он своим товарищам. — С этим пережитком крепостничества давно пора покончить. Денщик — это профанация воинского звания. Государство имеет, может-быть, право отрывать на целые годы молодых людей от полезнаго труда, от жен и матерей, но отнюдь не для того, чтобы делать их холуями, лакеями и няньками. Солдат должен быть воином, а не кухаркой. Если я возьму денщика, то я не только нарушу свои принципы, но, кроме того, отниму у армии одну винтовку, одного бойца. Это преступно.

Но обойтись без денщика оказалось невозможным. Беспомощность и неприспособленность в делах практических скоро сказались самым неприятным образом. В квартире завелись грязь и пыль. Обед приносили зачастую совершенно холодным. Когда же понадобилось протопить печку, оказалось, что никто не знает, как и где добыть дрова. Подпоручичье жалованье было слишком ничтожно, чтобы можно было позволить себе роскошь — нанять вольную прислугу.

— Мы в положении щедринских трех генералов, которые без мужика прокормиться не могут, — резюмировал положение Баранов. — Придется-таки нам денщика взять.

После долгих споров вопрос был решен положительно. Правда, было постановлено, что денщик у них будет не обыкновенным денщиком, а в роде четвертого члена артели; будет пользоваться полной свободой отлучек по своим делам, будет питаться той же пищей, что и его «господа», а не из ротного котла, будет получать сверх 45 копеек в два месяца, полагающихся каждому рядовому, еще по рублю в месяц с каждого в виде оплаты его услуг.

— Кроме того, мы постараемся развить его, сделать из него человека вместо «серой скотинки». Это уж будет сверх программы.

Это предложение Жадановского было единогласно принято, и через три дня в квартире запахло «казенной прислугой».

Рядовой Жуковъ, совсем еще деревенский парень, широкоплечий, неловкий, с бабьим лицом и робким сиплым голосом, никак не мог понять, почему он должен называть своих господ не «вашим благородием», как его учил в роте «дядька», а по имени и отчеству. Первое время и в их обращении с ним ему чудился какой-то подвох.

— Жуков, будьте добры...

— Жуков, вы не забыли отнести к сапожнику сапоги?

— Жуков, сегодня вечером вы будете дома? Мы собираемся в театр.

Жуков недоумепно моргал белесыми ресницами, тянулся и не своим, а солдатским голосом отвечал:

— Слушаюсь... Никак нет... Так точно...— потом заминался, произнося про сéбя «ваше благородие», и вслух заканчивал: — Борис Петрович.

Именно с Борисом Петровичем ему было труднее всего. Почему это было так, он никак не мог понять. И, делясь в роте с земляками впечатлениями своего новаго житья-бытья, делал рукой неопределенный жест, и, вкладывая в голос особенное почтение, пояснял:

— Очень серьезные... Так что не поймешь.

Других офицеров он понимал лучше и, надо отдать им должное, они также поняли его скорее, чем Борис. После нескольких дней взаимной неловкости холодное вы было заменено «сердечным» ты в их обращении к нему и «ваше благородие» в отношении к ним уже не встречало больше возражений. Жуков в конце концов привык к «чудачеству» Бориса Петровича и сумел приспособиться к нему. Особенно после того, как, принеся из канцелярии для Жукова письмо из дому, барин сам предложил прочесть ему его и прочел несколько раз, пока Жуков не уразумел и не запомнил всех подробностей, — денщик почувствовал к офицеру не только уважение, но и некоторую приязнь. А страх, одолевавший его в первое время всякий раз, когда барин с ним заговаривал, скоро совершенно исчез. Борис Петрович без просьбы с его стороны написал для него ответ на полученное письмо на целых двух листках почтовой бумаги и дал марку на отправку письма. Кроме того, он принес букварь и однажды вечером, когда Жуков особенно скучал, валяясь на кухне на своем топчане, позвал его к себе в комнату. Усадив Жукова после должного сопротивления с его стороны на стул за столом, он обратился к нему со следующей речью:

— Вот что, Жуков... У вас вечера пропадают даром, когда вы не ходите в роту или к знакомым. И днем у вас тоже много свободного времени. Я и подумал, что если я вам покажу буквы и научу читать по ним, вы будете с пользой употреблять свободное время и не будете так скучать, как теперь. Я вас научу тоже писать и считать, и вы вернетесь домой грамотным человеком и принесете своей деревне много пользы. Теперь время такое, что грамотные люди нужны, а неграмотным быть очень плохо. Если вы согласны, мы сейчас и начнем. Вот и азбука, которую я для вас приготовил. Ну что, согласны?

Вопрос был поставлен так, что Жуков не мог не согласиться, хотя особенной охоты к учению у него и не было.

— Я, ваше... Борис Петрович, согласен. Только-что я неспособен к грамоте. Голова у меня не варит.

— Пустяки! У вас голова как голова. Мы, впрочем, попробуем, а там дальше видно будет. Вы всегда можете отказаться, если это вам не понравится.

И тут же с места в карьер Борис Петрович принялся объяснять красневшему и потевшему Жукову хитрую механику буквосложения. Через много лет, обучая начаткам грамоты своих случайных товарищей по каторге, он, смеясь, вспоминал эти свои первые шаги на педагогическом поприще.

— И дубина же был этот Жуков! Потел как крыса в западне. Да и я за дело взялся, к которому никакого призвания не имел. Просто из принципа.

Все же обучение Жукова грамоте — правда, очень маленькими шагами — подвигалось вперед. Денщик страдал, смысла в этих занятиях не видел, но отказаться никак не мог, из уважения к своему барину.

— Хороший барин, — говорил он своему приятелю Шишкину, денщику штабс-капитана Смирнова, жившего на одной с ними лестнице. — Хочет, чтобы я грамоте научился, потому, говорит, что иначе не произойду. А мне эта грамота, вишь, нужна, как овце хвост. Приеду в деревню, все забуду. Ну, только я стараюсь, чтобы ему удовольствие сделать. Душевный человек, хоть не понимающий. Ну, и молодой очень, совсем дитё еще.

Если обучение Жукова грамоте кое-как подвигалось, то зато политическое развитие его оказалось делом совершенно безнадежным. Он внимательно слушал, когда кто-нибудь из офицеров, — а то и все вместе, — начинали рассказывать ему о непорядках и несправедливостях, царивших вокруг, но когда приходилось подать какую-нибудь реплику или прямо ответить на заданный вопрос, выяснялось, что самой сути агитационной речи Жуков совершенно не уловил. Он никак не мог понять, почему это молодые господа толкуют ему про урядников, становых, про земельное притеснение помещиков, про тяжесть военной службы. «Ну, что они знают тут? — думал он про себя. Сами господа, офицеры, а господ ругают!» И он почти намеренно пропускал мимо ушей значение рассказываемого, думая лишь о том, как бы «половчее» ответить, когда его спросят. И от этих усилий в голове у него все путалось и лицо принимало страдальческое выражение, обычное у молодых солдат, прямо от сохи попавших в казарму, когда дядька заставляет их долбить «словесность».

— Ну, если бы вся русская армия состояла из таких ослов, революции пришлось бы ждать еще сто лет, — с отчаянием сказал Меркулов после одного особенно блестящего ответа Жукова.

— Видите ли, друзья, — ответил случившийся тут же поручик Пилькевич, саперный офицер, разделявший взгляды юных офицеров, — русская армия на девять десятых из таких ослов и состоит. И если бы успех революции зависел только от них,

ее действительно пришлось бы ждать очень долго. К счастью, при наличности сильного революционного движения в стране, главным образом, среди рабочих, армия теряет свою устойчивость. Эти ослы в массе способны поддаться общему настроению, забурлить, зашуметь, пойти на бунт. И хотя непосредственно из таких бунтов ничего не выходит, но они создают атмосферу. Мы, военные, ведь знаем, что в массовых действиях именно атмосфера, подъем и нужны для успеха. Революция же вообще не должна рассчитывать на армию в целом. Все силы агитации и пропаганды должны быть направлены на специальные войска, на флот и на инженерные части, в которые, главным образом, попадают рабочие, самый революционный элемент. Мы уже видели, что флот пришел в движение. После потемкинского восстания там все кипит и, кто знает, может-быть, какое-нибудь событие во внутренней жизни, в роде девятого января, даст толчок общему восстанию в нем. От флота, я думаю, не отстанут и инженерные войска. Я сужу по своей роте. У меня есть среди саперов два или три настоящих революционера. Я их нащупал уже. Но и среди остальной массы есть элементы, которые легко поддаются воздействию. Надо только умело к ним подойти. Большинство, конечно, по своему развитию не далеко ушло от вашего Жукова. Но если в роте образуется ядро из сознательных и создастся атмосфера, о какой я говорил, третья рота пойдет на баррикады.

— В телеграфной роте у нас тоже подходящая публика, — сказал Баранов.

— Вот видите, — продолжал Пилькевич. — Дело имеет за собой шансы. И мы тут вовсе не окажемся пионерами. Я знаю, — говоря это он понизил голос, — в ротах на днях были разбросаны прокламации. От рабочей партии... И солдаты читали их, а начальство и до сих пор ничего не знает. Нам надо создать связь между собой и гражданской организацией. Без них мы много не сделаем и в решительный момент можем оказаться неподготовленными.

— Связь, господа, есть, — сказал Зубков, оглядываясь на Жадановского, который молчаливо, кивком головы, подтвердил его слова. — Один вольноопределяющийся познакомил нас со штатскими деятелями. Пока я еще не имею права открыть вам, кто и что они. Это лишь предварительные шаги. Но на днях мы соберем всех наших офицеров и тогда условимся обо всем.

Как раз в этот момент Жуков притащил самовар, и разговор сам собой прекратился.

* * *

В своей роте Жадановский с первого же дня заслужил прозвище «чудного». Явившись в роту вместе с ротным командиром, он протянул руку фельдфебелю и держал ее перед ним, опеши-

вшим и недоумевающим, до тех пор, пока тот не пожал ее. И представился ему:

— Подпоручик Жадановский.

Ротный был ошарашен и долго не мог придумать, с какого конца подойти к этому зеленому юнцу, чтобы показать ему всю недопустимость такого обращения с нижними чинами.

Он решил напустить на себя строгость и, когда они вышли из казармы, тут же на улице обратился к нему со следующими словами:

— Борис Петрович! То, что произошло сейчас, не должно повторяться. Я полагал, что вы, окончивши военное училище, да еще вдобавок будучи сыном офицера, должны знать, как должно обращаться с нижними чинами.

Это было произнесено тоном настоящей «распеканции», грубо и резко, и Борис Петрович на мгновение почувствовал себя кадетом или юнкером, которого пробирает ротный за какое-нибудь мальчишество. Но он уже был взрослым и самостоятельным человеком и не мог по-кадетски стерпеть обиды.

Он остановился, передернул свойственным ему движением плечами и посмотрел прямо в глаза ротному.

— Простите, капитан! — холодно, но твердо сказал он. — Тем тоном, каким вы говорите со мной, я *для себя* считаю недопустимым говорить с нижними чинами. По существу же, если я вежлив с ними, то только потому, что грубым быть не желаю.

— Но, подпоручик... — начал было капитан.

— Еще раз простите, — перебил он, — ваше обращение с солдатами — традиция, а не правило. Если бы я всякую традицию считал для себя обязательной, я не пошел бы на военную службу.

Капитан не нашелся ответить и прекратил разговор, пробормотав:

— Ну, если вы так ставите вопрос...

У обоих от этого разговора осталось неприятное чувство, с той только разницей, что капитан чувствовал себя униженным и никому о происшедшей размолвке не говорил, а дерзкий подпоручик остался доволен своим ответом и поспешил рассказать об этом своим друзьям, горячо одобрившим его поведение. Их восхищение Жадановским было неподдельным. Они все ясно чувствовали его нравственное превосходство над ними, и в их маленьком кругу он, без всяких усилий со своей стороны, незаметно, занял первое место.

Подавать руку фельдфебелю он продолжал. И продолжал делать еще другие, недопустимые с точки зрения старого офицерства, вещи.

Так, явившись на другой день после описанного инцидента в роту к исполнению своих обязанностей, он вместо того, чтобы приветствовать построившихся солдат по традиции: «здорово, ребята!» — обратился к ним со словами:

— Здравствуйте, господа!

Непривычная формула вызвала полное замешательство, и ответа не последовало. Фельдфебель, старый сверхсрочный служака, ухмылялся под густыми усами.

— Люди, ваше благородие, не понимают.

— Ничего, поймут.

И он более громким голосом, взяв под козырек, повторил свое приветствие.

Ответили нестройно, тихо, не по-военному.

— Здравия желаем, ваше благородие.

В другой раз ответили лучше, а когда попривыкли, отвечали таким гарком, что окна дребезжали.

Новый подпоручик вызвал в роте большие разговоры. Солдаты как деревенские бабы любят судачить. И всякое непонятное и сложное явление стараются упростить и осмыслить по-своему. «Неопытный еще» — было первой догадкой. Но когда имевшиеся в роте несколько саперов, затронутых революционной агитацией, присмотрелись получше к новому офицеру и на поставленные ему наивные и хитрые вопросы получили прямые и отточенные ответы, они принялись восстанавливать его репутацию.

— Нет, братцы, тут ошибка выходит, — сказал один из них вечером после поверки, когда солдаты, разбившись на кучи, занимались болтовней. — Подпоручик наш не простой. Он чудит, это верно, но почему он чудит?

И, не получив ответа на свой вопрос, он продолжал:

— Он чудит, потому что за простой народ стоит. Вот студенты тоже чудят — бунтуют, значит. А чего? Хотят перемены для народа, чтобы насчет земли там и прочего. Вот и он, хоть и офицер, а только в роде студента.

При всей своей неудовлетворительности это объяснение удержалось в умах солдат. А ряд фактов, подтверждая его, укрепил за Жадановским репутацию хоть и чуднóго, да своего. Солдаты говорили: «наш подпоручик», рассказывая о его чудачествах в других ротах землякам и знакомым, а иной раз просто случайно встретившимся солдатам, подсмеиваясь порою над ним, но всегда с некоторым оттенком похвальбы. «У вас, мол, такого офицера нет, а у нас есть он — подпоручик Жадановский». И когда события вытолкнули Жадановского на первый план, многие солдаты бригады знали его в лицо или по наслышке и смело шли за ним на казацкие пики и на пули усмирителей.

IV.

ПОДГОТОВКА.

Связь с революционерами. — Пропагандист. — Октябрь. — В огне революции. — Брожение среди солдат.

Эти осенние месяцы в Киеве навсегда остались в памяти Бориса во всех мельчайших подробностях. С детства тлевшие в нем инстинкты борца разгорелись ярким пламенем. Мысль работала напряженно, чувства обострились, все казалось залитым каким-то ярким светом. Он чувствовал себя выросшим, духовно новым, и процесс слияния с внешним миром, растворения в нем и в то же время овладения им совершался особенно интенсивно. Это внутреннее горение, этот свет был виден окружающим, подчинял их и заражал. Е. А. Шибинская, вспоминая теперь, через двадцать почти лет о нем, пишет: «Борис совершенно поглощал общее внимание. Маленький и тонкий, с нежным девичьим лицом и необыкновенно твердыми лучезарными глазами, он сразу внушал доверие, заражал духовным подъемом. Хотелось подойти к нему близко, чтобы вместе итти, бороться, умереть»...

Через генеральшу Атласову, жену дивизионного врача, пожилую уже женщину, юные революционеры получили связь со старшими товарищами. Сама генеральша Атласова оказала на них несомненное влияние. Загоревшись в поздние годы своей жизни жаждой освободительного подвига и не имея возможности более непосредственно приложить свои силы к делу революции, она в военном кругу сеяла семена недовольства и возмущения, семена сочувствия к ведущим борьбу. Молодые офицеры, бывавшие у нее в доме, постоянно из бесед с нею черпали сведения о происходящем в стране, иной раз получали и нелегальную литературу, которую частенько прятала у себя Атласова. Познакомившись поближе с Борисом и его товарищами, убедившись, что этот молодняк пассивным оставаться не может, и удовлетворяя их собственному желанию, она предложила Шибинской, своей приятельнице, ввести их в организацию.

Шибинская имела связи с киевским комитетом Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. Как она сама говорит, ее квартира была «маленьким штабом революционных связей». У нее наши офицеры и познакомились сначала с членом киевского комитета Пономаревым, а потом с товарищем Андреем Алексеевичем, журналистом по профессии, погибшим на баррикадах в Москве в декабре того же года.

Андрей Алексеевич вел работу среди военных. Присоединение к организации группы офицеров являлось огромным приобретением в те дни, когда распропагандированные военные

(преимущественно солдаты) считались единицами, и каждый отдельный человек учитывался, как огромное приобретение. Поэтому к разработке и закреплению этой новой связи Андрей Алексеевич приложил особенные усилия. Он часто встречался с ними в разных местах, но, главным образом, на даче у Шибинской в Святошине, а затем у нее же на городской квартире. На первых из этих собраний бывали только Жадановский, Зубков и Баранов, а потом к ним присоединились Васич, Пилькевич, Черепанов и другие молодые обер-офицеры.

Андрей Алексеевич развивал перед ними программу социал-демократической партии, знакомил их с рабочим движением на Западе, с историей революционного движения в России. От него получали они нелегальную литературу и указания, какие книги читать, чтобы достигнуть необходимых для сознательного социал-демократа познаний.

В эти месяцы Жадановский все свободное от службы время отдавал книжке. Его начитанность в офицерском кругу, в котором серьезное чтение вообще было крайне редким явлением, производила сильное впечатление, и сталкивавшиеся с ним офицеры, даже старшие чином и летами, после нескольких разговоров с юным подпоручиком проникались уважением к нему. С этим уважением пришлось столкнуться и следователям, ведшим его дело. Все свидетели-офицеры отзывались о нем, как о необыкновенно начитанном и умном человеке, при чем кое-кто, желая смягчить и объяснить его участие в восстании, говорил при этом о податливости его натуры посторонним влияниям, о его склонности действовать больше под влиянием чувства, нежели рассудка.

* * *

Наступил красный октябрь. Осенние краски в природе и бурный весенний разлив общественных сил. Забастовочная волна захватила и увлекла рабочий Киев.

— Это канун революции, — говорил Жадановский своим друзьям. — Какое счастье, что мы живем в это время!

Но в эти дни им редко удавалось собираться всем вместе, редко удавалось поговорить вволю. Саперная бригада наравне с остальными частями киевского гарнизона несла усиленные наряды. Солдаты валились с ног от утомления, от нудного патрулирования, от караулов, явно бесцельных, обнаруживавших панику, растерянность начальства. Роптали солдаты, роптали и офицеры. Однако, недовольство сплошь и рядом направлялось против бастующих рабочих, бунтующих студентов. Бывали случаи, что солдаты, настроенные офицерами враждебно в отношении революции, рвали, не читая, разбрасываемые неизвестно кем прокламации или относили их по начальству. Но в тех ротах, где работали наши друзья, черносотенные настроения, если

и появлялись, то легко рассеивались умелыми разъяснениями, во время подоспевавшими.

Все чаще и чаще в ротах вспыхивали политические споры. Определялись политические симпатии. Часто к Жадановскому подходили совершенно незнакомые ему саперы из других рот с просьбой дать почитать газетку или разъяснить, «почему такое сейчас делается». И несмотря на то, что в эти дни среди военных необычайно усилился политический сыск, и опасность наткнуться на провокатора была очень велика, никто и никогда не отходил от него неудовлетворенным.

Осторожность, оглядка на опасность, поскольку дело касалось только его личности, была совершенно чужда ему. Риск, опасность пленяли его. А тюрьма, сторожившая каждого революционера, представлялась ему каким-то храмом. Менее горячо настроенные его товарищи часто предостерегали его от чрезмерной откровенности с незнакомыми или мало знакомыми людьми, но их уговоры всегда встречали с его стороны неизменный ответ:

— Волков бояться, в лес не ходить.

Даже с явными врагами того дела, которому он отдавался так беззаветно, ему нравилось скрещивать оружие, и часто он вступал в споры с отдельными офицерами реакционного направления, заподозрить которых в непорядочности, т.-е. в способности пойти на донос, он не имел оснований. Не всегда это было бесплодным занятием. И их маленький кружок увеличился одним поручиком, из Савла ставшим Павлом под влиянием горячих и долгих споров с Борисом.

— Вот видите! — хвастался он. — Если бы я слушался вас и оглядывался во все стороны прежде чем сказать одно слово на ухо даже человеку, в сочувствии которого я уверен, воз и ныне был бы там. А теперь нашего полку прибыло. Есть и такие, которые, я чувствую, уже поколеблены, которые если и не во всем пойдут с нами, то за нами во всяком случае пойдут. В худшем случае они будут нейтральными. А и это уже большой плюс. А затем, — и он делал широкий жест рукой, — теперь наступило время широкого воздействия. Нужно закидывать сети, а не сидеть сонным рыбаком над удочкой: авось, клюнет.

Его пример действовал заразительно. И ближайшие его друзья — Зубков и Баранов — скоро стали следовать методам Бориса, махнув рукой на все правила конспирации, которые подносил им вскормленный в подполье Андрей Алексеевич.

* * *

Манифест 17 октября. Общее ликование и радость, захватившие даже совершенно далеких от политики людей. Выступление черной сотни и еврейский погром.

В этом потоке событий Борис и его друзья не потерялись. Если у кого-нибудь из них в первый момент лживые слова манифеста и вызвали иллюзию, что победа народа совершилась, и враг повален, то очень скоро на смену этой иллюзии пришло сознание, что враг всего лишь переменил фронт, и самое трудное еще впереди. И они с удвоенной энергией продолжали свою работу среди солдат.

В воздухе носилась идея вооруженного восстания. Если в до-октябрьский период вооруженная борьба с царизмом трактовалась больше теоретически, чем практически, то теперь она стояла на очереди. Больше того, она была дана уже самой жизнью. То здесь, то там, в разных концах охваченной революционным порывом страны вспыхивало пламя мятежа и если потухало под усилиями организующейся контр-революции, то лишь с тем, чтобы с еще большей силой вспыхнуть в другом месте. В этой обстановке революционеры, активные участники движения неизбежно должны были поддаться увлекающему потоку стихии. Трезвый голос анализа умолкал, уступая место непосредственному чувству борьбы. Правда, и в те дни были неисправимые резонеры, учитывавшие соотношение сил, распыленность и неорганизованность революционных армий, предупреждавшие против последствий поспешных выступлений и рекомендовавшие выдержку и согласованность. Быть-может, они были правы. Но их трезвая рассудочность находилась в кричащем противоречии с непосредственным революционным чувством. Когда Борису приходилось слышать эти охлаждающие речи, он приходил в крайнее возбуждение, теряя столь присущую ему выдержку. Его бледное лицо покрывалось краской гнева, и голос звенел как натянутая струна:

— Когда армия двинулась в бой, рассуждать поздно. Говорить сейчас о преждевременности равносильно измене. Это значит сеять панику. Мы должны итти не в хвосте у масс, а во главе их, хотя бы их движение и было обречено на неудачу. Отказываться от почетной гибели из расчета, хотя бы и революционного, что наши силы понадобятся для второй волны, если первая обречена на неудачу, недостойно, позорно. Не беспокойтесь, эта вторая революция найдет себе вождей без нас. Но она от нашей памяти не отвернется, она будет продолжать наше дело, потому что мы своей гибелью увековечим его. И, наконец, для революции законы не писаны. Во всяком случае не писаны теоретиками. Это — лавина. Каким путем она пойдет, где остановится, где свернет — неизвестно. Может-быть, рассыплется в ничто по пути, наткнувшись на непреоборимые препятствия, а может-быть и достигнет своей естественной цели и засыплет и уничтожит то, что уничтожить она должна в силу законов тяжести и сопротивления. Наша задача, по возможности, находясь в первых рядах, ускорять и регулировать движение. Не

предписывать с командных высот диспозиции, а вместе с армией, напрягая свою силу и волю, творить в самом процессе борьбы.

В соответствии с этими своими взглядами, Борис на частых теперь собраниях был сторонником самых решительных действий, и все делаемые им предложения, хотя и страдали порой некоторой недодуманностью, соответствовали требованиям переживаемого момента. В значительной степени, благодаря его настойчивости, их прежние беседы с Андреем Алексеевичем потеряли свой первоначальный характер кружковых занятий. Вопросы организационные ставились все чаще. На этих собраниях решались практические вопросы о работе среди войск, обсуждались и принимались конкретные решения. Самое продолжение подобного рода собраний скоро сделалось ненужным: молодые офицеры влились в военную организацию. Они знали уже очень многих солдат, примкнувших к движению, как из среды саперных частей, так из других частей, расположенных в городе.

Открывавшаяся на этих собраниях картина подготовленности киевского гарнизона к восстанию, казалось, не оставляла желать ничего лучшего. В той или иной мере организация охватывала весь гарнизон, включая сюда даже казаков. Если не во всех частях были прочные связи, то зато связи косвенные, позволявшие учитывать настроеиие, повидимому, были везде. А настроение, на основании оценки сплошь и рядом слишком субъективной и недостаточно обоснованной отдельных участников организации, во всяком случае благоприятствовало вооруженному восстанию. Самой подготовленной, вполне революционной частью участникам этих собраний представлялись саперы. Они были лучше всего представлены в военной организации, и почти во всех ротах имелись группы распропагандированных и преданных делу революции солдат. На тайных собраниях-массовках, устраивавшихся во рвах Васильковского укрепления и в Голосеевском лесу, преобладали саперы. Вторыми по своей подготовленности были артиллеристы. Пехота — Курский, Азовский и Миргородский полки были подготовлены гораздо слабее, но все же и относительно их существовала уверенность, что они поддержат восстание. Даже самые осторожные из членов военной организации находили, что если весь гарнизон и не присоединится к восстанию, то части, оставшиеся вне восстания, подавлять его откажутся во всяком случае. Кроме казаков, конечно. Но казаки страшны только невооруженным и неорганизованным толпам, а перед революционным войском они рассеются как пыль.

Настроение вожаков передавалось и массам. На фоне общего недовольства солдатами особенно остро воспринимались все углы казарменного быта. Плохая одежда, скверная пища, постоянные наряды — все это нервировало, возбуждало к неподчинению, к протесту. Но если руководители отчетливо представляли себе, что местные и частные нужды могут быть использованы лишь

как исходный пункт для общего выступления, согласованного если и не с общероссийским, то во всяком случае с выступлением, выходящим за стены киевской крепости и казармы и солидаризированным по своим лозунгам с обще-революционными требованиями, то взоры будущих рядовых участников мятежа дальше этих местных пределов не простирались. Идеи низвержения самодержавия, республики, учредительного собрания, конечно, уже были им известны, но реальное содержание этих идей как-то уплывало из их сознания, заслоняясь другим, более близким и насущным. Настроения вождей и масс лежали в разных политических плоскостях, совпадая лишь в общем направлении. Крестьянская психика в войсках перевешивала городскую, рабочую. И то, что можно сказать о подготовленности к восстанию киевского гарнизона, справедливо в отношении других мест, где так же неудержимо срывались военные мятежи.

На последних, предшествовавших восстанию, собраниях говорилось о том, что момент для выступления созрел. Представители саперных частей почти единодушно утверждали; что надо торопиться, так как иначе восстание вспыхнет стихийно и выльется в неорганизованные формы. Восстания Кронштадта и Севастополя подлили масла в огонь.

V.

ПЕРЕД ВОССТАНИЕМ.

Ближайшие причины восстания. — В третьей роте. — Забастовка. — Тайное собрание. — Жадановский за выход на улицу. — Как они были подготовлены. — Вечер накануне.

Говорили, что если бы не поторопилась третья рота пятого понтонного баталиона, то восстание могло бы произойти позже и пройти с гораздо большим успехом. Но ведь в таких случаях всегда кто-нибудь поторопится. Люди не часовой механизм, а стихия. Стихия же действует не по маленьким планам, состряпанным в тиши кабинета, а просто изливает свою мощь в то мгновение, когда сдержать ее ничто уже не может. Тут все сыграло свою роль: и то, что ротой командовал штабс-капитан Смирнов, грубый и презрительно относившийся к солдатам офицер, и то, что поручик Пилькевич и фельдфебель Коровин были хорошие, свои люди и поддерживали солдат, и то, что рота была недавно сформирована, и в ней скопились недовольные и непослушные, и то, что в роте не было своей кухни, а нужно было ходить в Никольские казармы обедать и ужинать, и то, что пища была плохая, и то, что в роту попала газета «Киевские Новости», и в ней были напечатаны требования грод-

ценских артиллеристов, взбудораживише и саперов... и многое еще сыграло роль в том, что третья рота потеряла терпение и начала шуметь.

16 ноября ужин был особенно плох, и солдаты вернулись в казармы голодными. Настроение было злое. На поверку встать не захотели. Когда после молитвы фельдфебель прочел наряд в караул, все закричали, что не пойдут, пока им не выдадут хорошей одежды. Начали требовать ротного. Ротного дома не оказалось, и вместо него пришел дежурный офицер. Люди не выстроились и загалдели очень угрожающе. С трудом офицер добился от них, чего они хотят. И так как заранее не сговорились, кто будет говорить за всех и что будет говорить, то сказано было не все и не так, как следовало.

— Эх, вы, бараны! Не умеете даже сказать офицеру, что надо вам, — сказал фельдфебель Коровин. — Я вам советую лучше на бумаге напишите свои требования и держитесь все за одного, один за всех. А я буду с вами до конца.

Совет был принят. Стали писать, что одежда плохая, что не выдают чая и сахара, что судков нет и не из чего есть пищу, что не выдают жалованья и задерживают денежные письма из дому, что ротного зовут на совет, а он не пришел.

Происходившее в третьей роте стало сразу же предметом разговоров и волнения на всей территории Жандармских казарм. В этих казармах кроме третьей роты пятого батальона были расположены военно-телеграфная рота четырнадцатого саперного батальона и третья рота четвертого понтонного батальона. Обе эти роты были настроены не менее революционно, чем первая, заварившая кашу.

Еще не все спали, когда около двух часов ночи в помещение роты пришел вестовой из дежурной комнаты и позвал к ротному трех солдат, разговаривавших с дежурным офицером.

— Чего ему надо, этому идолу? — спросил Кучеренко, один из вызываемых.

Вестовой замялся.

— Ты что же, брат, заодно с ним, что ли? Говори сейчас! Чего воды в рот набрал? Смотри, плохо будет! — раздались угрожающие голоса.

— Да я, братцы, ничего.... Только ротный приказал не разговаривать, а, то, говорит, сейчас под арест пойдешь.

И вестовой выложил обступившей его толпе, что ротный очень ругался и приказал позвать патрульных.

— Ну, рота, не выдавай! — крикнул Кучеренко. — Мы на вас положились, а теперь нас арестовать хотят. Поддержите, товарищи!

Кругом зашумели. Слышались крепкие забористые слова по адресу ротного.

— Не пойдем мы к нему, так и скажи ему, — заявил Кучеренко посланному. — А если он такой герой, что против роты захотел итти, пусть сюда является. Тут мы с ним и поговорим.

Однако, ротный в помещение роты не зашел, но, поднявшись в ротную канцелярию, через фельдфебеля вызвал туда Кучеренко и его товарищей.

— Вы что же, мерзавцы, — с места в карьер начал он, — бунтовать вздумали, не повинуетесь? Стоять смирно! — заорал он, видя, что Кучеренко делает шаг к нему, и, выхватив револьвер, направил его на стоящих у дверей солдат.

Кучеренко вытянулся, опустил руки по швам и спокойным голосом стал заявлять претензии роты.

— Во-от как! Так вы начальством недовольны, негодяи! Забастовку устроили! Может-быть вы и меня разжаловать хотите, государев крест с меня снять? — и он гордо ткнул пальцем в георгиевский крестик.

— Так точно, ваше высокоблагородие! Рота не желает вас иметь своим командиром, а крестик нас не касается, ваше высокоблагородие.

Смирнов совершенно потерял хладнокровие. Он подбежал к ним с угрозой убить на месте и несколько успокоился лишь тогда, когда испуганные солдаты стали уверять его, что они тут не при чем, что это рота заставила их говорить с дежурным офицером, а они им довольны и т. д.

— Ну, ладно! Суд разберется. А теперь живо собирайтесь под арест.

Солдаты ответили, как полагается: — «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» — и вошли в роту. Но едва закрылась дверь в канцелярию, как Кучеренко громко крикнул:

— Братцы! Товарищи! Ротный нас арестовал!

Спавшие, в большинстве раздетые, солдаты мгновенно вскочили на ноги. Не все сразу поняли, в чем дело.

Но когда какой-то солдат вскочил на стол и несколько раз под ряд крикнул: — Хлопцы, наших забирают, не выдавай! — поднялся такой бешеный рев, что храбрый штабс-капитан почувствовал настоятельную потребность убраться из роты.

Сопровождавший его фельдфебель через несколько минут вернулся и официальным тоном заявил:

— Ротный приказал сказать, что арест отменяется, потому что нет местов для арестованных.

Напряженная грозовая атмосфера сразу разрядилась смехом и ликованием. Казалось, первая позиция неприятеля взята. До рассвета рота не спала. А Кучеренко несколько раз в лицах изображал, под смех и шутки, как он разговаривал с ротным.

* * *

Утром 17-го понтонеры поздравляли друг друга с забастовкой.

— Только держись дружно, братцы! — говорили сознательные солдаты. — Нас поддержит весь гарнизон и рабочие. Начали хорошо, не подгадь, а то стыд на всю Россию будет.

И забастовка продолжалась: на занятия не становились, не пошли в швальню те, которые там работали. Приходило начальство производить опрос претензий, уговаривать. Заявили свои требования, пожаловались на строгость ротного. Но когда стали по нарядному листу вызывать в караул, вся рота закричала, что караула не пустит, потому что ночь они не спали, и одежда у них плохая, и требования их не удовлетворяются.

На обед в Никольские казармы тоже не пошли из опасения, что пока в помещении роты никого не будет, начальство постарается занять помещение казаками.

В течение дня рота была местом паломничества солдат других частей, приходивших выразить свое сочувствие и обещать свою поддержку. Эти посещения поднимали дух и укрепляли уверенность, что гарнизон будет с ними. Третья рота четвертого понтонного батальона даже представила свои собственные требования, выработанные еще накануне.

На вечер было решено собрать совещание представителей частей, чтобы выработать план общей поддержки понтонеров. На это собрание обещали притти также и офицеры, сочувствующие забастовке. Поручик Пилькевич, которого рота наметила как своего нового ротного командира, даже забегал в роту и, улучив момент, подбодрил своих людей держаться стойко и дружно.

Вечером опять прибыло начальство. Был сам начальник бригады. Но рота построиться отказалась, и бригадный, пригрозив, уехал.

* * *

Собрание происходило в квартире сапожника Подградного на Московской улице № 31. В заднюю маленькую комнату набилось свыше пятидесяти человек. Присутствующие стояли, вплотную прижавшись друг к другу, из-за табачного дыма ничего не видя. Кроме солдат различных частей были офицеры и штатские. Во избежание внезапного ареста по всем ближайшим улицам были выставлены патрули, которые условленным сигналом должны были предупредить о какой-либо опасности. Но, несмотря на то, что об этом совещании в казармах говорили открыто, все сошло благополучно.

Собрание открыл Андрей Алексеевич.

— Товарищи! — сказал он. — Всем вам известно, что случилось в Жандармских казармах. Совершенно неожиданно для всех и даже для самих понтонеров вспыхнула военная забастовка. Чаша солдатского терпения переполнилась.

И Андрей Алексеевич подробно рассказал о том, как все это случилось. После него сделали несколько дополнений представители понтонеров. Когда фактическая сторона была достаточно изложена, Андрей Алексеевич продолжал:

— Вы видите, товарищи, что все произошло случайно, если тут можно говорить о случайности, и стихийно. За минуту до

того, как слово «забастовка» было произнесено, ни один человек из забастовавших и не думал о том, что выступление произойдет. Мы готовились, правда, к тому, чтобы силою оружия поддержать революцию, но эта поддержка должна была вылиться в совершенно других формах и по иным поводам. Но что случилось, то случилось и отступать теперь не приходится. Не правда ли?

— Верно! Правильно! Надо итти до конца!—ответили многие из собравшихся.

— Такого же мнения и наша партия. Но только мы думаем, что этим частным выступлением необходимо воспользоваться, чтобы превратить его в более широкое. Для этого необходимо, чтобы понтонеров поддержал весь гарнизон и чтобы те требования, которые они предъявили своему начальству, были расширены. Это должны быть требования всей армии. Но кроме того нужно, чтобы в них были включены общие лозунги, чтобы подчеркнуть солидарность армии и народа. Если мы придадим этому выступлению такой размах, то его поддержат и рабочие. А момент сейчас такой, что можно ожидать полной победы. Вы знаете о восстании черноморского флота.* По всей России происходят забастовки и восстания. Киевские рабочие только ждут сигнала. Ваше восстание будет этим сигналом.

После Андрея Алексеевича говорил другой штатский. Он очень волновался и потому сказал только несколько слов.

— Товарищи! — сказал он. — Отступать, конечно, нельзя. Но нельзя и форсировать события. Я очень боюсь, что революция распыляет свои силы в отдельных вспышках. Частые неудачи, если их слишком много, превращаются в поражение. Нам нужно сейчас хладнокровно обсудить, достаточно ли подготовлен гарнизон, поддержит ли он саперов. Вы ведь понимаете, что если саперы останутся одни, то с ними расправятся одним взмахом. А саперы самая революционная часть. Без них остальной гарнизон не сможет в нужный момент оказать действительной поддержки.

Слово взял высокий телеграфист седьмого саперного батальона, несколько раз уже порывавшийся прервать оратора.

— Товарищи! Что это такое? — закричал он. — Сегодня забастовали чиновники, и нашу роту послали на станцию заменить их. Мы не хотим итти против своих братьев. Нас заставляют. Мы тоже должны забастовать. Меня рота прислала, чтобы присоединиться к понтонерам. Мы за общую забастовку. Довольно нам иго нести!

Послышался голос Жадановского, не видного из толпы.

— Мы должны с оружием в руках выйти на улицу. Нечего оглядываться и спрашивать себя: «все нас поддержат или не все?»

---

* В Киеве еще не было известно об окончательном подавлении севастопольского восстания.

Если мы будем так рассуждать, мы никогда не выступим и нас по одному царские сатрапы заберут и засадят в тюрьму. Сейчас удобный момент. Все зависит от нас. Главное — выступить решительно и смело, и тогда все шансы на нашей стороне.

Эти слова вызвали бурное одобрение среди собравшихся.

Все эти люди, принимавшие здесь такое серьезное решение, в эту минуту как-то не отдавали себе отчета, что, говоря и отвечая за других, на самом деле говорили лишь лично за себя, выражали свое собственное настроение и свою готовность. Многие из них, вернувшись в казармы и передавая ближайшим и в большинстве случаев немногим единомышленникам решение собрания, начинали чувствовать, что в этом решении, построенном на крепком и горячем убеждении, что все действительно готовы и только ждут сигнала, не все благополучно. Они начинали опять ясно и трезво видеть, как видели и знали до собрания, что готовы и ждут далеко не все. И растерянно относили происшедшее недоразумение лишь на собственный счет, обольщая себя надеждой, что в других частях за то все обстоит совершенно так, как это рисовалось на собрании.

На собрании было решено, что расквартированные в Жандармских казармах части выступят с утра и пойдут по намеченному маршруту снимать и присоединять к себе остальные части. Но так как до этого решения много времени было потрачено на разговоры и окончательную редакцию требований, которые нужно было поскорее отправить в подпольную типографию киевского комитета, чтобы они были напечатаны завтра к утру, то очень многие, не дождавшись конца и боясь опоздать на поверку, ушли. Таким образом, практическая, самая важная, задача собрания не была своевременно известна во всех частях. Кроме того, маршрут был намечен, но время прихода в каждую казарму восставших расписано не было. И, наконец, как-то не сумели или, может-быть, не успели решить, что же будет дальше после того, как гарнизон присоединится. Это объясняется тем, что движение возникло внезапно как забастовка, а превратить забастовку в вооруженное восстание с захватом власти, с устранением особо вредных лиц или организаций, без подготовки, без плана невозможно. Тут естественно было положиться на стихию, которая, если все для этого созрело, вынесет сама туда, куда она естественно должна вынести.

* * *

Жуков, денщик Жадановского, в третий раз разогревал самовар, когда молодые офицеры возвратились с собрания. Он очень волновался. Он знал, что забастовала третья рота, знал, что будет собрание, подслушал, как его господа говорили между собой о том, что наступил момент для решительных действий, и, не отдавая себе ясного отчета в том, что происходит, вообра-

жал всякие ужасы. Забегавший к нему денщик штабс-капитана Смирнова совсем напугал его, сообщив, что штабс-капитан чистил револьвер, пил водку и говорил, что всех расстреляет, а первого подпоручика.

— Так и сказал барыне: «первую пулю этому подпоручику. Первый он смутьян против бога и царя», — рассказывал денщик. — А потом говорит: «Если бы меня послушался бригадный, все бы спокойно было. Давно его убрать, говорит, надо. Теперь, говорит, придется кровь проливать да невинных расстреливать». Так и сказал.

И Жуков очень обрадовался, когда Борис вернулся домой и веселым голосом спросил, готов ли ужин.

— Так точно, Борис Петрович! Третий раз самовар уж наставляю. Думал, раньше придете.

— Напрасно ждали.

— А как, Борис Петрович. насчет забастовки? Будет что-нибудь?

— Будет, будет. Завтра вы, Жуков, можете итти в роту с утра, чтобы быть со всеми.

— Я не пойду, чего мне. Лучше дома буду сидеть, чтоб не залез кто. Может такое случиться, обокрадут вас.

— Нет, Жуков, вы должны итти. Каждый человек там будет нужен. Обязательно идите.

Но Жуков, хотя и сказал «слушаюсь», решил никуда не итти. Когда он подал самовар, Борис Петрович сказал ему:

— Теперь ложитесь спать, Жуков, а завтра приготовьте самовар к 8 часам и разбудите нас.

Жуков спать не лег, но долго стоял за дверью и слушал, о чем говорили офицеры.

Разговор шел о предстоящем выступлении. Больше всех говорил Борис Петрович.

— Я не особенно надеюсь на успех, — говорил он. — Да и чего можно добиться сейчас, если в сознании участников это просто забастовка для достижения экономических требований, а не революционное восстание. Ведь даже среди солдат, бывших на собрании, всего несколько человек с интересом отнеслись к тем политическим требованиям, которые мы включили в завтрашний листок. Остальные просто даже не заметили их. А солдатская масса, конечно, объединяется только на требованиях экономических. Если даже рассчитывать, что все части, или большинство, присоединятся к саперам, — а я не особенне рассчитываю на это, — то стоит начальству удовлетворить самые насущные и легко удовлетворимые...

— Этого бояться не приходится, — перебил Баранов. — Ты забываешь, Борис, что власти никогда не решатся пойти на уступки на собственный риск. Они будут сноситься с Петербургом, будут колебаться, терять время, а нам ведь нужно

несколько дней всего, чтобы закрепить свои позиции и превратить мирную забастовку в захват власти. За эти дни бог знает что еще может случиться. Лишь бы удалось выступление. А оно должно удасться.

— Блажен, кто верует... Но я хоть и слабо верую, очень рад тому, что наконец-то и мы, военные, вступаем в общее движение. Если даже нас завтра всех переарестуют, расстреляют, мы своим выходом поддадим жару. Дадим пример другим, с одной стороны, а с другой, и власть поколеблется в своей уверенности в войске. Нет, я очень рад, я счастлив. Только бы ночью не приступили к подавлению. Тогда все пропало.

Жуков слышал, как после ужина офицеры жгли и рвали какие-то бумаги.

Ночь прошла спокойно.

VI.

ВОССТАНИЕ.

Саперы выступили. — В Жандармских казармах. — В Никольских казармах. — Солдатские требования. — Первое препятствие. — На Печерском базаре. — Боже, царя храни. — Казаки. — «Здорово, братцы!» — На еврейском базаре. — Залпы. — Ранен. — Жертвы восстания. — У друзей.

Жадановский еще лежал в постели, когда в комнату его вбежал поручик Пилькевич, взволнованный, запыхавшийся от быстрой ходьбы.

— Как! Вы еще лежите? Вставайте скорее!

— Что случилось, Александр Меркурьевич?

— Люди уже вышли из казарм. Вставайте скорее!

— Сейчас, сейчас! — заторопился Жадановский и с лихорадочной поспешностью стал одеваться.

В это время Жуков внес самовар и стал возиться около умывальника.

— Давайте скорее пальто, Жуков!

Жуков недоумевающе глядел на него.

— Я не буду умываться, не надо чаю, скорей пальто!

И даже не застегнувшись, он выбежал на улицу...

У ворот домов толпились кучки обывателей, оживленно обсуждавших событие. Кое-где среди них ораторствовали денщики. При приближении офицеров разговоры прекращались, и все глаза с острым любопытством и злорадством устремлялись на них. Население крепости было на стороне мятежников.

— Куда мы пойдем? — спросил Жадановский.

— Они должны были пойти к Никольским казармам присоединять остальных понтонеров,— ответил Пилькевич.— Должно быть они сейчас там.

Но у Никольских казарм было уже пусто. Восставшие успели продвинуться дальше. Только на Печерском базаре удалось нагнать их.

* * *

Еще с вечера, сразу после поверки, солдаты в Жандармских казармах разобрали патроны, чтобы в случае внезапного нападения ночью не быть захваченным врасплох. С этою же целью всю ночь было усиленное дневальство.

Едва рассвело, на двор вышла третья рота четвертого понтонного батальона. Ее вывел вольноопределяющийся Мей, бывший студент рижского политехникума. Выведя роту, Мей с наиболее активными из своих товарищей пошел торопить третью роту пятого батальона и телеграфистов. Большинство выходило охотно. Но были и такие, которые пытались увильнуть. Их принудили взять винтовки и присоединиться.

Пошли к Никольским казармам. Шли тихо и в полном порядке. Даже дозоры выслали вперед. Протянули щупальцы в те стороны, откуда можно было ждать врага.

В Никольских казармах так рано их не ждали. Многие еще спали. Однако кто-то успел испортить телефон в дежурной комнате, и, когда дежурный офицер, прапорщик, увидя врывающуюся в казармы толпу, бросился к телефону, ему с хохотом крикнули:

— Звони, продажная шкура! Поздно уже!

Пирамиды с винтовками оказались на замке, патроны в цейхгаузе. Пришлось повозиться. Кое-кто залез под койку. Выгоняли прикладами. Ругались, агитировали.

Отсюда вышли уже в составе пяти рот — присоединились первая и вторая роты четвертого понтонного батальона. Шли очень сломанным строем, скорее толпой, назад по Московской и на Миллионную улицу. Несколько человек вольных хотели войти в ряды. Однако, послышались крики:

— Вольных не пускай! Это наше, солдатское дело! Пусть не мешают.

Но и появившихся офицеров тоже не подпустили. Им кричали:

— Вы нас продадите! Уходите по домам, чтоб худа не было!

Слышались и ругательства и оскорбительные слова. Но острого озлобления, серьезных угроз не было.

Агитаторы принесли только что отпечатанные узкие листки, в которых были изложены требования. Их раздавали, читали на ходу отдельные места, кричали при этом: «да здравствует свобода!» Но большого энтузиазма не было, точно шли по наряду, с тяжелым неприятным чувством.

В прокламации требовалось, с одной стороны, то, что всего больше волновало солдатскую массу, самое больное и насущное: улучшение пищи, одежды, суточный отдых после караула, бесплатность солдатской переписки, еженедельная баня и т. д., с другой стороны, говорилось о вежливом человеческом обращении, о свободном увольнении со двора, об уничтожении военных судов и применени к военным общей судебной мерки, о свободе собраний и праве посещать митинги, т.-е. о таких вещах, которые были важны, близки и понятны для большинства, может-быть, но которые были не только их солдатским делом, но делом всего революционного движения. Заканчивалась прокламация словами: «Мы требуем немедленного созыва Учредительного Собрания, которое одно только сможет помочь народному горю, улучшить положение крестьян и рабочих, создать новые, свободные законы, заменить постоянную армию народной милицией, которая не будет отрывать солдат от родного дома и заменит долгие годы службы несколькими месяцами, нужными для обучения военному делу. Да здравствует всенародное Учредительное Собрание!»

Переполошившееся саперное начальство пыталось унять занимавшийся пожар собственными силами. Самой надежной казалась первая рота седьмого саперного батальона, и ее начальник бригады решил выдвинуть против мятежников.

Капитан Гиппенрейтер пришел в роту в тот момент, когда младший офицер производил расчет роты. Налицо оказалось всего 16 рядов, т.-е. 32 человека. Остальные частью были в нарядах, частью же по-просту разбрелись в разные стороны, чтобы не впутываться в историю. Рота действительно была надежной!

Ничего не объяснив своим людям, капитан Гиппенрейтер выступил с тем, чтобы на углу Московской и Миллионной улиц встретить восставших. Они, однако, оказались гораздо ближе, чем предполагал храбрый усмиритель, и ему пришлось выстраивать роту поперек улицы в виду надвигавшейся толпы. Здесь собралось все саперное начальство во главе с бригадным, пытаясь уговорить солдат разойтись по казармам. Несколько человек с винтовками наперевес бросились на офицеров, но из толпы раздались крики: «Не трогай офицеров! Не надо крови!» Произошло смятение. Гиппенрейтер, которому командир бригады делал сигналы открыть огонь, растерялся и дал возможность толпе вплотную надвинуться на его роту и смять ее. Образовался людской водоворот, послышалось «ура». Замелькали приклады. Было нанесено несколько ударов, досталось и Гиппенрейтеру. Шествие двинулось дальше.

На Печерском базаре перед казармами Миргородского рынка, где был расквартирован в то время Курский полк, произошла остановка. Здесь к восставшим присоединился оркестр Курского полка и часть из находившихся в казармах солдат, очень немного

Под звуки музыки, игравшей военные марши, пошли затем к редюиту № 1. Здесь, во дворе редюита, развернутым фронтом была выстроена четвертая рота четырнадцатого саперного батальона. Но не успел ротный командир выхватить шашку и скомандовать огонь, как толпа окружила его, а рота с криками: «Ура! Да здравствует свобода!» слилась с восставшими. Послышались звуки марсельезы. Это вышла в полном порядке музыкантская команда саперов.

Новое препятствие. У башни № 2, в которой находились казармы нескольких саперных рот, в боевом порядке лицом к толпе выстроена первая рота четырнадцатого батальона. Все ждали залпа, так как рота эта, в своем большинстве, считалась верной правительству. И действительно, когда ротный во имя царя и отечества обратился к ней с предупреждением, что по его команде она должна открыть огонь, он получил дружный ответ: «постараемся!». Но тут случился совершенно неожиданный инцидент. Кто-то скомандовал музыке играть гимн. Какой-то полковник выбежал вперед и крикнул толпе:

— Если гимн, то надо его слушать в порядке. К ноге!

К ноге взяла и рота, выдвинутая для отражения толпы. Затем раздалась команда:

— Слушай! На кра-ул!

Рота взяла на караул. Мятежники же на караул не взяли, бросились вперед, смяли роту и ворвались во двор башни, а затем и в казармы.

Третье препятствие было преодолено. Число восставших достигло уже свыше тысячи штыков.

* * *

Офицеры, стоявшие на стороне восставших, шли сбоку толпы, не вмешиваясь в нее, так как подчинялись громко выраженному желанию солдат. Но уже у башни № 2 остро почувствовалась необходимость командования. Роты перемешались между собой, в толпе сновали безоружные вольные. В любой момент могла разразиться паника, а тогда все было бы бесславно проиграно.

— Так больше невозможно,—сказал Жадановский, обращаясь к кучке сочувствовавших солдатам офицеров. — Мы должны построить их и вести в порядке. До сих пор можно было не бояться серьезного сопротивления. Теперь на нас двинут казаков. Идемте!

Несколько офицеров отделилось и пошло за ним в самую гущу саперов. Раздались было крики:

— Уходите вон! Довольно нашей крови попили! Не надо золотопогонников!

Но знавшие их солдаты закричали:

— Не трогай, братцы! Они с нами. Это товарищи! Свои!

Их окружили, жали им руки, кричали «ура».

По указанию офицеров толпа перестроилась и приняла вид организованной воинской части. В арьергарде был образован смешанный отряд из наиболее сознательных понтонеров и сапер, чтобы предохранить шествие от внезапного нападения в тыл. Впереди шла музыка. Непосредственно за ней шла третья рота пятого понтонного батальона. Распоряжался, главным образом, Жадановский. Показывая на него, солдаты говорили:

— Это будет наш начальник бригады.

Движение продолжалось затем мимо саперных лагерей до станции Киев II. По дороге присоединились небольшими группами артиллеристы третьего осадного полка и саперы, занимавшие караул на станции. От станции направились в город через Демиевку и затем вышли на Большую Васильковскую.

Дозоры предупредили о приближении казаков.

— Заряжай ружья!—скомандовал Жадановский.

Впереди замаячили пики двух сотен. Одна сотня зашла сзади и начала наседать на сапер. Но охранная рота остановилась, развернула фронт, и казаки под свист и улюлюканье шедшей по бокам разношерстной толпы быстро подались назад. Этот маневр повторился несколько раз.

На Большой Васильковской три сотни казаков преградили дорогу. В рядах возникло смятение. Одни хотели уходить прочь, другие бросались вперед, щелкая замками винтовок.

— Товарищи! — крикнул Жадановский, — казаки нам не страшны. Приготовьтесь на всякий случай, а мы пойдем узнаем, чего они хотят.

Вместе с Пилькевичем он подошел к казачьему полковнику.

— Господин полковник! — решительно заговорил он. — У сапер много патронов, и они готовы открыть огонь, если вы воспрепятствуете им. Уберите своих людей и очистите дорогу, если хотите избежать кровопролития.

Полковник замялся. Его казаки ему самому казались не особенно надежными, и он знал, что вооруженного отпора они не выдержат. Он подъехал совсем близко к офицерам и, склонившись с лошади, сказал им тихо:

— Я не могу... Понимаете, не могу. Мне приказано задержать здесь толпу и рассеять ее, если она откажется возвратиться в крепость.

— Саперы и собираются вернуться в крепость, только другой дорогой, — сказал Пилькевич. — Не усложняйте положения, полковник.

— Не могу, не могу пропустить дальше.

— Ну, хорошо! Берите ответственность на себя,—решительно сказал Жадановский и быстро вернулся к волновавшимся саперам.

Полковник перед этим жестом сдался, и по его приказу казаки расступились, открыв проход.

— Шагом марш! Левой! — и продолжая отсчитывать ногу, с обнаженной шашкой, с насмешливой улыбкой глядя на нахмурившегося полковника, Жадановский повел сапер дальше.

Казаки сомкнулись за ними и угрюмо сопровождали их по Жилянской улице до артиллерийских казарм. Возле этих казарм навстречу саперам вышел командир корпуса генерал-лейтенант Драке, очень старый человек, воображавший, что он умеет говорить с солдатами и что солдаты любят его.

Он вплотную подошел к солдатам и громко крикнул:

— Здорово, братцы!

Однако, среди наступившей внезапно тишины, вместо ожидаемого громового ответа, послышался чей-то озорной ответ:

— А ты, братец, проходи себе мимо. Некогда нам тут с тобой возиться.

В рядах рассыпался веселый смех. Но генерал серьезно обиделся.

— Стыдно вам, братцы, обижать меня, старика. Не заслужил я этого. Верой и правдой сорок шесть лет служу, скоро умирать буду... Не заслужил...— и он громко всхлипнул.

В толпе почувствовалась какая-то неловкость. Несколько голосов сказали:

— Да мы ничего, ваше превосходительство. Мы против вас ничего не имеем.

Генерал решил, что дело в шляпе, и поздоровался еще раз. И опять не получил ответа. Несколько голосов завели было ответное «здравия желаем», но на первом же слоге поперхнулись.

В это время часть солдат успела уже ворваться в казармы артиллеристов. Оставшиеся на улице нарушили строй, и вокруг генерала образовалась толпа. Он ласковым голосом предложил ближайшим к нему рассказать, из-за чего они «пошли на это тяжкое преступление».

— Ну, ты скажи, — обратился он к одному, — чего ты хочешь?

— Да я ничего не хочу, ваше превосходительство, меня силой взяли.

— Ну, а ты чего сюда пришел?

— Я как все, да вот штаны у меня какие, — показал он, подняв полу шинели, дырявые штаны.—Ну, и прочее все...

— Ну, братец, это же не причина, чтобы на бунт итти.

В это время вперед протискался высокий понтонер с белым листком в руках и начал пространно объяснять генералу, в чем дело, поминутно обращаясь к своим товарищам за подтверждением того, что он излагает действительно их требования. Окружающие шумно одобряли его. Генералу это не понравилось:

— Я вижу, братец,—перебил он говорившего,— что у тебя язык бойкий. Все это, наверное, написано в этой бумажке. Ну-ка, покажи.

Он взял листок, начал, было, громко читать, но тон прокламации ему не понравился и он остановился.

— Нет, братцы, — сказал он, пожевав старчески губами, — это не вы сами писали. Разве вы можете от начальства требовать? Вы можете только просить. Но я вам обещаю, если вы сейчас разойдетесь в порядке по казармам, сложите там оружие и выдадите зачинщиков, я исходатайствую у государя императора для вас полное прощение. А те ваши пожелания, которые разумны и в моей власти, я удовлетворю.

Но солдаты не растрогались. Поднялся смех, свист. Послышались угрозы. Вышедшая со двора казарм толпа захватила и понесла генерала, и ему с большим трудом удалось ретироваться под защиту казаков.

Снова пошли. Шествие все разрасталось. Большое количество рабочих примкнуло к солдатам, и, когда с Жилянской улицы свернули на Степановскую, вся улица была запружена народом. Оркестры попеременно играли, рабочие пели революционные песни. Впереди с шашкой наголо шел маленький подпоручик, и ясные глаза его смело смотрели вперед.

Вышли на Еврейский (Галицкий) базар. Шли мимо Железной церкви, направляясь к казармам Азовского полка.

Брест - Литовское шоссе перегораживал серый забор. Это выстроилась учебная команда Миргородского полка — последний оплот власти, надежная часть из подобранных, вымуштрованных, заласканных и закупленных людей.

Взяли ружья на изготовку к стрельбе, и передний ряд опустился на колено.

Передние ряды шествия остановились, задние напирали, не слыша команды.

Без предупреждения раздался залп, за ним другой. Все шарахнулись.

—Стойте! Не разбегайтесь! Вперед! — крикнул Жадановский и с обнаженной шашкой вышел вперед.

Слышались редкие ответные выстрелы. Когда он оглянулся, толпа в панике бежала. Отдельные группы сапер искали прикрытия за ларями и оттуда стреляли по миргородцам.

Он продолжал звать разбегавшихся. И, очевидно, он один, оставшийся стоять, представлял опасность для усмирителей.

— Рота! По офицеру! — раздалась команда.

Он почувствовал сильный удар в грудь, отошел в сторону и за насыпью упал, потеряв сознание.

* * *

У миргородцев было три убито и шесть ранено. Цифра убитых и раненых среди восставших точно установлена быть не может. Враждебный «Киевлянин», черносотенная газета, гнусно клеветавшая на революцию и революционеров, приводил следующие данные:

> «В течение дня в Александровскую больницу доставлено 12 убитых и 13 раненых, а в больницу для чернорабочих—20 раненых, в том числе 6 тяжело раненых. Сколько убитых и раненых развезено по домам пока неизвестно. Со стороны скорой помощи потребовалась напряженная работа. Была оказана помощь 40 раненым, в том числе 20 саперам».

Затем сообщалось:

> «Установлено, что в воинских частях убито 2 и ранено 23, в том числе подпоручик 5-го понтонного батальона Жадановский. О потерях в 14-м саперном батальоне не поступило донесений. Несколько из раненых нижних чинов умерло. Без вести пропало 58 нижних чинов (не возвратились в казармы). Пропало 68 винтовок. Со стороны посторонних лиц убито 12 и ранено 53. Кроме того, убит один из агитаторов, переодетый в мундир ефрейтора и в шинель унтер-офицера 4-го понтонного батальона. Труп его доставлен в военный госпиталь. В общем, пока насчитывают 91 убитых и раненых».

Хорошо стреляли миргородцы!

* * *

Широко распространился слух, что раненый Жадановский умер, а тело его погребено самими революционерами.

В «Киевской Газете» 24 ноября появилось обведенное траурной рамкой, сообщение:

> «Убитые скорбью отец, мать, сестры и брат извещают родных и знакомых о безвременной кончине горячо любимого сына и брата Бориса Петровича Жадановского».

Распространению этого слуха немало посодействовал Жуков. Вернувшись домой, Баранов сказал ему: «Твой барин ранен на Еврейском базаре. Если хочешь его видеть, поезжай в лечебницу врачей специалистов на Мариинско-Благовещенской. Узнай, как он».

Жуков немедленно помчался туда. Но раненого там уже не оказалось.

— Увезли,—лаконически сказал сторож, передавая ему окровавленный сюртук, пальто и фуражку Бориса Петровича, и ни в какие разговоры больше вступать не стал.

Жуков вернулся домой, убитый горем, уверенный, что барин его умер.

Борис Петрович смутно помнил происходившее с ним в часы, непосредственно следовавшие за ранением. Преобладало чувство острой боли в груди, очень усилившееся, когда его какие-то люди несли на чьей-то солдатской шинели. Затем он очнулся в лечебнице, когда врач скорой помощи делал ему перевязку.

В лечебницу через несколько часов по прибытии раненого явились две дамы, имена которых, к сожалению, остались нам неизвестны, и, заявив, что раненый их брат, взяли его к себе на квартиру. У них, борясь между жизнью и смертью, провел он около 10 дней, окруженный заботливым уходом.

В те дни героическая борьба революционеров привлекала к ним сочувствие и симпатии со стороны людей буржуазных слоев, чуждых революционного энтузиазма, но недовольных полицейско-бюрократическим режимом. Они оказывали помощь борцам не только деньгами, но и предоставлением своих квартир для собраний и явок, рискуя подвергнуться за это тюрьме и ссылке. Люди, приютившие раненого офицера-революционера, были бы рады держать его у себя до полного выздоровления и отправки за границу, но среди соседей, благодаря болтливости прислуги, пошли разговоры о том, что они укрывают раненого преступника. Эти разговоры неизбежно должны были дойти до полиции, и благоразумие требовало принять немедленно меры к переводу Жадановского в более безопасное место. Профессор политехнического института М. М. Тихвинский, и ранее принимавший участие в судьбе раненого, нашел ему убежище на опытной ферме института, расположенной на окраине города. Здесь, в квартире заведующего фермой Богоявленского, Жадановский продолжал скрываться под именем Петра Николаевича Самойленко, мещанина города Изюма. Подложный паспорт на имя Самойленко был передан ему партийной организацией.

VII.

АРЕСТ И СУД.

На ферме Политехнического Института. — Арест. — В военном госпитале. — Перевод в крепость. — Организация побега. — Неудача. — Суд. — К смертной казни. — Муки матери. — Помилование.

Друзья Бориса с нетерпением ждали его выздоровления, чтобы поскорее сплавить его за границу, как это сделано было в отношении его товарищей, Зубкова и Баранова. Все уже было приготовлено для этого. Но выздоровление подвигалось крайне

медленно, образовался гнойный плеврит, и врач, навещавший раненого, качал головой и говорил:

— В этой обстановке серьезной операции произвести нельзя, а без операции не обойтись.

У постели больного бессменно дежурила сестра милосердия Екатерина Ивановна Менцер. Между больным и его сиделкой возникла горячая нежная дружба, светлое чувство, согревавшее и в черные годы каторги душу Бориса. В бессонные шлиссельбургские ночи, когда зимняя вьюга напевает о безрадостной жизни и безвестной смерти, он часто уносился мыслью в лазурные края, куда они мечтали вместе поехать, чтобы солнцем и воздухом юга оживить его простреленную грудь. Но мечты должны были остаться мечтами.

* * *

В ночь на 29 декабря полиция произвела набег на ферму в поисках оружия и нелегальной литературы и обнаружила раненого юношу. Паспорт его оказался непрописанным, и полиция сразу почуяла, чем тут пахнет. До утра он был оставлен на ферме, а ранним утром его перевели в военный госпиталь.

В газетах появилось сообщение:

> *Киев*, 31 декабря (Р. А.). На ферме Политехнического института, находящейся на окраине города, в квартире заведующего фермой Богоявленского обнаружен раненый в грудь молодой человек, пострадавший во время беспорядков 18 ноября; повидимому, он военный. Больной переведен в военный госпиталь. Богоявленский арестован.

— Кто вы такой? — спрашивали его власти.

— Я Самойленко, — отвечал Жадановский.

— Нет, вы не Самойленко. Сознайтесь, кто вы такой.

Больной отворачивался от спрашивавших и несколько дней оставался таким образом неопознанным. Приходили разные люди, смотрели на него, прикидывали в уме, не похож ли он на кого-нибудь, и уходили, найдя, что он ни на кого не похож. Приходили такие, которых он узнавал, но которые в этом живом скелете в больничном белье и под желтым одеялом не могли узнать виденного ими в офицерской форме юношу с полными щеками и живыми глазами. Но адъютант пятого понтонного батальона все-таки узнал его.

— Борис Петрович! Да ведь это вы! Как вы изменились, дорогой мой! — ласково и радостно запел он.

— Очевидно, не настолько изменился, чтобы полицейский глаз меня не узнал, — ответил больной с презрением и отвернулся.

Но дальше запираться уже не имело смысла, и пришедшему в тот же день следователю Жадановский дал первое краткое показание.

Положение его оставалось очень серьезным. В газетах писали, что «жизнь его еще продолжает находиться в опасности». Главный врач госпиталя в ответ на запрос военно-окружного суда отвечал 7 января, что «ему необходимо произвести операцию множественного удаления ребер, после каковой операции, если бы подпоручик Жадановский перенес ее, нужно будет 4 или 5 месяцев для заживления и восстановления сил больного».

Потянулись долгие месяцы госпитальной скуки. Первое время единственной радостью были книги. Свиданий не давали. Коротенькие письма домой пишутся в постели.

«Никто не приходит. Сижу один», — пишет он.

Но уже в конце февраля стали допускать на свидания Е. И. Менцер в качестве невесты. Сначала ей позволили проводить у больного 5 часов в день, потом это время сократили до получаса два раза в неделю. Но товарищам-офицерам приходить к нему на свидание не разрешали, несмотря на все просьбы. В конце мая больной уже встает. Рана не заживает все. Дренаж сменяется тампоном, врачи говорят о скором выздоровлении, но температура вдруг повышается до 40°, и снова дренаж, снова уходят надежды на скорое выздоровление. Дело Жадановского выделено из общего дела, никто не приходит к нему ни из суда, ни из властей. Как будто забыли. Судили сначала саперов. Жестокие кровавые приговоры. Вторично судили по протесту прокурора оправданных на процессе офицеров: Пилькевича и других. Вновь оправдали. Судили начальство саперной бригады за недостаточную энергию. А в стране — последние вспышки умирающей революции, рост реакции, черносотенство и казни, казни без конца.

Тяжело в неволе. Мощный дух, побеждая слабость тела, рвется на подвиг, на дело. Южная весна соловьиными трелями, ароматами цветущих деревьев зовет к вольной жизни, к любви и радости.

Каждый день, иногда через день перевязка. Больной с нетерпением ждет этого момента. Он сам спускается по лестнице во внутренний двор, а затем на колясочке его везут в зимний госпиталь — $1/2$ версты от летнего. После перевязки сидит на воздухе с полчаса, а потом снова назад. В палате на него находит тоска и уныние. Не надолго, впрочем. Он не поддается угнетению, борется с ним и всегда побеждает.

В арестантской палате для политических Борис не один. Несколько времени с ним пролежал Пилькевич, арестованный за неделю до вторичного суда. Вторым сожителем его довольно долго был привезенный из Владимирской губернии подпоручик пехотного одесского полка Виталий Харламов. Его арестовали

по приезде с войны и держали свыше трех месяцев без допроса или официального предъявления обвинения, как он сам предполагал, за то, что, еще будучи в Чите, объяснял солдатам манифест 17 октября не так, как желалось начальству.

В конце июня запретили свидания с Е. И. Менцер. Здоровье значительно улучшилось. 25 июля Бориса перевели в крепость и заключили в «Косом капонире». Помещался здесь он в одной камере со своим товарищем по госпитальной гауптвахте В. Ф. Харламовым.

Мысль о побеге давно уже зародилась у него. И если бы его не поторопились перевести из госпиталя в крепость, дальнейшего, конечно, не произошло бы. Но в жизни всегда случается так, что легкое ускользает из наших рук, а трудное и часто невозможное является единственным выходом. Надо было думать о побеге из крепости и надо было торопиться, потому что суд предполагался в августе, а собранные в обвинительном акте улики предвещали недоброе.

К Харламову из Мурома приехала сестра, и она-то, ходя к брату на свидания и живя у Е. А. Шибинской, установила связь между Борисом и волей. Когда Харламов был выпущен, сношения продолжались через Е. И. Менцер, снова получившую разрешение навещать Бориса. К организации побега были привлечены как социал-демократы, так и социалисты-революционеры. План заключался в следующем. Борис должен был разобрать в уборной досчатый потолок, спуститься по веревочной лестнице вниз. Недалеко у оврага должна была ждать его Шибинская с женским платьем, в которое ему надлежало переодеться. Она провела бы его через территорию бывшей выставки, а там ждали бы лошади — великолепные рысаки, предложенные одним армянином - дашнаком * с кучером — товарищем, опытным в революционных предприятиях. Если бы была погоня, ее задержала бы боевая дружина. И все уже было готово, экипаж был подан.... Но получилось сообщение, что вокруг капонира настолько усилена охрана, что было бы безумием пытаться предпринять что-либо. На другой день вокруг капонира был поставлен высокий забор. Очевидно, власти были предупреждены о готовящемся побеге. Было ли предательство, или болтовня кого-либо из участников дошла до чужих ушей, — узнать так и не удалось.

* * *

На 2 сентября был назначен суд. Обвинял помощник военного прокурора подполковник Халтулари. Шесть офицеров — в чине от генерал-майора до капитана — тупо выслушали речь

---

* Дашнакцутюн — армянская революционная партия, мелко-буржуазная по идеологии. *Прим. ред.*

прокурора, совсем не слушали речи защитника и объяснений подсудимого и подписали приговор:

Смертная казнь через расстреляние.

Борис спокойно ждал казни. Ему казалось, что надежды нет уже. Он с негодованием отвергнул предложение защитника подать прошение о помиловании.

— Ни за что! Довольно с меня и того, что я на суде унижался, хитря и защищаясь перед этими негодяями, вместо того, чтобы обвинять их. Если хитрость не помогла, то и не нужно. Но на подлость я не пойду.



Б. П. Жадановский после восстания.

Плакала мать, но он оставался спокойным и непоколебимым.

— Мама, твоя любовь ослепляет тебя. Ты советуешь мне сделать то, чего сама на моем месте не сделала бы.

Несчастная Ольга Николаевна, никак не ожидавшая такого приговора, металась из стороны в сторону, пытаясь спасти жизнь сына. В ее бумагах мы нашли черновики прошения, адресованного царице, в котором она умоляет, «о предстательстве перед державным супругом о даровании жизни заблудшему и совершенно больному от полученной раны» «преступнику». Кажется, друзья отговорили ее от совершения этого унизительного не столько для нее самой, сколько для ее сына поступка.

В самом Киеве она стучится в двери всех высокопоставленных лиц. Но командующий войсками киевского военного округа Сухомлинов, на усмотрение которого должен был быть представлен приговор, совершенно отказался принять ее. В связи с ходившими в городе слухами о том, что Сухомлинов заранее предрешил утвердить казнь, отказ принять мать осужденного, казалось, совершенно уничтожал надежду на смягчение приговора. Каждый день она с ужасом ждет, что роковое совершится. Единственной поддержкой в эти дни была для нее сестра Бориса Зина, приехавшая вместе с ней в Киев. Зина, горячо сочувствовавшая брату и разделявшая его взгляды, была глубоко уверена, что он останется жив, и днем и ночью неутомимо пыталась влить в мать эту свою уверенность.

Не добившись личного свидания с командующим войсками, Ольга Николаевна пишет ему письмо, в котором пытается доказать, что сын ее не был виновником восстания и что «назначенное наказание не соразмерно его поступкам». Не получая ответа на письмо, она пишет прошение: «Ваше Высокопревосходительство, пощадите жизнь его в виду его несовершеннолетия и за его страдания, которые он уже перенес в продолжение последних 8 месяцев, когда уже много раз был при смерти после операции. Пожалейте несчастную мать, которой смерть сына тяжелей ее собственной». Несколько тяжелых часов провела мать в приемной, ожидая ответа всесильного сатрапа. Наконец, адъютант вынес ей обратно ее прошение, на котором Сухомлинов положил сухую резолюцию: «дело ко мне еще не поступило и ничего сказать не могу».

И, наконец, 7 сентября к вечеру от председателя военно-окружного суда генерала-майора Руденко она получила визитную карточку, на обороте которой было написано: «Рад сообщить, что смертной казни не будет». И у этих людей пробуждались порой человеческие чувства, и материнский страх мог вызвать под генеральским мундиром желание дать радость измученному сердцу.

Помилование Жадановского явилось радостью не только для матери. В его судьбе глубокое участие принимали в Киеве, можно сказать, все участвовавшие в революционном движении и сочувствующие. Но и в остальной России многие почувствовали облегчение, прочтя телеграмму Петербургского Агентства:

> *Киев.* 8/IX. Смертная казнь подпоручику Жадановскому, за участие в восстании саперов в ноябре 1905 года, заменена бессрочной каторгой. (П. А.).

ЧАСТЬ II

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

I.

В ЛУКЬЯНОВСКОЙ ТЮРЬМЕ.

Бессрочная каторга. — Кандалы. — Первые шаги. — Головоломка. — Письмо домой. — Приметы. — Хлопоты отца. — Мысль о побеге.

Бессрочная каторга! В те дни ни для самих осужденных на «вечную», для «вечников», ни для их родных и близких друзей эти страшные слова не имели такого зловещего смысла, какой они имели как до пятого года, так и потом, когда даже оптимистам из оптимистов стало ясно, что революция бесповоротно разбита и реакция восторжествовала по всей линии. В 1906 году еще верилось, что наступившее затишье — просто отлив революционной волны и что не долго ждать нового прилива, девятого вала революции, который навсегда уже зальет и снесет прогнившее здание царского самодержавия. В это твердо верил Борис, когда в Лукьяновской тюрьме после медицинского освидетельствования, установившего, что приговоренный достаточно здоров, чтобы носить кандалы, он впервые почувствовал прикосновение холодного железа к ноге.

Старший тюремный надзиратель, которого Борис по незнанию тюремной иерархии и по аналогии с иерархией военной называл первое время фельдфебелем, долго возился в цейхгаузе с ржавой кучей железа, выбирая «на глаз» подходящие кандалы для новоиспеченного каторжанина. Наконец он с грохотом вытащил приглянувшуюся ему пару и, потрясая ею в воздухе, сказал:

— Вот эти будут для вас подходящие.

Борис, никогда до сих пор не видавший вблизи этого приспособления, осторожно взял у старшего цепь и стал ее рассматривать. Вот он — этот символ неволи! Неуклюже сработанная цепь весом около пяти фунтов с двумя массивными браслетами на концах и с сердцевидным кольцом посредине. Это кольцо — вершина того треугольника, который будет вписан цепью между его ногами, — пришло на ум геометрическое сравнение. Только основание у этого треугольника воображаемое.

И на том спасибо доктору Гаазу. Хороший он был человек! Только лучше было бы, если бы он совсем не выдумывал этих кандалов, а постарался бы отменить их вовсе.

Старший примерил кольца поверх голенищ сапог и, покачав головой, попросил разуться.

— Зачем разуваться? Они же должны находить на подкандальники. а голенища у меня узкие.

— Я должен примерить, господин Жадановский... Может-быть, они будут сниматься через пятку. У вас очень маленькая нога.

Борис снял сапоги, и старший в позе приказчика из обувного магазина стал примеривать.

— Ну, ладно, — сказал он после некоторого раздумья. — Если меньше дать, так тесны будут. Только конвой может забраковать, когда вас отправлять будут. А, может, ничего, сойдет. Только вы уже, господин Жадановский, не снимайте их.

— Да разве они снимаются?

— А вот смотрите!

Старший стянул с ноги носок, надел кольцо на голую ногу и показал:

— Вот так, вытяните немного... Так. Еще немного.

И стянул через пятку браслет.

— А если намылить немного или поплевать, так совсем легко пойдет.

И словоохотливо продолжал:

— Тут конвойные барышню у нас одну пересыльную принимали, политическую тоже, каторжанку. Так не могли никак кандалов подобрать. Ножка у их маленькая. Как конвойный плюнет на пятку, так и сойдет кольцо. Барышня сердится, кричит: «не смейте плевать на мою ногу!» Да ногой солдата, ногой... Другие политические были тут, зашумели... Ну, так и оставили, пошла в вольных кандалах. Да и чего им, в самом деле? Разве такая убежит? Оно правда, с их спрашивают тоже. В какую тюрьму пригонят. Если сволочь начальство, так сейчас рапорт: конвойные доставили арестованных в широких кандалах. И попадет, конечно,.. за недосмотр. А у нас на этот счет ничего. Ну, заковывай! — приказал он кузнецу.

Кузнец, толстый рябой арестант, достал из кармана фартука заклепки и попросил Бориса сесть на пол, держа ногу совсем рядом с наковальней, чтобы кольцо не касалось ноги. «А то больно будет», пояснил он.

При этих словах Борис вспомнил прочитанное в газетах сообщение о том, что при отправке Гершуни из Шлиссельбургской крепости в Сибирь кузнец, заклепывая ему кандалы, ударил по ноге молотком и причинилъ серьезную рану.

— Только вы, знаете, осторожнее, по ноге не ударьте, — сказал он, опасливо поглядывая на большой молоток в руке кузнеца.

— Не беспокойтесь, не впервой мне.

Раздались гулкие удары железа по железу. Невольно пришла в голову мысль о гвоздях, забиваемых в крышку гроба. И впервые понятие каторги конкретно запечатлелось в уме. Но он усилием воли отогнал поднявшуюся в душе жуть.

Старший достал с полки длинный ремень из сыромятной кожи с медным колечком на конце и показал, как прикрепляются кандалы к поясу, чтобы не волочились и не стесняли особенно движений. Выдал подкандальники и поджильники * и при этом прибавил:

— Подкандальники вам потом кто-нибудь из уголовных пригонит, а пока сапоги будете носить, они вам не нужны.

И даже взял тряпку и обтер ржавчину с цепей.

— Как поносите немножко, так серебром заблестят, отбелятся. А сейчас очень ржавые, измараете брюки себе.

Первые шаги в кандалах! Это не первые шаги ребенка, но это первые шаги в новой жизни: неуверенные, колеблющиеся. Сначала пытаешься сделать обыкновенный широкий шаг, но цепь своим звоном говорит: тпру! не торопись, дружок, поспеешь! — точно возжами тянет назад зарвавшуюся ногу. Натягиваемый обручик причиняет щиколотке боль, а ремень, держащий кандалы на пояснице, приглашает отвесить поклон. Ноги быстро привыкают не делать широких шагов, но много времени проходит, пока они не приучатся не делать слишком мелких шажков. Шаги, походка кандальника отличаются своеобразным рисунком, изломом, и у многих, проносивших кандалы продолжительное время, остаются на всю жизнь.

Когда Борис закованным вернулся в камеру, его встретили веселые восклицания:

— С обновкой, товарищ Жадановский! Со святым крещением! С посвящением в рыцари ордена кандаловъ!

Стесненный в своих движениях цепями, Борис неловко раскланивался во все стороны, издавая громкий, с непривычки режущий ухо звон.

Кандалы в тот же день поставили перед ним головоломный вопрос: как снять с ног брюки и кальсоны, которым цепь, протянутая от одной ноги к другой, мешала спуститься обычным способом. Вопрос, в сущности, был для него чисто теоретическим, так как эти первые его кандалы были достаточно широки, чтобы без труда, без мыла и плевка даже, сняться с ног. В более узкие кандалы его заковали лишь несколько времени спустя, когда стали подготовлять къ отправке из Киева.

На других каторжанах он видел серые арестантские брюки с длинным рядом оловянных пуговиц по наружному шву на каж-

* Подкандальники — кожаные накладки в форме голенища, надеваемые на ногу, чтобы кандалы не натирали ее. Поджильники — ремешки, поддерживающие кандалы в свободном положении на подкандальниках и не позволяющие им спадать.

дой ноге. Это было понятно: расстегнул пуговицы и готово. Но на нем были еще его старые офицерские штаны. И первой мыслью, которая пришла ему на ум, было: надо разрезать. Но товарищи подняли его на смех:

— Разрезать не хитро, а вы вот так снимите. Ведь подштанники у нас не на пуговицах, а мы их меняем же.

Пришлось поломать себе голову, но когда решение задачи было найдено, Борис даже рассердился на себя за то, что сразу не увидел его. Нужно было просто спустить в кольцо одну штанину так, чтобы потом можно было снова протянуть ее наверх между кольцом и ногой. Вторая штанина тогда уже спускалась по ноге прямо, выводя за собою и первую.

На другой день ему выдали казенную одежду и в том числе брюки с пуговицами.

* * *

12 сентября 1906 г.

Милые, дорогие мои!

Еду далеко, быть-может, не придется не только увидеться, но, может быть, и написать без цензуры. Не думайте только, что я ожидаю всю свою жизнь провести на каторге (бессрочной). Бессрочно не будут, конечно, управлять нами те, кто теперь еще имеют силы и приговаривают еще к расстрелам и к бессрочной и другим видам каторги. Я верю безусловно, что скоро мы их будем судить, что доживают они свои последние дни и что военно-полевыми судами и другими подобными учреждениями хотят напоследок наесться до отвала. И правда, много еще успеют они уничтожить хорошего. Да, я знаю, что без срока на каторге сидеть не буду (если только вообще буду на каторге), срок придет очень скоро. Так ли, иначе ли, побегом или амнистией, а я буду на свободе и очень скоро. Тем не менее рассчитывать увидеться когда-нибудь очень трудно. Ведь я, конечно, не оставлю того дела, которому служу и за которое уже был приговорен к смерти. Вы понимаете, что запугать меня смертными приговорами нельзя. Очутюсь на на свободе и опять пойду работать; правда, может-быть, условия изменятся и придется работать не на баррикадах, а в кабинете, но этого ожидать скоро трудно. Да, и так, может, говорим мы свободно в последний раз. Хотелось бы мне сказать вам, как люблю я вас всех. У меня какой-то характер такой глупый, черствый что ли, но не могу я говорить так просто, искренно. Но, господи, ведь вы же должны понимать, как я люблю вас. Ведь вы должны понять, что только благодаря вам, в особенности для папы и мамы, я заставил себя на суде защищаться, когда я должен был обвинять. Я понимаю прекрасно, что я поступил неправильно, я знаю, что это слабость, но этой слабостью я хотел доказать свою любовь ко всем вам. И я не раскаиваюсь в этом. Поверьте мне, что решиться на это мне было во много раз тяжелей, нежели ожидать ту же смертную казнь. Мне страшно было подумать, что могут понять мое

отрицание участия в восстании (или сочувствия ему) как боязнь смертной казни. Не потому, конечно, что я боялся лгать перед «судьями». Нет, именно перед ними я бы и не постеснялся, я презираю их как людей, торгующих чужой жизнью из-за жалованья и чинов. Нет, в интересах все того-же дела своего я был должен, быть-может, не защищать себя, но обвинять их. Много этому способствовало малое количество ярких фактов моей революционной деятельности, отсутствие ораторских способностей, закрытые двери суда и др. Но главным мотивом была все-таки моя любовь к вам. Ну, вы знаете все, конечно, фактические подробности до суда, суда и после суда... Духом я не падал и не паду, конечно. Поверьте, что я им отлично показал бы, как люди отстаивают свои убеждения, не считаясь с денежным и чиновным вопросом. Этого не случилось, и слава богу, конечно, но верьте, что и в последнюю минуту я был бы все так же спокоен, как и в эти 5 дней, когда ожидал казни. И не потому, конечно, что мне жить не хочется. Это смешно. Господи, как еще, как жить хочется! Нет, я просто показал бы им, что из себя представляют их враги. Одним словом, казни не было, а есть бессрочная! Но, конечно, это уже чушь, много шансов за то, что еще удастся поработать.

Я думаю, что вы не станете обвинять меня за мои поступки; быть-может вы все и не разделяете моих взглядов, но вы должны понять, что иначе я действовать не мог. Я не прошу прощения, потому что я ни в чем не провинился, и если кто все-таки считает меня виноватым, значит, к сожалению, тот меня не понимает. Я действовал так, как подсказывали мне мои убеждения, и поступать иначе было бы нечестно. В этом отношении я прав, спокоен и не раскаиваюсь, и если бы пришлось опять попасть в то же положение, я применил бы только некоторые новые приемы, полученные из практики, а в остальном действовал бы так же.

Нет, вранье все! Чего ради я решил, что никогда не встретимся? Конечно, вранье! Ну, прощайте, мои милые, я помню всегда, что вы страдаете, думая обо мне. Но какие бы страдания ни пришлось мне перенести, я перенесу их шутя. Помните же всегда, что мне не так тяжело, право, нет, что весело, а если это не правда, то, во всяком случае, легко. Вы читайте не то, что здесь написано, а как раз то, что не написано. Нет, ей-богу, не могу совсем писать, не знаю, почему. Но я как-нибудь в другой раз напишу, случай выдастся. Ну, а теперь до свиданья, покамест, мои милые папа, мама, Женя, Зина, Аня, Лида, Миша, Алеша, если есть, Наташа — как в детстве перед иконой. Целую вас всех. Мне, право, совестно, что ничего не мог написать.

Ваш Боря.

* * *

Когда Борис писал это письмо, он был уверен, что его не сегодня — завтра отправят. Об этом ходили слухи среди заключенных, и администрация своими ответами на вопрос об отправке поддерживала это предположение. Повидимому, действительно,

отправка каторжан в Сибирь предполагалась в недалеком будущем, и только решение главного тюремного управления организовать, вследствие переполнения сибирских тюрем и небывалого количества осуждений в каторжные работы, временные каторжные тюрьмы в европейской России * задержало Бориса в Киеве.

22 сентября он был сфотографирован, и с него были «сняты приметы». Если карточки — en face и в профиль поразительно похожи, то приметы были описаны смешно и грубо. Вот некоторые образчики их:

Телосложение:		среднее, худой.
Глаза:		продолговатые с опущенными наружными углами, серые.
нос	*размер:*	большой.
	переносье:	среднее.
	спинка:	перегнутая.
	основание:	приподнятое.
	особенности:	нет.
Нос с лица:	*ширина:*	широк.
	спинка:	широкая.
	ноздри:	сплюснутые.
Челюсти:		ровные.
Племя: (тоже примета!):		малоросс.

Здесь же был указан и рост 2 арш. $2^1/_2$ вершка.

Он снимался в своем офицерском пальто, превращенном в гражданский костюм, благодаря тому, что светлые пуговицы были заменены черными. По этому пальто мы видим, насколько исхудал он за 10 месяцев, прошедших со дня ранения. Пальто, плотно облегавшее в офицерские дни его тело, теперь висит на нем широкими складками и кажется снятым с чужого плеча.

Родители Бориса были очень встревожены заковкой его в кандалы. До них, кроме того, дошел слух, что его поместили вместе с уголовными. На последних свиданиях с ним, бывших в начале сентября, они видели, что он еще совершенно не оправился от раны и болезни. Он сильно кашлял, жаловался на постоянные головокружения и боли в груди. Им это казалось ужасным, бесчеловечным. Заковать в железо их маленького Борю, совсем больного! Говорят, что от кандалов даже совершенно здоровые люди заболевают. Ведь есть же закон, по которому

* До октября 1906 г. ссылка в каторжные работы отбывалась исключительно в Сибири. В октябре во Владимирском арест. отделении временно размещены осужденные на каторгу свеаборжцы, так как в Бутырской тюрьме не стало места. С ноября делается первый опыт устройства вр.-каторжной тюрьмы (централа) в Смоленске. Затем такие же централы организуются в Шлиссельбургской крепости, Пскове, Орле, Ярославле, Риге, Николаеве, Херсоне, Харькове и т. д.

больных освобождают от этой пытки. Да неужели же Борю признали здоровым?!

И они снова предпринимают хлопоты. 20 сентября П. А. Жадановский пишет киевскому губернатору о положении здоровья сына и просит его:

> Ваше превосходительство! Я как отец, убитый таким страшным горем, обращаюсь к Вам с просьбою: 1) Не отправляйте сына моего из Киева в каторгу до весны следующего года, так как он по болезненному состоянию своему наверно не выдержит такого продолжительного зимнего пути. 2) Облегчите его положение, разрешите снять кандалы, и 3) Прикажите поместить сына с политическими и считать его как политического преступника. Ведь он не вор, не разбойник, не убийца, а только несчастный юноша, увлеченный событиями и страдающий за свои убеждения.

3 октября получилась следующая официальная бумажка с ответом:

М. Ю.
Киевская
Губернская Тюремная
Инспекция
—
Сентября 30 дня 1906 г.
№ 13029.
—
г. Киев.
Д. № 481
—
1906 г.

Харьковской Инженерной Дистанции Местному Инженер-Капитану Петру Жадановскому.

По поручению г. Киевского Губернатора Тюремная Инспекция уведомляет Вас, Милостивый Государь, на прошение от 20 сего сентября, во-первых, что находящийся под стражей в Киевской Тюрьме сын Ваш — Борис *Жадановский* содержится с интеллигентными заключенными (политическими); во-вторых, что в комиссии по освидетельствованию ссыльно-каторжных он, Борис *Жадановский*, по состоянию здоровья признан могущим носить кандалы, почему к снятию кандалов нет законных оснований, и в-третьих, что вопрос о времени отправки Вашего сына по назначению зависит от Главного Тюремного Управления.

* * *

В одной из газет, вообще много в те дни занимавшихся каторжанами, появилось следующее сообщение из Киева:

> Родители ссылаемого на каторгу офицера Жадановского хлопотали о снятии с Ж. ручных (?) кандалов. Губернатор согласился удовлетворить ходатайство и, посетив тюрьму, предложил Ж. дать честное слово, что на пути следования в ссылку, он не попытается бежать. Жадановский дать слово отказался.

Дело шло не о ручных кандалах, в которые заковывали лишь в дороге, а о ножных. Конечно, Борис не мог дать такого слова. Уж не говоря о том, что он вообще не считал для себя возможным давать честное слово своему врагу, к которому у него уважения не было, он не мог бы ему его дать потому, что именно «на пути следования в ссылку» он собирался бежать. Бежать во что бы то ни стало. Бежать с каким угодно риском для собственной жизни, чтобы работать, бороться, мстить...

Казенные глухие заклепки его кандалов уже давно были перепилены и заменены фальшивыми заклепками на винтах, с боль-



Б. П. Жадановский по осуждении. (Снимок из «статейного списка»),

шим искусством сделанными тюремным слесарем. В подошвах были заделаны так, что ни один конвойный при обыске не нашел бы: острая пила-ножовка и фальшивый паспорт.

— Только бы мало-мальский случай представился, и держи ветра в поле! — говорил он товарищам.

Этого случая—возможности бежать,—он искал и сидя в Лукьяновке. Он переходит в тюремную больницу, надеясь, что там за ним такого надзора не будет. Но это дело тоже не выгорает. Надо надеяться только на дорогу. Скорей бы уж отправляли!

II.

ПОБЕГ.

На этап. — Приемка партии. — Шагом марш! — В вагоне. — Побег. — «Ну, молодец, молодчина!» — Разбился. — В селе Дымнове. — Предательство. — У станового. — Протокол. — В Орловской тюрьме.

28 ноября совершенно неожиданно в больничную камеру вошел помощник начальника тюрьмы и, обращаясь к Борису, объявил:

— Собирайте свои вещи, за вами пришли конвойные.

— Куда? Почему без предупреждения?

— На этап, вас отправляют в Смоленск. Мы сами не знали, что сегодня вас заберут.

Помощник лгал, конечно. Об отправке Жадановского и других каторжан, находившихся в тюрьме, начальству было известно заранее. Но из этой отправки делали тайну, опасаясь, что революционные организации, осведомленные о дне и часе этапа, могут подготовить нападение на конвой и отбить важных преступников. В «статейном списке», составленном в киевской тюремной инспекции, в графе: «Требует ли особо бдительного надзора и по каким основаниям», отмечено было: «*Требует, как склонен к побегу и могут содействовать другие арестанты*». С другой стороны, начальство опасалось, что на воле могут пожелать устроить проводы отсылаемым в каторгу, а такие манифестации, довольно частые, весьма нервировали властей.

В конторе тюрьмы собралось большое общество. Кроме тюремного начальства, там был начальник конвоя — бурбонистый поручик и несколько конвойных солдат, которые должны были принимать арестантов и обыскивать их. Десятка два отправляемых каторжан сбились в кучу в углу возле своих вещей. В большинстве это были одесситы, анархисты и максималисты, осужденные по различным мелким террористическим делам: за экспроприации, покушения на агентов власти и т. п. Некоторые из них уже были знакомы с Борисом, остальные все слышали про него, и присоединение его к их этапу было встречено с большой радостью.

Началась сдача и приемка арестантов. Помощник начальника тюрьмы вызывал сдаваемого, начальник конвоя принимал его со статейным списком вызываемого в руках. Принятый переходил затем в руки конвойных, которые обыскивали его и проверяли кандалы.

Дошла очередь и до Жадановского.

— Имя? Отчество? Сколько лет? Какой губернии? Женат, холост? За что осужден? На сколько лет? — сыпались вопросы,

Глаза офицера перебегают с лица арестанта на приложенные к списку фотографические карточки. Тождество установлено. Следует вторая серия вопросов:

— Какие казенные вещи?

— Шапка, полушубок, армяк, штаны, портянки, коты, рубаха, подштанники, кандалы, подкандальники, мешок. Все в наличности.

— Проверить! — кидает офицер старшему конвойному.

— Деньги при себе имеются?

— Нет, — отвечает не сморгнув Борис, хотя в разных местах одежды у него зашито несколько кредиток.

— Предупреждаю, если конвойные найдут у вас деньги, то они будут отобраны, и впоследствии вы получите из них только половину.

— У меня нет с собой денег. Я знаю правила.

— Какие-нибудь претензии к тюрьме имеются?

— Никаких.

— Распишитесь.

Борис переходит в руки конвойных. Один солдат занимается его вещами, второй — его особой. Обыск производится поверхностно, для вида. Киевские конвоиры, впоследствии получившие такую громкую известность в арестантском мире за свою придирчивость и жестокость, еще не испортились. Это — славные ребята, сочувственно относящиеся к политическим и не разыгрывающие из себя начальства. Тот солдат, который занят мешком Бориса, увидев в нем офицерскую тужурку, спросил:

— Вы из офицеров будете?

— Да, я саперный офицер.

— Значит, за забастовку, что в прошлом годе была?

Получив утвердительный ответ, солдат перестает рыться в мешке, аккуратно укладывает вынутые вещи и говорит извиняющимся тоном:

— Получите.

Борис доволен: его кандалы не возбудили сомнений, а коты, в которых запрятано все необходимое для побега, даже не рассматривались.

* * *

Партия принята.

— Выходи на двор!

На дворе ждет подвода, на которую укладываются вещи.

Арестантов сковывают по рукам попарно: у одного свободна правая рука, у другого — левая. Выстраивают по четыре в ряд лицом к воротам. По команде конвойные заряжают револьверы, вынимают блестящие, острые шашки. Начальник конвоя, выйдя вперед, говорит:

— Партия, слушай! Итти по четыре в ряд. Держать дистанцию. Не разговаривать между собой и с посторонними. Хорошо дойдете, в вагоне наручни сниму.

И, не дождавшись ответа, не обращая внимания на поднявшийся в партии ропот, командует:

— Ша-гом.... марш!

Со скрипом растворяются ворота тюрьмы. Передние конвоиры мерным шагом трогаются, а за ними приходит в движение серая масса закованных людей. Беспорядочный, неровный звон кандалов окружает унылое шествие, вызывая на пути его у встречных страх и сочувствие, приветствия и проклятия.

* * *

Конвойный начальник исполнил свое обещание, и немедленно по посадке в вагон с каторжан были сняты наручники.

Арестантский вагон состоял из двух отделений. Одно из них было предоставлено арестантам, в другом разместился конвой. В обоих концах отделения, защищенные решетками от возможного нападения, стояли часовые. Окна в самом отделении и в уборной были тоже забраны решетками и, кроме того, заделаны по-зимнему. Совершить побег при этих условиях было очень трудно. Однако, выбора не было. Путь до Смоленска не долгий, а из тюрьмы бежать куда труднее, чем с дороги,

Товарищи, которых Борис немедленно посвятил в свой план, с охотой согласились помочь ему. Он устроился у среднего окна, совершенно защищенного от взглядов часовых, и принялся доставать свои сокровища. Предварительные приготовления много времени не заняли, но приступить к делу нельзя было, пока не наступит ночь, и часовые, полагаясь на прочность дверей и решеток, не заснут. Перед самым вечером зашел конвойный начальник посмотреть, все ли в порядке. Жадановский обратился к нему:

— Разрешите нам открыть одно окно. В вагоне очень душно, накурено, а я себя плохо чувствую. Боюсь, что со мной может случиться обморок.

— Окна теперь нельзя открывать, откройте вентиляторы.

— Вентиляторы открыты, не помогают. Мы откроем окно только на несколько минут, не беспокойтесь, поручик, в окне решетка, а мы не бесплотные духи, не пролетим сквозь нее. Да, наконец, поставьте часового на это время.

Офицера обступили, стали просить, высмеивать его страх перед открытым окном.

— Ну, ладно, — сказал он наконец. — На пять минут можете открыть. Только не дольше.

Он распорядился, чтобы на это время часовой из-за двери вошел в арестантскую часть вагона, и, спокойный, что все у него в порядке, пошел в свое купе.

Со старшим конвойным и часовыми поладили очень легко. Окно было открыто на полминуты раз, потом еще на полминуты

второй раз, а затем от времени до времени открывали его, и часовые не обращали уже на это никакого внимания.

Вагон трещал, скрипел и качался. Большинство каторжан спали, остальные мирно беседовали. Один из часовых дремал, а другой, ничего не подозревая, вступил в беседу на политические темы с подошедшим к нему арестантом. Открыли окно в это время и раз и другой, и в эти короткие моменты Борис лихорадочно пилил решетку. Пилка нестерпимо громко визжала. Так, по крайней мере, казалось ему. Он поминутно смазывал ее маслом, но все-таки звук казался резким и пронзительным. Держать ее было неудобно: это была тонкая, в $1/2$ сантиметра шириной и 12 сантиметров длиной стальная полоска, без всякой ручки и гнувшаяся в пальцах. Эти несчастные пальцы! Борис изодрал их в кровь, пока не догадался обернуть концы пожовки тряпочкой. Легче пошло, когда сталь въелась в круглый прут решетки. Но все-таки дело подвигалось вперед невыносимо медленно.

Конвойные, ставшие на вторую ночную смену, обойдя вагон, пересчитав арестантов и убедившись, что все на месте и в большинстве спят, преспокойно заснули в свою очередь. Можно было пилить смелее и не бояться, что частое приподнимание рамы, — а ее приходилось приподнимать ровно настолько, чтобы прошла рука, — обратит на себя чье-либо внимание. Ближайший сосед Бориса по скамейке часто сменял его.

Прошла вторая ночная смена, третья... Два прута были уже перепилены снизу. Оставалось только отогнуть их, и в получившееся отверстие худенькое тело Бориса легко пролезло бы. Он снял кандалы, снял с себя все арестантское «барахло» и переоделся в свою офицерскую тужурку. Полушубка он не надел. Его должны были выбросить в окно вслед за ним.

Стали ждать благоприятного момента. Солдаты, ставшие на пост в 2 часа ночи, долго не засыпали; очевидно, успели выспаться. Борис, лежавший на скамье, стал нервничать.

— Я не буду ждать, пока они уснут, — сказал он помогавшему ему товарищу. — Они не заметят, что я выброшусь, а если заметят, то, пока остановят поезд, пока выбегут, я буду уже далеко.

— Подождите еще полчаса, товарищ Жадановский. А там посмотрим.

Минута за минутой тянулись, похожие на часы. Мелкая дрожь беспокойства, нетерпения волнами пробегала по телу. Мысли беспорядочно толпились в голове, без связи, без цели. И воля не могла с ними справиться.

— Какая ты девчонка, Борис! — призывал он к порядку выходившие из повиновения нервы. — Ну, чего ты волнуешься.... Успокойся, будь мужчиной.

Наконец, один конвойный заснул. Другой клевал носом, зевал, потягивался, курил, борясь с одолевавшим сном, засыпал, снова

просыпался... Минуты тянулись. Вышедший в уборную товарищ вернулся.

— Теперь можно,— сказал он.— Спит, как убитый.

В полутьме вагона глаза Бориса сверкнули радостью. Одним прыжком он был у окна. Громко стукнула поднятая рама, заскрипели отгибаемые прутья.

— Ну, прощайте, товарищ. Спасибо.

Легким гимнастическим движением — пригодилась корпусная гимнастика — он поднялся на руках и вдвинул ноги и туловище в отверстие.

— Выбирайте место,— шепнул с верхней полки лежавший там товарищ.

Борис повернул к нему лицо, улыбнулся и разжал руки.

— Его ударит подножкой,— с ужасом прошептал один из соседей и, высунув голову в окно, устремил взор во мрак, туда, где живым или мертвым, а может-быть искалеченным и нуждавшимся в помощи лежал в этот момент Жадановский.

Но мрак не сказал ничего. Если и был крик, его заглушил грохот быстро идущего поезда. Выбросили полушубок, опустили раму и легли.

Сонные конвойные, вошедшие в вагон на следующей смене, обсчитались и не заметили отсутствия одного арестанта. Только под утро побег был обнаружен.

Конвойный начальник взбесился. Он грозил перестрелять всех оставшихся, грозил солдатам. Хватался за голову при мысли, что он попадет под суд, чуть не плакал. Ругались солдаты: им тоже достанется — суд, перевод в разряд штрафованных, а то и дисциплинарный батальон.

С ближайшей станции были посланы телеграммы о побеге важного политического преступника.

* * *

Семья Жадановских поглощала множество газет. Ведь в каждой газете могло быть что-нибудь новое, такое, что могло изменить печальную участь Бориса. Одни — старики — ждали амнистии сверху. Надеялись на то, что царь пойдет на разумные уступки стране, захочет «с подданным мириться», и первым шагом его на этом пути будет смягчение участи тех, кто выступил против его авторитета. Бессрочная каторга казалась им чем-то ужасным, и у них почти не было надежды, что больной и слабый сын их выдержит все муки этого ужаса. Младшие члены семьи, сочувствовавшие революционным идеям брата, ждали, как и он, революции, нового подъема революционной волны. И каждая новая вспышка питала в них эту веру. Победоносная революция освободит Борю, он в первых рядах будет строить новую жизнь. Он умный и честный, он займет видное место, сыграет большую роль, полу-

чит известность, добьется, быть-может, славы... Юная пылкая фантазия любит хватать высоко. Но и кроме всего этого, в газетах так много пишут о тюрьмах, об арестованных. Кого куда увозят, в каких тюрьмах что делается. Борю каждый день могут взять на этап и увезти из Киева. Об этом, конечно, будет написано в газетах.

30-го ноября Зина первая принялась за газеты. В первую очередь она просмотрела столичные. Нет ничего. Взяла местную — «Южный край». Хотя и скучная по направлению газета, но в ней всегда очень много сведений. Глаза быстро пробегают заголовки, почти не останавливаясь на содержании.

И вдруг... Зина громко закричала. Не то испуганно, не то радостно.

— Смотрите! Смотрите! — показывает она, не будучи в силах прочесть вслух.

В газете напечатано:

> Нам сообщают *из г. Курска*, что 29-го ноября в 4 часа утра из арестантского вагона бежал арестант-каторжник, бывший офицер 7 саперного батальона Борис Петрович Жадановский, 22 лет.
>
> При побеге одет был в арестантское платье. О розыске его сообщено телеграммами по линиям железных дорог.

Счастье, радость восторг...

— Боря писал, что он убежит! Ура, Боря! Браво, Боря! — визжат девочки.

— Ну, молодец, молодчина, — говорит старый инженер-капитан, и на глазах его показываются слезы.

— Только бы не поймали, — выражает опасение мать, и сердце ее сжимается от новой тревоги. — И куда он пойдет в арестантском платье? Бедный мальчик, что переживает он! Сокол мой ясный!

В этот день за чаем едят любимые пирожные Бори — песочные. И говорят о нем радостно и придумывают, чем бы и как бы помочь ему. И все-таки нет полной и чистой радости в жизни. Нет-нет, да и ворвется в этот светлый поток мутная струйка: ох, не поймали бы только его.

А после большой радости так остро и так глубоко впивается горе в сердце, и опостылевшим кажется все, и трудно найти утешение в прежних надеждах.

2-го декабря в вечерних телеграммах прочли две коротких строчки:

> Бежавший политический Жадановский задержан. (Р. А.)

А еще через несколько дней пришлось окончательно поверить.

> Департаменту полиции сообщают из Москвы *о задержании в селе Дымнове,* Курского уезда, *бежавшего с дороги в ссылку* поручика Киевского саперного батальона *Жадановского.* (Соб. Корр.).

* * *

В тот момент, когда Борис в последний раз взглянул, вися на руках, в слабо освещенную внутренность вагона и улыбнулся оставшимся в неволе товарищам, тело его уже уносилось куда-то встречным потоком воздуха.

Он знал, очень хорошо знал, что сейчас этот поток подхватит его и бросит, может-быть, под колеса, чтобы там измять, изломать, искалечить. Но страха он не чувствовал. Наоборот, мелькнула улыбочная мысль, что хорошо бы перекреститься теперь, как крестился в детстве, прыгая во время купанья в Донец вниз головой. Ощущение было совсем то же: надо было нырнуть куда-то в глубину, в неизвестное, и что-то большее, чем собственные силы, должно тут придти на помощь. Он висел на руках лицом вперед, в этот мрак и вихрь. Затем бессознательным сверхчеловеческим напряжением нервов и мышц все тело его свело, как стальную пружину, оттолкнуло руками, ногами и боком... Он полетел, покатился. Полет длился, казалось, целую вечность. Сознание, ставшее огромным и распространившееся по всему телу, беспомощно ждало удара. Поезд грохотал, визжал, свистел. И вдруг — тишина. Только в ушах быстро, быстро звенели гигантские сверчки.

Он лежал в каких-то кустах с неловко подвернутой ногой и раскинутыми руками, лицом вверх. Напряжение рассеивалось, одно за другим проходили ощущения, мысли. С трудом открывшиеся глаза увидели небо, темное, беззвездное. Подвернутая нога запросила движения. Большим усилием он выпрямил ее. Кашлянул и почувствовал боль в груди, в боку. Засаднило лицо. Потрогал рукой, и ощущение липкости сказало: кровь.

— Однако... расшибся, — произнес он вслух, и неловкость в движении губ сообщила сознанию: губы разбиты.

Осторожно, с опаской, стал шевелить руками и ногами, — целы, хотя и побаливают. Ухватился рукой за куст, подтянулся и сел. Стал ощупывать волосы, — голова не разбита. Вскочил на ноги и стал прислушиваться. Тихо кругом, только где-то далеко-далеко гремит поезд да сухие листья на ветках шелестят от ветра. Пронизывающий холодный ветер напомнил о полушубке. Но и шапки тоже нет. Стал искать ее в кустах, шаря руками. Не нашел. Пошел искать полушубок, но скоро увидел полную невозможность найти его ночью. А ждать утра на линии было рискованно.

— А, чорт с ним!

Поднял воротник тужурки и пошел, стараясь быстрою ходьбою согреться. Дорогой нашел в овраге немного снега и стал прикладывать к окровавленному лицу. Но кровь не унималась. Был носовой платок с собой; он тоже скоро весь пропитался кровью. Каждый шаг нестерпимой болью отдавался в голове. Садился, ложился, но холод поднимал и гнал все дальше. Первоначально Борис рассчитывал дойти до какой-нибудь дороги

и взять направление к Курску. В тюрьме товарищи снабдили его адресами людей там, которые сумели бы в случае нужды помочь. Но скоро холод и кровотечение заставили его изменить намерение, и он решил пойти в первую попавшуюся деревню и попытаться найти там приют и помощь.

Он знал, что Курская губерния, а в частности Курский уезд, в котором он находился, была одной из самых революционных губерний России. Аграрные волнения в ней не унимались до самого последнего времени. Он надеялся, что если он обратится к крестьянам за помощью, объяснив им кто он и что, они помогут ему, укроют его.

Итти пришлось долго. Ко всему вдобавок, сильно захотелось есть. Все больше чувствовалась слабость. На крик петухов и лай собак он взял вправо. И еще плелся около часа, пока, выйдя из перелеска, не увидел совсем близко какое-то село. Смело зашел в первую избу.

Было уже утро. В избе топилась печь, и его закоченевшие члены приятно обдало теплом.

— Здравствуйте, — еле вымолвил он и опустился на лавку.

Возившаяся у печи баба шарахнулась в сторону при виде его, крестясь и бормоча что-то.

Хозяин избы, взлохмаченный и бородатый крестьянин, недружелюбно оглядел его и, не отвечая на приветствие, сердито спросил:

— Чего тебе тут надоть?

Борис принялся объяснять, что он политический, скрывается от полиции, что он за народ стоял, за землю и волю, и просил дать ему обогреться и отдохнуть, накормить его, продать ему шапку и полушубок какой-нибудь и отвезти его в Курск. Обещал заплатить за все.

Мужик долго раздумывал, чесал всей пятерней голову, вздыхал, говорил: «так! так!» и, казалось, мало по малу проникался сочувствием. Он предложил беглецу помыться, накормил его, обещал достать ему одежду. Потом повел его в овин, потому-мол, в избу могут люди зайти и увидеть чужого, а народ-мол, у них всякий есть, могут пойти и стражника позвать; там спрятал, укрыл хорошенько соломой.

Борис совершенно успокоился, счел себя в полной безопасности и, полежав немного, мирно заснул.

Разбудил его громкий голос хозяина:

— Эй, парнишка, вылезай! Пришли тут за тобой!

А когда Борис замедлил ответить на это предложение, раздумывая, как быть, уже громко заорал:

— Ну, неча манежиться! Выходи, а то вилами попрошу!

Надо было выходить, делать нечего. Встретили его стражник, староста и еще какой-то народ.

Привели в волость и стали допрашивать:

— Ты кто такой?

— Как кто? Не видишь, что человек прохожий.

— Про-охожий? А пачпорт есть у тебя?

— А что же я, беспаспортный, что-ли? На, смотри, — и Борис вынул свой паспорт из тужурки и протянул его допрашивавшим.

Стражник взял, повертел, протянул старосте:

— На-ка, посмотри.

Староста тоже повертел его недоумевающе.

— Да кто его знает, может и паспорт это.

— Надо в стан вести, — решил стражник. — Чего тут толковать. Там разберутся.

Становой хотел, было, первым делом заехать арестованному в ухо, а потом разобраться, в чем дело, но Борис сразу осадил его:

— Полегче, господин пристав, а то я вам сдачи дам.

Пристав опешил.

— Ты кто такой?

— А может-быть, вы повежливее спросите?

Пришлось поставить вопрос повежливее.

— Ведь у вас же мой паспорт. В нем написано, что я мещанин города Балты Матвей Григорьевич Колесниченко.

— Гм! Колесниченко? А что-же вы в таком виде делали в лесу, молодой человек? Как вы туда попали?

Борис начал плести какую-то небывальщину о том, что он был у знакомого священника в гостях на именинах, там сильно выпил, подрался, в пьяном виде ехал, свалился с телеги, — но пристав его прервал:

— А знаете что, молодой человек? Вы все это расскажете в Курске. Завтра я вас отправлю. А по дороге постарайтесь вспомнить подробности именин у священника. Ха-ха-ха! Да не упадите только еще раз с телеги, когда ехать будете.

Продолжая хохотать, пристав отправил его в каталажку, прислал ему чаю с хлебом и какой-то довольно рваный полушубок.

Ночь пришлось провести в клоповнике, а утром урядник и два стражника доставили его в Курское уездное полицейское управление.

Пребывание его в этом учреждении ознаменовалось следующим перлом полицейской словесности *):

Копия.

1906 года, ноября 30 дня Курское Уездное Полицейское Управление, рассмотрев представленную приставом 2 стана Курского уезда, при рапорте его, от 29 сего ноября за № 2115 переписку о задержанном неизвестном человеке, назвавшимся мещанином

---

*) Из «дела» № 4350 Курской губернской тюрьмы о Матвее Григорьеве Колесниченко, он-же Жадановский Борис Петров.»

гор. Балты Матвеем Григорьевым Колесниченком и, принимая во внимание, что означенный арестант есть вовсе не Колесниченков, а как оказалось, — бежавший из арестантского вагона на ст. Курск каторжный арестант — бывший офицер 7 саперного батальона Борис Петров Жадановский, а потому *постановило:* означенного задержанного каторжного арестанта Жадановского, впредь до распоряжения об отправлении по назначению, теперь-же заключить под стражу, в Курскую тюрьму, при копии сего постановления. Подлинное подписали: Помощник исправника Заседов. и. д. Секретаря Решетинский.

С подлинным верно:

И. д. Секретаря Решетинский.

Сверял Столоначальник Н. Коршун-Осмоловский.

«При копии сего» Борис был доставлен в Курскую тюрьму, где недурно провел несколько дней после этого, как он сам говорит в отправленной домой открытке, «небольшого приключения».

«Конечно, чрезвычайно досадно, но что-же поделаешь!» — примиряется он с неудачей.

Своим внешним видом к 11-му декабря он остается доволен: «Почти все зажило и никаких почти следов не осталось. Губу и бровь мне зашили, а остальное — лоб, нос, щеки и подбородок были в ссадинах, которые теперь уже все сошли».

* * *

13-го декабря Борис был отправлен из Курска в Орел а оттуда большим каторжным этапом прямо в Смоленск. Об этом новом его путешествии семья Жадановских узнала из газеты «Век», в номере которой от 19-го декабря было напечатано следующее сообщение «специального корреспондента»:

Орел. Через Орел проследовало несколько партий осужденных в последних южных процессах каторжан—матросов, саперов и анархистов. В Орле, в губернской тюрьме и в арестантских ротах их продержали около недели, составляя специальный этап на Смоленск. Отбывать наказание они, повидимому, будут в центральной смоленской каторжной тюрьме. Все каторжане идут закованными в ножные кандалы. Этой участи не миновала даже женщина — одесская анархистка Дергач; несмотря на прямое запрещение закона, не допускающего наложения ножных кандалов на женщин (не говоря уже об очевидно излишней жестокости этой меры «пресечения» побега), российское самоуправство, открыто топчущее закон при всяком удобном и неудобном случае, пренебрегло им и в данном факте. Известие о нем, достигнув арестантских рот и состоящей при них «политической» крепости (Дергач, во время пребывания в Орле, находилась в губернской тюрьме), чрезвычайно взволновало политических заключенных: решено было протестовать, но известие,

как оказалось, дошло до протестантов уже поздно: Дергач была несколько дней назад отправлена из Орла дальше. Надо прибавить, что Дергач еще совсем молоденькая девушка, 17-ти лет, сама, видимо, даже не подозревающая, что заковка ее в кандалы составляет акт самого грубого нарушения закона.

В Смоленск же отправлен пробывший в здешних ротах 1 день киевский саперный офицер Жадановский, бежавший было на ходу поезда, при следовании из Киева в Курск; по его словам, выдал его крестьянин, у которого он остановился переночевать. При прыжке из окна вагона он сильно разбил себе лицо, но теперь оправился.

Отправка этапа из здания «одиночек» в ротах была произведена вечером с предосторожностями, во избежание демонстраций со стороны заключенных, но бряцанье кандальных цепей взбудоражило многочисленное население «одиночек». Послышались через «волчки» прощальные возгласы, взаимные пожелания бодрости, встречи, грянула «марсельеза», «ура», аплодисменты... Напрасно метались надзиратели от камеры к камере. Прощание окончилось лишь после того, как замер за дверями звук кандалов севастопольцев.

— Слава богу, что его в Сибирь не пошлют, — сказал старый Жадановский, прочтя это сообщение в газете.—В Смоленск можно създить к нему на свидание, отвезти продуктов или по почте послать.

Увы! Смоленском начинаются для Бориса такие мытарства, которых в Сибири он, пожалуй, не узнал бы.

III.

В СМОЛЕНСКОМ ЦЕНТРАЛЕ.

Смоленск. — Настроение администрации. — Марсельеза. — Приемка. — Обыск. — Белье и одежда. — В общей камере. — Разряды и отряды. — Смоленские дела. — Послание на волю. — Как они проводили время.

Смоленск! Первый каторжный централ в Европейской России! Смоленском начинается злодейская месть и беспощадная расправа с обезоруженными врагами самодержавного строя. Это был еще первый и — надо сознаться — очень робкий шаг расправляющей свои крылья реакции. Смоленск затмил собою впоследствии ужасы Шлиссельбурга, Пскова, Ярославля, Орла и других централов. Но тогда, в конце 1906 и в начале 1907 годов, Смоленск привлек к себе взоры всей русской революционной общественности, потому что там, в стенах этого централа, разыгралась первая крупная тюремная «история» после революции 1905 года.

* * *

Борис прибыл в Смоленский централ уже тогда, когда среди находившихся в нем каторжан назревала небывалая в истории всех тюрем форма протеста — «голый бунт».

Его, еще совершенно почти незнакомого с тюремным миром, сразу поразила, с одной стороны, какая-то особенно повышенная атмосфера, царившая среди заключенных, а, с другой стороны, полная придавленность — среди тюремщиков.

Дежурный помощник, встретивший партию, — черноусый и грубый на вид, говорил деланно слащавым тоном, и сквозь внешнюю любезность его слов недвусмысленно проглядывала ярость загнанной в конуру цепной собаки.

— У нас вам будет хорошо, господа, — выдавливал он из себя. — У нас совершенно гуманный режим. Начальник тюрьмы — образованный юрист, знающий, как обращаться с политическими. Конечно, это—каторжная тюрьма, вы понимаете сами, но всё же... Все, что зависит от нас, что в нашей власти, мы делаем, чтобы облегчить положение арестантов, но мы связаны инструкциями и предписаниями из центра, которые мы обязаны исполнять. Вы как интеллигентные и сознательные люди должны понимать это и не требовать от нас больше возможного. Мы даже просим вас притти нам на помощь и войти в наше положение.

— Бомбочки боится, сукин сын, — охарактеризовал его речь один из одесских анархистов, совсем юный и горящий желанием «показать палачам», с кем они имеют дело.—Я предлагаю ознаменовать наше прибытие марсельезой.

И хотя несколько голосов высказались против, предлагая не начинать «волынки», пока прибывшие не познакомятся с положением дел в тюрьме, неугомонный протестант затянул во все горло «Отречемся от старого мира». Остальные присоединились.

Партия находилась в нижнем этаже тюрьмы, в пустой камере, куда ее загнали до приемки. Повидимому, однако, пение никакого эффекта не произвело. Только коридорный надзиратель, лениво покачиваясь и позвякивая связкой больших ключей, выполз откуда-то и, облокотившись о решетчатую дверь, спокойно слушал.

— А вы бы, ребята, потише, — сказал он, исполняя, очевидно, только надоевшую ему самому обязанность и нисколько не рассчитывая на действие своих слов.

— Почему потише? А если мы еще громче запоем, что тогда?

— Да ничего. Только не полагается петь, — и так же лениво он снова исчез из вида.

Попели все-таки еще, а потом стали ждать, ходя во всех направлениях поодиночке и попарно по камере и звеня кандалами. Пришел старший надзиратель и вызвал двоих на приемку.

— Да кому итти? — раздались голоса.

— А кто хочет, тот и выходи, нам все одинаково.

Приемка производилась в другом конце того же коридора. После опроса по статейному списку принимаемых вели в цейхгауз, где их заставляли раздеться до-гола, осматривали все тело с головы до ног, а затем, отобрав всю одежду и белье, в которых принимаемые прибыли, выдавали другое платье и белье, уже местные. Из собственных вещей оставляли только чайники, кружки, ложки и разную мелочь в роде гребенок, мыла и пр.

Когда очередь дошла до Бориса, надзиратели, производившие обыск, совсем устали и «работали» без всякого рвения.

— А кандалы у вас не снимаются? — спросил старший надзиратель.

— Нет, не снимаются.

— А деньги есть при себе?

— Нет, денег у меня нет.

— Ну, разденьтесь. Сядьте сюда, — показал он на табуретку и начал щупать руками ноги.

Борис недоумевал сначала и посмеивался про себя над этой процедурой. Но когда холодные руки стали щупать между пальцами его ног, он отскочил.

— Чего вы? — спросил старший.

— Я боюсь щекотки. Чего вам там надо?

— А может деньги приклеили?

— Да нет же у меня денег, я вам сказал уже. Оставьте эти глупости.

— Какие глупости! — обозлился тюремщик. — Я обязан вас обыскать. Нагнитесь.

— Зачем?

— Я должен там посмотреть, — и он протянул руку, показывая, где это «там».

Но Борис, и не предполагавший даже, что «там» можно что-нибудь спрятать, возмутился:

— Я вам этого не позволю, так и знайте. Давайте одеваться сейчас же! Где мои вещи?

Но старший не уступал и, видя, что непослушный арестант принимает оборонительную позу, вызвал помощника.

— Ваше благородие! Вот он не дается обыскать. У него там, верно, деньги спрятаны.

— Это что за гнусность! — налетел в свою очередь Борис на помощника, прикрывая рубахой свою наготу.

— Я сказал, что у меня на теле ничего не спрятано, а он хочет лезть чорт знает куда!

Помощник улыбнулся и объяснил, желая показать свое знание арестантских повадок:

— Вы знаете, в этих местах всегда арестанты проносят деньги, паспорта, даже пилки и ножи. Свернут трубочкой и туда. Сколько раз находили. А потом во рту, в ноздрях.

Даже... И «опытный» тюремщик вошел в такие подробности, что Борису краска невольно бросилась в лицо.

— Но я заявляю вам, что у меня ни на теле ни в теле нет ничего... никаких посторонних предметов, и я не дам обыскивать себя так.

— На слово политического можно положиться, — искривив лицо, сказал помощник. — Оставь его.

— Вот, одевайтесь, — показал старший на сверток какого-то тряпья, лежавшего на полу.

Борис подошел и развернул. Это было белье и одежда, какие-то полусапожки из желтой кожи, одеяло, соломенная подушка, похожая на блин и твердая, и еще что-то, назначение чего ему было непонятно. Белье было какого-то коричневого цвета, все покрыто желтыми пятнами и испускало очень неприятный запах. Бушлат и брюки серого арестантского сукна тоже, видно, отслужили все сроки и во многих местах просвечивали откровенными дырами. Крупная вошь сразу бросилась ему в глаза.

— Послушайте, надзиратель, это ведь невозможно надеть на тело. Смотрите, тут вши и грязь какая.

— А я чем виноват вам? — огрызнулся старший. — Другого у нас нет. Одевайте, что вам дают.

Борис отказался. Старший снова позвал помощника.

— Не желает вещи принять!

Помощник, пересиливая закипавшую злобу, начал парламентировать.

— Ничего не поделаете, другого белья у нас нет. Мы вытребовали уже белье и одежду. Пока же вам придется взять что есть. Все такое носят.

— Но ведь грязь же, настоящая зараза и вши. Отдайте мне мои вещи, я их буду носить, вашего мне ненужно.

— Своего ничего нельзя иметь, все должно быть казенное. У нас строжайшие инструкции. С этим все примирились. Мне это белье вот где сидит, — показал отчаянным жестом помощник на свое горло и сделал такую гримасу отчаяния, что Борис внутренне его пожалел.

— Поищите себе сами получше, — предложил старший.

Пришлось согласиться на это предложение, чтобы не канителить дольше, и после долгих поисков удалось найти комплект немножко менее грязный, не такой вонючий, хотя и дырявый. Полусапожки — «коньки», как их назвал старший, — оказались слишком большими, а портянки слишком малыми даже для его маленькой ноги.

* * *

Камера, в которую ввели Бориса после процедуры приемки, обыска и переодевания, была полна табачного дыма, лязга кандалов и ожесточенного спора. Ему показалось, что в ней очень

много народа, и он с неприятным чувством подумал, что тут будет тесно жить.

В первый момент никто не обратил на него внимания, и он остался стоять у двери, с любопытством разглядывая окружающее. У боковых стен на высоте трех четвертей от пола выстроились поднятые к потолку койки — обтянутые парусиной рамы. Посредине стоял длинный, выкрашенный в бурую краску стол, окруженный длинными скамьями. У двух больших окон толпилось население камеры. Кто стоял, кто ходил перед окнами, и все сразу говорили и кричали, разгоряченные и чем-то обозленные.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Борис, напрягая голос, так как в первый раз его приветствие осталось неуслышанным. Несколько человек повернули головы в его сторону.

— Тише! Нового привели!

И вся толпа в одно мгновение со страшным кандальным звоном переместилась от окон к двери и окружила его. С напряженным интересом все глаза были направлены на него. Он даже почувствовал некоторую неловкость от этого молчаливого любопытства со стороны этих больших, широкоплечих и чем-то рассерженных людей.

— Вы политический? — был первый вопрос.

— Да.

Это коротенькое «да» несколько разрядило атмосферу. Посыпались вопросы, уже в дружелюбном тоне: откуда, по какому делу, на сколько и т. д.

И тут же было объяснено Борису, что начальство тюрьмы вздумало сажать к политическим уголовных, преследуя, очевидно, какой-то провокационный план. А когда заключенные потребовали, чтобы уголовных убрали, было заявлено, что это, мол, дело начальства, кого и куда сажать. Кроме того, было объявлено, что завтра всех каторжан пересортируют по разрядам, а матросов и солдат отделят от гражданских лиц. И по мере того, как Жадановскому объясняли и рассказывали обо всем этом и о других конфликтах с тюремщиками, страсти снова начали разгораться. По той залихватской сочной ругани по адресу начальства, бога, царя, всех возможных и невозможных предметов, которой уснащали свою речь рассказывавшие, он понял, что находится среди матросов. В камере, действительно, в большинстве находились севастопольцы и несколько кронштадтцев.

* * *

До сих пор Борис мало обращал внимания на различные деления каторжан по срокам, разрядам и отрядам: как-то не было интереса к этому вопросу. Теперь пришлось познакомиться с этим, так как каждый из окружавших его интересовался, кто и с кем будет сидеть.

Все каторжные делились на три разряда в зависимости от срока, на который они были осуждены. В первый разряд входили осужденные на срок свыше 15-ти лет и бессрочные; во второй— от 8-ми до 15-ти и в третий—осужденные на срок менее восьми лет. Каторжные каждого разряда делились на отряды: испытуемых и исправляющихся. Испытуемость «при одобрительном поведении», как говорилось в законе, продолжалась для бессрочных 8 лет, для 20-ти летних — 4 года; для осужденных на меньшие сроки она пропорционально уменьшалась. Испытуемые должны были носить ножные кандалы, а бессрочные также и ручные, но последние неукоснительно стали вводиться лишь с 1909 года. По окончании испытуемого отряда с каторжного арестанта снимали кандалы, и он перечислялся в отряд исправляющихся. На основании «Устава о ссыльных» срок пребывания в отряде исправляющихся мог при условии одобрительного поведения сокращаться на одну шестую часть, т.-е. десять месяцев засчитывались за год. Кроме того, «при безусловно одобрительном поведении в отряде исправляющихся», говорилось в правилах, каторжные могли «получать дозволение жить вне тюрьмы» — бессрочные через три года, двадцатилетние через два года и т. д. «Получить дозволение жить вне тюрьмы» в просторечии называлось «выйти в вольную команду»: «вольная команда» в Сибири и на о. Сахалине до 1906 года была неотъемлемой частью порядка отбывания каторги. Вольнокомандцы жили либо на вольных квартирах, вблизи тюрьмы, либо в казенных бараках, находившихся за тюремной оградой, и отношение их к тюрьме исчерпывалось обязанностью являться на поверку. Они получали тюремный паек или кормовые деньги, а там, где были обязательные «каторжные работы», исполняли также задаваемый им «урок» на этих работах. Но в последующие за революцией годы выход в вольную команду для политических, а также и для уголовных, отбывавших сроки в централах Европейской России и в Тобольске, становится исключительно редким явлением. «Вольная команда» превращается в фикцию. В Восточной Сибири этот институт сохранялся до революции 1917 года, но выход для политических в вольную команду все более затруднялся и там. Каторжане, окончившие свой срок, и по выходе из тюрьмы не являлись свободными гражданами и не могли жить, где им угодно. Они просто перечислялись в ссыльно-поселенцы, отправлялись в назначенные для поселения места Сибири и должны были приписаться к крестьянскому обществу. Право передвижения для них было ограничено.

Борис, в сущности, очень мало интересовался всеми этими разрядами и отрядами. Когда ему впоследствии, исполняя настойчивые просьбы своих домашних, пришлось написать в очередном письме об этом «расчете срока каторжных работ», он, удовлетворив кратко этот интерес, добавил: «нам редко приходится говорить

между собой о сроках, а если говоришь, так исключительно для смеха.» И только много позже, в 1914 году, этот вопрос неожиданно приобрел для него более серьезное значение.

* * *

На другой день по прибытии Бориса произошла перетасовка заключенных по разрядам с отделением бывших матросов и солдат от бывших вольных. Несмотря на то, что преследуемая начальством цель — выделить будирующий элемент, была совершенно ясна, сопротивления оказано не было. Тюрьма готовилась к борьбе по более серьезным вопросам, и решено было на такую мелочь силы не тратить.

Новая камера, в которую попал Борис, находилась на третьем этаже тюрьмы. В ней помещалось всего 12 человек, хотя рассчитана она была человек на двадцать. Большинство новых сокамерников его составляли севастопольцы — социал-демократы, осужденные за ноябрьское восстание 1905 года. Кроме них, было два анархиста и два поляка пепэсовца. Компания была дружная, и он очень легко слился с нею. Новые интересы захватили и увлекли его, и очень скоро начальство отметило Жадановского как коновода в той непрерывной волынке, которая происходила в тюрьме.

Одним из самых больных для заключенных вопросов было почти полное отсутствие книг. Тюремная библиотека в счет итти совершенно не могла, так как в ней было несколько десятков книжек, разрозненных, старых, с вырванными листами и по содержанию своему совершенно неподходящих для политических. Надо было добывать книги. Так же скверно, как и с духовной пищей, обстояло дело с пищей материальной. Казенный паек был из рук вон плох. Разрешалось, правда, покупать необходимые продукты на собственные деньги. Но этих собственных денег у подавляющего большинства не было. Надо было добывать деньги и продукты. С этой целью по тюрьме был пущен циркуляр, предлагавший всем каторжанам, имевшим какие-нибудь знакомства и связи, немедленно эти связи использовать для организации помощи заключенным.

Борис первым откликнулся на этот призыв, и из под его пера вылилось следующее послание, отправленное им родным и знакомым:

> Господа! Сейчас в смоленской каторжной тюрьме человек 400 политических каторжан. Большинство из них ничего, кроме казенного, не имеют, а питаться одним казенным пайком немыслимо: это признает даже тюремная администрация. Без чаю, без сахару, без табаку (махорки)... Я не говорю уже о том, что хоть изредка хотелось бы и белого хлеба съесть кусок! Ведь тут праздников не бывает. — Без всего этого на казенной пище прожить невозможно. Обыкновенно

политические в большом количестве собираются только в больших городах, где обыкновенно есть революционный «красный крест.» Тут же в Смоленске, на 40 тысяч жителей — 400 политических, число которых все еще увеличивается и дойдет, вероятно, до 600. Смоленские организации, конечно, ничего не могут сделать. Поэтому, я обращаюсь к вам. Вы можете устроить какие нибудь подписки, быть-может, есть знакомые богачи-либералы, которые не откажут хоть немного помочь политическим. Тем более, что тут съехались люди со всей России. Так вот, вы, господа, могли бы помочь в этом деле, походить, пособирать. Затем вот еще что: администрация пропускает почти все книги даже политического, социального, экономического характера. Беллетристику, конечно, без исключения. Для примера, пропущены: «Капитал» Маркса. «История германской социал-демократии» Меринга и т. д. Лишь бы заглавие не было очень уж страшным. Затем не пропускают агитационную литературу. А всевозможные партийные, научные и популярно-научные издания можно посылать. Затем все легальные издания периодические, хотя бы партийные толстые журналы, все периодические издания до июля месяца 1906 года. Нам разрешают получать *все* периодические издания с опозданием не меньше полугода (6-ти месяцев), так что теперь, например, можно не позже июля 1906 года. Так вот, господа, походите по всевозможным книжным магазинам, книгоиздательствам, богачам-либералам, библиотекам и проч. и у всех просите книг и периодических изданий. Конечно, наиболее интересны книги новые по всевозможным социальным, экономическим, политическим вопросам, затем всевозможные научные книги—первоначальные учебники по всем предметам, самоучители иностранных языков, иностранные книги и беллетристика. Все это—пожертвования деньгами и книгами удобнее посылать: Смоленск. Редакция «Смоленского Вестника.» Написать: «*для политических каторжан.*» Еще раз прошу вас, не поленитесь, устройте хоть что-нибудь, а то ужасно тяжело жить, в особенности в таком действительно каторжном режиме.

Затевался рукописный журнал «Смоленский каторжанин», и Борис принимает горячее участие в нем: пишет сам статьи, переписывает своим крупным, четким почерком статьи других авторов и когда наконец, первый довольно толстый номер выходит в свет, наблюдает за продвижением его из камеры в камеру.

По вечерам тюрьма гремит революционными песнями. В то время их пелось очень много, и большую часть из них Борису приходится слышать впервые. Он их записывает, заучивает и поет с редким воодушевлением.

В часы молчания, когда по взаимному соглашению обитателей камеры строжайше запрещено не только вести разговоры, но и ходить по камере, он, лежа на своей койке, читает. Он наверстывает то, что до сих пор было упущено: знакомится с политической экономией, социологией, историей революционного движения, с литературой различных политических партий. В часы, наступающие за молчанием, в камере бедлам. Каторжане бесятся,

разминая члены, бегая, прыгая, борясь друг с другом, благо камеры просторны и есть, где разгуляться. Он не отстает от других, хотя часто ему приходится отходить в сторону, чтобы перевести дух, отдышаться: последствия раны все еще сказываются.

IV.

ГОЛЫЙ БУНТ.

Почему голый бунт лучше голодовки. — Сговорились. — Накануне бунт. — «Ну, и коллекция.» — Утром. — «Вопреки стыдливости.» — Уговоры и угрозы. — Тюремный инспектор. — Матрос Письменчук. — Набедренные изобретения. — Новый год и 9-е января. — За стенами тюрьмы. — Как это переживалось дома. — Неожиданные известия.

— Нет! Это восхитительно! Это прелестно! — прервал Борис речь оратора, бородатого каторжника. — Голая забастовка! Это оригинально! Мы превратимся в папуасов и в костюмах Адама будем выполнять танец дикарей, пока цивилизация не принесет нам мягкого, нежного, чистого белья, собственного белья. Ну, а если не принесет?

— А если не принесет, товарищ Жадановский, то нам никто не помешает применить и голодовку, и активный протест с битьем дверей и окон и неизбежной расправой штыками и прикладами. Товарищи! — обратился говоривший ко всей камере. — Я настаиваю на самом серьезном отношении к моему предложению. Голодовка, которую нам предлагают нижние камеры, избитое, и мало действительное средство. Голодовка хороша, когда ее поддержат с воли, когда вслед за ней идет широкая газетная кампания. Эта кампания обеспечена, говорите вы. Я согласен. Но к голодовкам привыкли. Газеты зашумят только на шестой или на седьмой день. Но к тому моменту выдохнемся мы. Я по опыту говорю, что три четверти каторжан бросят голодать на шестой день, удовлетворившись самыми ничтожными уступками. Мы останемся в ничтожном меньшинстве. Активный протест, предлагаемый анархистами, совсем глупое дело. Только крайнее отчаяние может продиктовать его. А отчаяваться нам еще рано. То, что я предлагаю вам, имеет следующие выгоды. Мы ставим начальство в совершенно невозможное положение. Голых людей можно только одеть, но они всегда сумеют снова раздеться. Их можно заморозить, но на это, будьте уверены, никогда не пойдут. Одетые тюремщики и голые арестанты, положение с точки зрения сохранения тюремного порядка и нормальной жизни тюрьмы совершенно невозможное. Это раз. Это побудит искать выхода в желательном направлении. А во вторых, это — сенсация. Я никогда не слышал о такой форме протеста. Газеты подхватят,

разнесут, расшумят. И если мы, уставши ходить голыми, захотим голодать, то почва уже будет подготовлена, все взгляды будут обращены на нас. И наша голодовка тогда станет не просто обычной, набившей оскомину, тюремной голодовкой, а голой голодовкой. Кроме всего прочего, мы отдохнем от этого белья и одежды. Ну, и повеселимся вдобавок.

Прямых возражений не было ни с чьей стороны. Были, правда, сторонники голодовки, но и они должны были признать, что провести голодовку четырехсот каторжан при их разношерстности и лишь недавней революционности большинства из них очень трудно. Они соглашались попробовать голую забастовку как более легкую форму борьбы, как предварительную меру. Высказывались сомнения и в том, удовлетворит ли голый бунт тех каторжан, которые признают на словах, по крайней мере, только активную борьбу с начальством. А таких было довольно много. Но в конце концов было решено от имени всей камеры предложить на общее обсуждение эту меру.

Сообщение между этажами происходило по вентиляционным трубам и с помощью перестукивания. Камеры, находящиеся на одном и том же этаже, общались между собой непосредственно. Часто удавалось обитателю одной камеры забираться незаметно для надзирателя в другую и так же незаметно возвращаться восвояси. Обычно же выпущенный из камеры в уборную арестант просто подходил к решетчатой двери другой камеры и, не обращая внимания на протесты и крики надзирателя, вел нужные ему разговоры. На прогулку также выпускали по две или три камеры сразу. Встречались еще на приемах в тюремной больнице. Письменные же сообщения передавались с этажа на этаж уголовными ротниками, выполнявшими в тюрьме разные работы.

К вечеру 20-го декабря получилось согласие на голую забастовку от большинства камер. По предложению некоторых камер к основному требованию — предоставление собственного белья и одежды или же выдача вполне приличного, чистого, сшитого на разные росты казенного обмундирования,—было добавлено несколько мелких требований, на которых было решено пока-что особенно не настаивать. Камера, в которой сидел Жадановский, естественно стала центром затевавшейся «волынки», а Борис как проявивший большую энергию был избран камерой в «центральное бюро». Кроме этого центра, общего для всей тюрьмы, были в каждом коридоре намечены коридорные камеры, а в каждой камере, кроме того, имелся каторжанин, заведывающий перепиской и вообще сношениями.

Вечером 20-го ложились спать еще в белье. Настроение было приподнятое, и обычный репертуар революционных песен был пропет с большим воодушевлением. В какой-то камере неподалеку «пустили поезд». В пустой медный бачок отбивали

отходные звонки. Свисток кондуктора и почти настоящий гудок паровоза. И затем сначала медленно, а потом все ускоряя такт, били ногами, скамьями, койками об пол, создавая иллюзию движущегося поезда, с его шумом, лязгом и свистками. Тюрьма дрожала. Снизу, заглушенные потолком, тоже доносились звуки пения.

— Хотелось бы мне послушать тюрьму снаружи, на улице, — сказал Борис, постояв несколько минут у двери. — Она должна внушать представление о каком-то гигантском чудовище, ревущем сотней голосов. Воображаю, как себя чувствует наше начальство, когда вечером оно подходит к тюрьме. Какую злобу они чувствуют против нас!

— А что они запоют завтра?! Воображаю их рожи, когда они начнут обсуждать меры усмирения голого бунта, — отозвался кто-то.

Послышался смех, посыпались остроты.

Потом ловили клопов. В камере их было так много, что, несмотря на усиленное ежевечернее истребление, результатов борьбы с ними не было заметно. Севастопольский матрос Письменчук, признанный по каким-то соображениям «вольным», особенно отличался в этом спорте. Свои трофеи, нанизанные на длинную нитку, вдетую в иголку, он вешал после охоты над своей койкой.

— Сегодня я целый вершок наловил, — сообщил он во всеуслышание.

Улегшись спать поздно и долго еще, лежа на койках, болтали и смеялись, забыв про «конституцию» камеры, гласившую, что после 10-ти часов в камере соблюдается неспящими абсолютная тишина. На спящих действие этого пункта не распространялось.

Когда, наконец, все умолкли, Борис, уже полусонный, вдруг схватился на своей койке и разразился хохотом.

— Чего вы, товарищ? — недовольно спросил разбуженный сосед.

— Ничего, ничего, спите.

И он, продолжая смеяться, засунул голову под одеяло. Ему ясно представилось, какой вид будет иметь завтра камера на поверке. Перед глазами встало мощное растатуированное тело Письменчука, а с ним рядом он, Борис, маленький скелетик; почтенный, лысый и бородатый Канторович, толстый Мазин и кругленький как шар Клименко.

— Ну, и коллекция!

* * *

Утром 21-го все поднялись необычно рано. Не надевая кандалов, которые большинство на ночь снимало, без особых разговоров, каторжные снимали с себя белье и швыряли на пол. Наиболее изорванные и грязные бушлаты и брюки также выбра-

сывались. Одеяла оставлялись, ибо без них ночью было бы очень холодно.

Один из каторжан, пронесший с собой несколько собственных полотенец, уселся на столе и поспешно, на живую нитку, стал импровизировать из них какой-то фантастический костюм.

— Это что будет? Что вы тут изображаете? — заинтересовались остальные.

— А это у меня будет домашний костюм, чтоб не очень совестно было. А на поверку и для других торжественных случаев я буду носить костюм вот этот!

И говоривший откинул прикрывавшее его наготу одеяло.

— Нет, товарищи, это верно, — сказал Борис. — Нам придется что нибудь придумать, набедренники какие-нибудь, что ли. Так очень уж, знаете, того... неловко.

Поднялся галдеж, умолкший, когда раздался сигнал снизу. Нижняя камера вызывала к телефону — отдушине вентилятора. Оказывается, и там возник вопрос о прикрытии.

Собравшееся по этому случаю «бюро» постановило: голый бунт должен быть проводим вопреки стыдливости. Но черезчур стыдливым разрешается по их усмотрению устраивать себе некоторые прикрытия с тем, однако, чтобы нагота их тел бросалась в глаза совершенно недвусмысленно. Это решение удовлетворило большинство, хотя кое-кто все-таки протестовал немного:

— Что же это? Ни голыми, ни одетыми ходить! Этак впечатления не получится.

На поверку выстроились в две шеренги перед собранной посередине камеры кучей белья и одежды.

Помощник, пришедший делать поверку в сопровождении нескольких старших и младших надзирателей, в камеру не вошел. Он считал, что проверить наличность арестантов можно лишь в том случае, если эти арестанты одеты по форме. Вместо него вошел старший и спросил:

— Значит, забастовали?

— Да, забастовали.

— А пищу принимать будете?

— Обязательно будем.

— Заявлений нет?

— Только одно: убрать эту гниль, а нам выдать такое белье и одежду, которые людям можно носить.

В других камерах разговоры не были столь лаконичны. Кто-то в одной камере по-матросски обругал и белье и все начальство с ним вместе; в другой — затюкали помощника, заявившего, что так становиться на поверку неприлично; в третьей—все собранное белье бросили в зловонную парашку и заявили при этом, что теперь уже наверное начальство не рискнет давать его людям. В большинстве же камер голые люди с полной невозмутимостью становились на поверку, а разговоры

и объяснения откладывали до появления настоящего начальства.

Начальник тюрьмы, толстый, упитанный брюнет, с расчесанной на две стороны бородой, чистенький, душившийся опопонаксом, поборов смущение и неловкость, вполне естественные у одетого человека при виде многих голых людей, вошел в камеру без всякой свиты и принялся уговаривать.

— Я понимаю, господа, — говорил он, — что вы не можете быть довольны этим бельем. Но что же мне делать-то? Ведь у меня лучшего нет. Я уже написал в главное тюремное управление, запросил, как мне быть, изложил истинное положение вещей и теперь жду ответа. Подождите и вы немного, оденьтесь снова. Я распоряжусь, чтоб выстирали получше это белье.

— Господин начальник, — отвечали ему, — если это не от вас зависит, то вам нечего и беспокоиться. Мы вот в таком виде будем ждать или разрешения носить собственное белье, или хорошего казенного белья.

— Но я вас прошу одеться. В ваших же интересах, господа... В таком виде вы не можете выходить на прогулку, пользоваться чистым воздухом... Ваши тела загрязнятся, могут появиться накожные болезни.

— Большей опасности заразиться, чем от вашего белья, быть не может.

— И наконец имейте в виду, что к вам могут быть применены репрессивные меры. Не я... Я не сторонник репрессий — поспешил он смягчить угрозу, видя на окружающих лицах вспыхнувшее возмущение, — но мне могут приказать, я человек подчиненный.

— Но какие же репрессии к нам могут применить, господин начальник?

— Я не знаю... Но, представьте себе, могут распорядиться, например, прекратить отопление... или прикажут топить вдвое меньше...

— Ого! А вы не думаете, что в результате этой меры может случиться пожар тюрьмы? — спросил Борис, пристально глядя в глаза начальнику.

— Пожар? Как пожар? Почему пожар?

Лицо начальника побагровело и глаза забегали как мыши.

— Но это понятно. Такая варварская мера заставит и нас выйти из себя. Мы будем отапливаться всем, что окажется в нашем распоряжении.

— Да нет, нет... Что вы? Я только предположил, что мне могут приказать это, но я не допущу... Я вообще против всяких репрессий. Я надеюсь, что все уладится к обоюдному удовольствию. Это мое горячее желание.

— Это и наше желание, господин начальник. А пока что мы будем ходить вот так.

После еще нескольких увещаний начальник ушел, убедившись, что заключенные серьезно решились настоять на своем.

За исключением этого посещения первый день голого бунта прошел спокойно. В течение дня разделись и те камеры, которые не были извещены заранее, и те, которые воздержались в первый момент от присоединения. «Бюро» в своем бюллетене с торжеством сообщало об этом и призывало товарищей к стойкости и выдержке.

* * *

22-го декабря тюрьму посетил тюремный инспектор Краинский, присланный в Смоленск главным тюремным управлением для непосредственного наблюдения за организацией Смоленского каторжного централа. Это был очень молодой человек, недавно кончивший университет, пытающийся приобрести начальственный апломб и плохо выдерживающий строгий и холодный тон. Он именовал себя «командированным для заведывания тюремной частью губернии на правах тюремного инспектора» и как испанский гидальго своей дворянской фамилией гордился этим длинным званием, заменявшим отсутствующий чин.

В камеру, в которой находился Борис, он пришел уже в самом конце своего обхода тюрьмы, был измучен и разозлен всеми колкостями и грубостями, которые пришлось ему выслушать в камерах матросских и солдатских. Даже лоск, казалось, сошел весь с новенького вицмундира, а франтовская чиновничья шашка висела как хвост у прибитой собаки. Он говорил тихим голосом, и в его словах прорывались истерические нотки:

— Главное тюремное управление категорически запретило ношение собственной одежды и белья... Я уже писал об этом. Ваши ссылки на Сибирь и на то, что там разрешается носить собственную одежду и белье, если они сшиты по казенным образцам и из соответствующего материала, неосновательны. Возможно, что прежде это допускалось, теперь этого нет уже. Все, что мы можем сделать, это — улучшить стирку, ускорить шитье новой одежды и белья. Для этого меры приняты. Вы ничего не добьетесь своей голой забастовкой. Перестаньте, господа... Пожалейте себя... Пожалейте наконец своих близких... Вы все заболеете... Я ведь понимаю, что вам тяжело. И я вам обещаю, даю вам свое слово, что постепенно, по мере сил своих, я буду стараться облегчать ваше положение. Например, я уже распорядился, чтобы врач произвел освидетельствование вас. При малейшей возможности к этому со всех больных будут сняты кандалы. Я улучшу казенную пищу. Это возможно... Но насчет белья вы сами должны понять, что сделать ничего нельзя. Я вас серьезно прошу оставить эту свою, простите, детскую затею. Вы ничего не добьетесь.

Ответ со стороны заключенных был тот же:

— Нам вашего грязного белья не надо. Мы не будем его носить. А добьемся мы чего-нибудь или не добьемся, покажет будущее.

Но инспектор не уходил. Покончив с официальной, так сказать, частью беседы, он принялся жаловаться на поведение заключенных, надеясь найти сочувствие в этой камере, которую он считал, очевидно, наиболее влиятельной и солидной.

— Я избегаю всяких конфликтов, — говорил он. — Вы меня уже успели узнать. Но я не могу не реагировать на те выходки, которые были допущены в некоторых камерах. Как мне ни неприятно это, я должен буду использовать свою власть и начать применять наказания.

— А что случилось, господин инспектор?

— Меня прямо оскорбляли... Всякие хулиганские выходки... Я прихожу к вам по обязанности службы, а не шутить или вести политические разговоры. А меня спрашивают: «Скоро ли напьются нашей крови? Не довольно ли издеваться над народом?» Я не пью ничьей крови и ни над кем не издеваюсь. Я исполнитель законов существующей власти. И к власти необходимо относиться с уважением, а не оскорблять ее представителей. Чему вы улыбаетесь? Вы не согласны с этим? — вдруг вспылил он, увидев появившуюся на лице Бориса улыбку.

— Нет, не согласен, господин инспектор. Вы довольны этой властью, и потому, естественно, не понимаете нас, недовольных. Мы за то и на каторгу ведь попали. Как же мы можем мириться со всеми гадостями, которые над нами проделывают? И на дружелюбие с нашей стороны вам рассчитывать не следует. Вы же не с нами, вы не голодаете на тюремной баланде, а каждый день едите бифштексы, у вас хорошее белье, и вы вот угрожаете нам наказаниями. Вы, следовательно, наш враг. Нечего прятать этого факта под лицемерными словами. А наказаний ваших мы не боимся... Попробуйте! Нам нечего терять.

Получив вместо сочувствия, на которое он рассчитывал, этот неожиданный отпор, инспектор сердито повернулся и вышел из камеры.

— Ей-богу,— сказал Борис с некоторым смущением,— ведь этот болван хоть кого выведет из себя. Не понравилась ему, видите, моя улыбка. Осел!

— Да вы же хорошо сказали ему, товарищ Жадановский,— утешающе сказал Письменчук.— Я бы тоже самое сказал, если бы умел разговаривать с начальством. Я бы только еще сказал ему: вы нами теперь гнушаетесь, так припомните это потом, когда мы вас голыми ходить заставим. Не жалуйтесь тогда. Драконы. Мать их... И Письменчук, хищно оскалив острые белые зубы, загнул одним духом такую душистую

матерщину с такими неестественными вывертами, что стоявшие вокруг него замахали руками и поспешно отошли прочь.

— Послушайте, Письменчук,— укоризненно остановил его Борис,— неужели вы не можете без этой гадости?! Я сколько раз говорил вам, что это не хорошо. Ведь вы же политический. Так ругаются только уголовники, да и то не все.

Письменчук закрутил головой, поросшей густой волнистой шевелюрой, отошел к окну и стал смотреть в пространство, тяжело ворочая чем-то в своей голове.

Борис совсем уж забыл о своем разговоре с ним, когда Письменчук подошел к нему и, волнуясь, стал горячо оправдываться.

— Я не могу иначе, товарищ Жадановский! Я отчего ругаюсь? Вы говорите — привычка. Это верно, привычка, ну, и кроме привычки... Я, как себя помню, всегда ругался, и отец ругался, и братья... Мы — рыбаки очаковские. Наше дело трудное, опасное. Спирт как воду пили, а когда спирт внутрь, мать наружу лезет. Других крепких слов нет таких, чтоб все сразу сказать, чего душа просит. А потом, флотская служба... Эх, вы не знаете, что я перенес. Я ведь и на пловучей сидел, в дисциплинарном был. Оттого меня в срок не уволили, а там — война. Таких старых как я во флоте не было уже, кроме шкур продажных, боцманов... Оттого я и злой стал. Ненавижу я их всех, все начальство от самого маленького до самого царя. Если бы я силу взял, я бы всех их своими руками... рвал бы, душил... А силы нет, так хоть словом, матью понесешь, чтоб на сердце не пекло так.

— Я вас понимаю, товарищ, хорошо понимаю, вы не думайте,— ответил Борис.— Я знаю, что вы ругаетсcь, потому что у вас нет таких мыслей и слов, в которых вы сумели бы охватить и выразить все, что у вас на душе. Но это ведь некультурно. Вы — революционер. Вы должны понять, что революционером быть, это не значит только рвать и душить, а если рвать и душить невозможно, то матерщинить. В этом совсем нет революционности. Вы должны стараться понять, отчего вся несправедливость на земле, а для этого учиться, читать, говорить с товарищами обо всем этом. Тогда у вас будут новые слова, которые гораздо лучше будут облегчать вашу душевную боль. У вас тогда будут мысли, а ругаетесь вы, когда у вас нет мыслей, нет ясного понимания. Разве неправда? Попробуйте удерживаться, сколько можете. Если хотите, я вам буду помогать, учить вас. Я это с удовольствием буду делать...

— Спасибо, товарищ,— сказал Письменчук.

Он хотел еще что-то добавить, но не нашел подходящих слов и отошел. Однако, Борис заметил, что после этого разговорн Письменчук стал неловко, но деликатно проявлять такую внимательность к нему, какой в отношении к другим он не про-

являл. Своими золотыми руками старого матроса он сшил ему набедренное прикрытие, починил подкандальники, натиравшие ноги, взял незаметно себе его старое потертое одеяло и заменил его своим, более ворсистым, одним словом начал оказывать ему такие услуги, которые в тюрьме оказываются лишь между наиболее близкими товарищами. Борис протестовал слабо. Он был слишком чуток, чтобы не понять, что в этих услугах крылось бескорыстное, теплое чувство. В свою очередь он принялся руководить чтением Письменчука, объяснять ему непонятное, заниматься с ним грамматикой и арифметикой. Письменчук ухитрился вскоре занять койку смежную с той, на которой спал Борис. Началась тесная дружба, которой суждено было просуществовать до того предела, за которым кончается все,— до смерти... Письменчук умер первым.

* * *

Дальше все вошло в свою колею. Прикрывали почерневшее от пыли тело тряпками не менее грязными, чем сброшенное белье; на подобие мумий забинтовывались в узкие одеяла; надевали прямо на голое тело суконные брюки. Занимались изобретательством. Так в одной из камер за отсутствием фиговых листьев придумали устроить кулисы стыдливости из арестантских блинообразных шапок, подвешивая их на надетых на шею тесьмах. Изобретение оказалось не особенно практичным, и изобретатели, пооригинальничав два или три дня, вернулись к первобытному состоянию.

Заключенные возвратились к обычному препровождению времени. Строго следили за ненарушением часов молчания, бесновались в часы, установленные для разряжения скапливавшейся энергии, пели, спорили, играли в сделанные из хлеба шахматы, в шашки. Несмотря на скудность книг, читали и учились.

Новый год встретили речами, декламацией и сольными вокальными выступлениями. Речи были полны огня и несокрушимой веры в близкое торжество революции. Молодые глаза горели ярким огнем. Закованные, голые, почерневшие и исхудалые, они чувствовали себя на почетном посту.

2-го января, очевидно желая задобрить коноводов и сделать их более склонными к уступкам, начальство распорядилось расковать ряд каторжан, в том числе и Жадановского. И тогда же, вызвав этих предполагаемых вожаков в контору, инспектор и начальник объявили им, что из Петербурга пришло сообщение, что никаких уступок сделано не будет. Вызванные приняли это к сведению и еще раз подтвердили твердое намерение каторжан продолжать голый бунт до удовлетворения требований.

9-го января вспоминали кровавое воскресение. Была объявлена однодневная голодовка. В форточки окон были выставлены

красные и черные флаги. Весь день тюрьма гремела революционными песнями. Выпускали пойманных голубей с привязанными к лапкам красными лентами и записками. А терроризованное начальство должно было, скрывая свою злобу и жажду мести, прятаться по углам.

* * *

Пока за толстыми каменными стенами и крепкими железными решетками централа каторжане стойко вели свою борьбу за элементарно-человеческие условия заключения, на широкой воле вокруг их голого бунта шла иная борьба. С одной стороны, радикальные газеты настойчиво поддерживали заключенных, правдиво изображая причины этой тюремной истории и обстановку, в которой она протекала; с другой стороны, рептилии правительственной власти пытались оправдать своих господ и возложить вину за происходящее на самих заключенных.

Вот как описывалась голая забастовка в одной из самых распространенных радикальных газет того времени («Товарищ» 3/1 — 07):

ГОЛЫЙ БУНТ.

В Смоленской каторжной тюрьме происходят волнения среди заключенных.

Для этой новой каторги приспособлено здание арестантских рот, оно может вместить до 800 каторжан. В настоящее время там находится около 400 политических каторжан, свезенных сюда для отбывания каторги со всех концов России: из Кронштадта, Севастополя, Свеаборга, Киева, Прибалтийского края.

Уже на первых порах своего пребывания там они доведены каторжным режимом до такого возбуждения, что прибегли к неслыханной форме протеста; они сняли с себя все белье и платье, выбросили подушки и одеяла, ходят и спят голыми. По правилам каторжной тюрьмы, каторжане должны носить казенное платье и белье. Это белье в Смоленской каторжной тюрьме сделано из самой грубой парусины и выдается в таком грязном виде, как будто оно и не было в стирке. Зловонное, грязное, сырое белье вызывает раздражение кожи, появляются насекомые. Постельного белья совсем не выдается, подушкой служит грязный грубый мешок, набитый соломой, матрацов не имеется, рама, обтянутая брезентом, служит постелью, одеяло — грязное сукно, побывавшее на многих уголовных арестантах арестантских рот.

Каторжане просили выдать им их собственное белье, указывая, что в правилах прямо не запрещено носить арестантам свое белье и что в сибирских каторжных тюрьмах на этом основании каторжане пользуются своим бельем. Администрация тюрьмы отказала им исполнить их просьбу, обещая улучшить стирку устройством паровой

прачешной и установкой прибора для сушки белья. Каторжане, узнав об отказе, сняли казенное белье и платье и с 21-го декабря ходят и спят голыми, страдая от холода. Неизвестно чем грозит этот конфликт, так как каторжане находятся в условиях, не способствующих успокоению: они помещаются в общих камерах, выходящих в общий корридор и отделенных от него решетчатой дверью. За исключением немногих больных, все закованы в ножные кандалы. Звон цепей, звуки пения и разговоров наполняют камеры невообразимым шумом, не дают возможности ни читать, ни думать, действуют на нервы, и так уже расстроенные долгим пребыванием в подследственной тюрьме. Работ обязательных не существует, полное безделье гнетет. Библиотека скудная. Плохо приготовленная, непитательная казенная пища также возбуждает недовольство. На каждого арестанта отпускается из казны только $8^1/_2$ коп. Все просьбы улучшить пищу из общего котла на средства заключенных отклоняются начальством. Выписывать же продукты на свой счет позволяется лишь через две недели, и поэтому является невозможным пользоваться белым хлебом и молоком. От этого страдают слабые и больные желудком, которые не могут есть грубую казенную пищу. Приносить горячую пищу с воли не дозволяют. Число больных увеличивается, здоровые истощаются. Нервы каторжан напрягаются, и страшно становится при мысли, что еще их ожидает («Век»).

«В «Р. В.» к этому добавляются следующие сведения», — продолжает газета:

Чаша терпения, наконец, переполнилась, и перед самым праздником в Смоленской каторжной тюрьме кровати, и белье, и смрадная арестантская верхняя одежда,— все полетело за двери камер. «Если тюремное начальство не может дать нам незараженного белья, пусть нам позволят носить свое, которое с нас же было снято на пороге тюрьмы. Иначе лучше пропадать от простуды, чем заживо быть съеденными накожными болезнями». Ближайшее тюремное начальство само, повидимому, готово было признать законность такого требования.

Но из Петербурга сказано: «не уступать ни в чем» — и вот Смоленск является свидетелем невиданной доселе даже у нас, где тюремные стены перевидали, казалось, все мыслимые ужасы, голой забастовки.

Власть старалась очернить голый бунт. Смоленский губернатор прислал в главное тюремное управление пространный доклад, в котором сообщает следующее:

Мирное настроение смоленских политических резко нарушилось с прибытием из Севастополя партии анархистов(?). Анархисты забрали все в свои руки. Они сразу стали командовать всей тюрьмой и не признавали ни начальства, ни закона, ни администрации. Вся тюрьма сносилась по вентиляционным трубам и подготовляла массовый бунт. Представители началь-

ства были приговорены к смерти. Политические выставили ряд требований: во-первых, носить собственное платье, во-вторых, иметь камеры в течение целого дня открытыми и в-третьих, иметь свидание не через решетку. До исполнения этих требований тюрьма решила не носить казенного платья, через три дня объявить голодовку, а затем разбить тюрьму. 20-го декабря политические вышли утром все голыми и только меньшинство полуголыми — в одних брюках, а остальные просто в костюме Адама. Вызванный тюремный инспектор Крайницкий ничего не мог поделать.

Губернатор далее констатирует, что тюремная администрация выбилась из сил: надзиратели терроризованы и боятся заговора против своей жизни. Одним словом, настроение в тюрьме невыносимое. Главное управление, в свою очередь, предложило губернатору, по возможности, уладить конфликт и усмирить этот «голый бунт».

Так постарался представить дело смоленский губернатор. Главное тюремное управление в своем сообщении лгало не столь беззастенчиво, но и оно, естественно, не могло обойтись без сгущения красок. Вот какого рода «информацию» разослало оно в газеты:

В виду толков в печати о «голой забастовке» арестантов каторжной тюрьмы в Смоленске, главное тюремное управление сообщает, что с середины декабря в Смоленск была переведена партия каторжан из Севастополя, которая оказала крайне вредное влияние на арестантов, находившихся в тюрьме и за хорошее поведение пользовавшихся разными льготами. Прибывшие бесчинствовали, пели революционные песни, говорили, что не признают ни бога, ни власти, ни законов, и особенно упорствовали, когда от них было потребовано сдать в цейхгауз свое белье и пользоваться казенным. Приобрев влияние на других каторжан, прибывшие выступили с требованиями к тюремной администрации, между прочим, о предоставлении заведывания продовольственной частью выборным от арестантов. Получив отказ, они провели в тюрьме общую «голую» забастовку, т.-е. уговорили всех каторжан не носить казенного белья и одежды, в то же время обращаясь к надзирателям с дерзкими и незаконными требованиями и угрожая им смертными приговорами. Арестанты открыто заявляют об уверенности, что их поддержит печать, и гордятся, что о них пишут в газетах. По распоряжению министра юстиции на место командирован помощник начальника тюремного управления для восстановления порядка.

Но кроме того, надо было и оправдаться еще, надо было сказать, что голые каторжане ходят голыми вовсе не потому, что ужасно белье, а по каким-то другим причинам. И послушная печать излагает:

По сведениям главного тюремного управления, претензии заключенных смоленского исправительного арестантского отделения на неудовлетворительность казенного белья и указания некоторых газет, что бунт в названной тюрьме вызван означенным недостатком, являются не имеющими основания. Образованная под председательством вице-губернатора комиссия с участием директора тюремного попечительства и 4 представителей от городского управления осмотрела белье, не бывшее в употреблении. Белье все признано совершенно пригодным к употреблению. Комиссией выяснено, что белье кипятится в щелочной воде и в санитарном отношении вполне безопасно, а также оказались вполне соответствующими своему назначению тюремная прачешная, сушильня и баня.

* * *

Родные Бориса в волнении читали газетные сообщения о голой истории. Письма от него к ним не доходили, застревая в канцелярии тюрьмы, так как тюремное начальство не пропускало ни одного письма, из которого можно было бы вывести заключение, что в тюрьме не все благополучно.

6-го января, наконец, пришла коротенькая открытка, в которой Борис писал, что здоров, что с него сняты кандалы. «Вероятно, отсюда нас не отправят уже никуда», — успокоительно добавил он в конце.

— Бедный мой мальчик! Когда же он, наконец, отдохнет? — вздыхала Ольга Николаевна, которую молчание письма о голом бунте угнетало особенно сильно. — Зимой они ходят голыми! Какой ужас!

Все молчали, слова успокоения не приходили на ум. Что значило снятие кандалов в сравнении с тем, что Боря вот уже 16 дней ходил без белья и одежды, страдал от холода и питался на $8^1/_2$ копеек в день, как писали газеты. Воображение не могло представить даже всех этих ужасов, и любящее сердце разрывалось от горя.

В тот же день старый капитан пишет письмо начальнику тюрьмы с просьбой сообщить о здоровьи и положении сына, об условиях заключения и т. п. Но еще прежде чем получился от него ответ, пришла 17 января новая открытка от Бориса, вызвавшая новое волнение и беспокойство. Открытка была написана карандашом и сильно измята в кармане какого-то доброжелательного солдата.

Дорогие мои!

Сейчас сижу в вагоне, еду неизвестно куда. Вчера из Смоленска неожиданно взяли нас 6 человек, быстро собрались и уехали, до сих пор нам не сообщили места назначения. Как только узнаю, сейчас же напишу. Здоров. Целую всех. Боря.

12 января 1907 г. (в пути).

Неизвестность и неопределенность в жизни всегда хуже всего. А в те дни, полные ужасов бессудных расстрелов, таинственного исчезновения без вести людей, попавших в когти мстящей и терроризующей власти, неизвестность дальнейшей судьбы дорогого человека, находящегося во власти этих тиранов, непокорного и неспособного склонить голову, невольно навевала мысли о страшном насилии.

И зачем эта неожиданность и таинственность?

На этот вопрос дало ответ отчасти письмо начальника смоленской тюрьмы, полученное через два дня.

«Сын ваш Борис Жадановский, — писал этот любезный господин, — 11 сего января отправлен в Шлиссельбургскую каторжную тюрьму».

Подтверждение принесли газеты:

Поручик Жадановский. «Русск. Сл.» сообщает, что осужденный киевским военно-окружным судом в каторгу за восстание саперов и бежавший с пути поручик 5-го понтонного баталиона Жадановский привезен в Петербург и отсюда препровожден в Шлиссельбург.

V.

ОТ СМОЛЕНСКА ДО ШЛИССЕЛЬБУРГА.

В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. — В «КРЕСТАХ». — ПО ПРИЕМКЕ. — КРЕПОСТЬ. — КАРЬЕРА ЗИМБЕРГА. — ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. — ЖАНДАРМ СИДОРОВ. — ПОВЕЛИ.

Это не был обыкновенный этап. Шестерых вывезли из тюрьмы темным вечером на извозчиках. Долго водили по железнодорожным путям, пока в каком-то тупике не нашли арестантского вагона. Они были закованы в наручни попарно, и начальник конвоя, молчаливый офицер, на все вопросы отвечавший «Не знаю» или «Не имею права сказать», обещал разъединить их и снять наручники, только когда вагон тронется в путь. Конвойные солдаты с пугливым недоумением глядели на этих страшных преступников, препровождаемых таким необычным порядком, и тоже не отвечали ни на какие вопросы. Они, впрочем, и сами не знали, ни куда, ни зачем они везут этих людей.

К вечеру 12-го удалось выяснить направление — на Петербург. Кому-то показалось знакомым замеченное в кусочек оттаявшего оконного стекла название маленькой станции. И спрошенный об этом приручившийся солдатик подтвердил:

— Скоро мы приедем в Петербург.

Он же согласился взять написанные в дороге на всякий случай открытки и опустить их в почтовый вагон.

— А ведь нас везут в Шлиссельбургскую крепость, товарищи, — первый высказал это предположение Канторович. — Другого смысла в нашей поездке нет.

— Я тоже это думаю, — поддержал его кто-то еще.

— Из Петербурга пути на Сибирь нет, этапы всегда идут через Москву. Кроме того, мне ведь писали, что тюремное управление приняло в свое ведение Шлиссельбургскую крепость. Очевидно, нас законопатят туда.

— В Шлиссельбург, так в Шлиссельбург, — согласился Борис. — В некоторых отношениях там должно быть лучше, чем в Смоленске. Там — одиночки, можно будет заниматься, думать. Отдохнем от этого ужасного шума, от общих камер. Режим там, конечно, будет суровый, но мы сумеем добиться его смягчения.

— Не страшно, — согласились и остальные.

Все-таки некоторое сомнение еще оставалось. Неясно также было, почему из Смоленска выхватили их, ибо не все шестеро одинаково выделились в разговорах с администрацией, и в то же время в тюрьме остались такие, которые своим присутствием не менее, чем высылаемые, кололи глаза тюремщикам.

— Скорее всего нас выделили за 9-е января.

Стали вспоминать. Предположение казалось очень вероятным, так как все высылаемые в тот день могли обратить на себя внимание. Но предположение это было ошибочным. Главное тюремное управление распоряжением, помеченным 8-м января, переводило шестерых как зачинщиков голого бунта.

На вокзале уже ждали конные городовые с каретой-автомобилем. Вмиг домчали до С.-Петербургской одиночной тюрьмы или т. н. «Крестов».

В маленьких мрачных одиночках подвального этажа — светлых карцерах — переночевали.

Утром троих раскованных в Смоленске, в том числе и Бориса, заковали в ножные кандалы, и выбирали при этом кандалы потяжелее и потеснее. Заковали, как было отмечено тут же в «статейном списке», «по распоряжению г. начальника главного тюремного управления». Выдали «паек» — кусок вареного мяса и три фунта хлеба на каждого и доставили на станцию Ириновской железной дороги. Опять были попарно скованы по рукам.

Долго ждали поезда, окруженные молчаливым кольцом конвойных, сердито отгонявших всякого, пытавшегося поближе подойти к кандальникам. Нервничал конвойный офицер, нервничал станционный жандарм, видевший явный непорядок и не знавший, как его устранить. Потому что собиравшиеся на платформе пассажиры проявляли явно сочувственное отношение к отправляемым в страшную крепость государственным преступникам.

На узкоколейке не водилось специальных арестантских вагонов. Впервые после 15-летнего существования дороги такой вагон появился лишь месяца через два после отправки в новую каторжную тюрьму первой партии арестантов. Поэтому невольных путешественников посадили в обыкновенный пассажирский вагон 3-го класса. Кроме конвойных и конвоируемых других пассажиров в нем, конечно, не было.

Пронзительно и тонко засвистел паровоз, и последнее путешествие началось.

— Ну, из Шлиссельбурга нас, наверное, никуда дальше не отправят, — сказал Борис. — Оттуда или на кладбище или на волю.

— Пожалуй, и на кладбище далеко путешествовать не придется. До сих пор умиравших там хоронили под крепостной

стеной, — сказал кто-то, поддавшись мрачным мыслям, вызванным воспоминанием о прошлых ужасах Шлиссельбурга.

Дорога проходила местами, хорошо знакомыми Борису. Здесь не раз приходилось ему бывать в дни пребывания его в инженерном училище.

— Сейчас мы подъедем к полигону, где пристреливаются новые орудия, — говорил он своим спутникам. — Мы в Шлиссельбурге будем слышать, наверное, выстрелы тяжелых орудий. А вон туда, дальше направо, Ижора. Туда мы летом выступали в лагерь.

«Так недавно это было, — думал про себя Борис, — и так я изменился. И сколько пережил. Теперь я каторжник, закованный по рукам и ногам, всякая скотина может издеваться надо мной, меня могут как мальчишку посадить в карцер или дать мне 100 ударов розгами, и это все на основании закона. Я лишен прав. И все-таки это лучше, чем жить мирным обывателем или носить погоны и быть послушным орудием в руках правящей сволочи».

Пригорюнился не он один. Все отдались думам о прошлом и о новых, в ближайшие часы предстоящих им, испытаниях.

* * *

За год заключения Борис довольно много читал о Шлиссельбургской крепости и ее узниках. Но сейчас, когда ему самому приходилось стать узником русской Бастилии, он не мог ясно представить себе ее облика. Фантазия почему-то рисовала перед ним готическую громаду Шильонского замка, холодную и гордую... А действительность предстала в виде плоского серого пятна, незаметного даже с первого взгляда среди беспредельной белизны Ладоги.

С невысокого берега спустились на лед озера. Кандалы звенели уныло и приглушенно. Конвойные шли строго и молча. Серое зимнее небо сливалось вдали со снеговой пеленой. Направо видны были церкви и дома городка, а крепость, на которую прямо держал свой путь унылый кортеж, как будто распласталась и притаилась. Борис прищурил свои немного близорукие глаза, чтобы яснее видеть. По мере приближения силуэт крепости вырисовывался яснее и отчетливее, она точно выростала, выпрямлялась...

— Как хорошо, должно быть, здесь летом, — вздохнул кто-то. — Ладога точно море теряется вдали, а здесь на фоне зеленых берегов, крепость должна казаться огромным белым кораблем, вплывающим в тихую гавань.

Крепость, действительно, казалась теперь длинным гигантским броненосцем. Над нею, по самой середине, вычерчивался на небе, точно мачта, силуэт колокольни собора, а спереди и сзади закруглялись массивные невысокие башни.

Несколько фигур чернелись на берегу, очевидно, поджидая их.

Когда подошли к крепости вплотную, она выросла над ними несокрушимой массой, угрюмой в своей каменной старости, зловещей и таинственной.

Поднялись зигзагом наверх к стене и очутились перед массивными воротами, открывающими вход в тяжелую башню. Двуглавый орел над воротами и полустершаяся надпись «*Государева*»,

Заскрипели ворота, открывая темную пасть. Кандалы, встреченные гулкими сводами башни, загремели, зазвенели отчаянно и громко.

* * *

Вильгельм Гансович Зимберг, коллежский секретарь, всего несколько дней назад назначен исполняющим должность начальника Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Он горд и счастлив этим назначением, знаменующим крупный шаг вперед в его карьере тюремщика. 18 лет назад поступил он на службу в тюремное ведомство на должность не имеющего чина писаря Ревельской тюрьмы и все эти 18 лет мечтал что наступит когда-нибудь счастливый день, и он будет самостоятельным администратором, получит чин, орден и личное дворянство, умелым и разумным расходованием казенных сумм скопит себе маленький капиталец, который вместе с пенсией обеспечит ему полный достатка и покоя конец дней. Имея в виду эту блаженную цель, он трудился как негр, лез из кожи вон, чтобы угодить начальству, шел на подлость и унижения, а в часы, свободные от изнуряющей и отупляющей тюремной службы, упорно учился, сначала — чтобы выдержать экзамен на первый классный чин, а потом — чтобы приобрести тот внешне культурный лоск и апломб, без которых, он знал, пробиться в люди невозможно. Сын бедных родителей, эстонец и лютеранин, он встречал особенно большие препятствия на этом пути. Приходилось скрывать свое происхождение, ломать свой неистребимо-«чухонский» акцент и даже выражать готовность перейти в православие. После многих лет неудач и лишений судьба, наконец, улыбнулась. Тюремный инспектор из остзейских немцев — барон Мирбах отметил его усердие, знание немецкого языка и преклонение перед немецкими культуртрегерами Прибалтийского края. В награду за наушничество и доносы он протолкнул его в старшие помощники начальника тюрьмы, устроил ему заведывание хозяйственной частью, а когда сам получил повышение и был назначен инспектором главного тюремного управления, перевел в Петербург и свою креатуру.

В Петербурге Вильгельм Гансович переименовал себя в Василия Ивановича. Он вскоре был назначен старшим помощником начальника дома предварительного заключения («предварилка»)

и мог считать, что Рубикон, отделявший низменное начало его карьеры от предмета его честолюбивых мечтаний, этим самым был перейден. Как и чем отличился он здесь в глазах высшего начальства настолько, что его назначили на такой исключительно ответственный пост, как начальствование Шлиссельбургской каторжной тюрьмой, долженствовавшей стать исключительно образцовой тюрьмой, от нашего взора скрыто. Мы знаем только, что, состоя старшим помощником «Предварилки», он отличался аккуратностью и педантичностью, в многочисленных конфликтах политических заключенных с администрацией проявил не только распорядительность, но и замечательное умение лавировать, либеральничал, когда это соответствовало духу момента, и прижимал, когда «курс» менялся. Он всем внушал, что он — «гуманный и либеральный» человек, стоящий на высоте современных требований, и с этой характеристикой его пришлось познакомиться всем каторжанам, попадавшим в Шлиссельбург в первые месяцы его владычества там.

Проходили месяцы, а потом годы... С 1907 по 1917 год утекло много воды из Ладоги в Неву. Неподвижно и непоколебимо стояли старые стены, но и они выветривались и роняли камни. А из этих стен сначала изредка, а потом все чаще и чаще выносили на кладбище мертвых людей, входивших в них живыми и полными сил. Текла вода, окружавшая проклятый остров, выветривались вековые стены, и умирали люди, но хозяин над островом и стенами, владыка над людьми, начальник Зимберг преуспевал в своих делах, нагуливал чины, ордена, капиталы и жир. Внутри крепости воздвигались новые тюремные здания, и с каждым годом возрастало ее население, а Василий Иванович Зимберг, соперничая с «иродами» минувших десятилетий, угнетал, разлагал и душил отданных в его власть людей. Свистели розги, разрывая тело и убивая душу, сырые стены никогда не пустовавших темных карцеров выкачивали из людей здоровье, энергию и волю, над островом к небу поднималась неумолчная музыка звенящих цепей, а улыбка не сходила с лица Зимберга, самодовольная улыбка преуспевающего человека. Непреклонно и верно шел он к своей цели. Из исполняющего должность начальника он стал начальником. Высшее начальство было им довольно, ставило в пример другим; *его* тюрьма числилась образцовой, ее не стыдно было показать иностранцам, а Василий Иванович умел показывать свой товар лицом. Он, вышедший из жалких низов, женился на дворянке, такой же пышной и румяной, как и сам он, и принесшей в его казенную квартиру выскочившего в люди писарька удобства и навыки жизни высшего круга. Он побывал в заграничной командировке. И в главном тюремном управлении считали его достойным занять более высокий пост, когда свершилось то, чего он боялся и что он ненавидел всю свою жизнь — революция. Десять лет плел он свою

паутину в старых нерушимых стенах и на страданиях и гибели людей строил свое благополучие, но рухнули стены и пришло возмездие.

* * *

Зимберг сам принимал партию, так как помощника у него еще не было и, кроме того, он считал своим долгом лично познакомиться с каждым присылаемым к нему арестантом. А относительно этой маленькой партии из Смоленска он получил особые инструкции от своего начальства.

— Мы будем направлять к вам самых серьезных политических преступников, чтобы изолировать их, — говорили ему.— В первую очередь к вам назначены заправилы смоленских беспорядков. Это — люди с большим влиянием и связями в революционных кругах, не желающие подчиняться режиму и склонные к побегу. Вы должны изолировать их настолько, чтоб никакие сведения о них не проникли в газеты. Но постарайтесь избегать конфликтов, так как желательно избежать всякого шума и разговоров. Однако, дайте им почувствовать, что всякие тюремные вольности и льготы в Шлиссельбурге совершенно невозможны.

Зимберг послушно отвечал «слушаюсь» и все больше и больше проникался сознанием государственной важности и особой ответственности того дела, к которому его приставили. Сознанием этой важности была проникнута вся его фигура, им дышали его слова, когда он, принимая партию, обратился к ней с речью:

— Вы сюда присланы с очень плохими отзывами, — говорил он. — Вас сюда прислали потому, что вы плохо вели себя, нарушали тюремные правила, не подчинялись... Но здесь этого не должно быть, здесь не Смоленск, а Шлиссельбург... Вы должны помнить, что вы лишены всех прав, каторжные арестанты, и этим будет определяться тюремный режим...

В голосе начальника звучали строгость и угроза. Тут же стояла группа надзирателей, часть из которых одета была в тюремные черные шинели, а часть — жандармы, перешедшие после упразднения прежней государственной тюрьмы на службу в тюремное ведомство и не успевшие еще переменить своей прежней формы. На них часто переводил свой взгляд начальник, как бы внушая одновременно и им необходимость соответствующей строгости в отношении этих преступников. На тюремщиков его слова, может-быть, и произвели впечатление, но из маленькой кучки закованных, одетых в арестантские армяки с бубновым тузом на спине людей послышались восклицания недовольства и возмущения.

— Что такое? — прервал свою речь начальник.

— Мы хоть и каторжные арестанты, господин начальник, но политические.

— В каторге нет политических и уголовных. Инструкция одна для всех. И в случае дурного поведения с вашей стороны я, согласно инструкции, обязан применять к вам наказания вплоть до розог...

— Мы не позволим применять к нам розог... Попробуйте! Мы сумеем бороться! Мы будем протестовать! — раздались взволнованные и возмущенные голоса.

— Здесь вам ничто не поможет. Ваши протесты услышат только стены да невские волны. Я тут исполняю только предписания высшего начальства, и все, что от меня требуется законом, я должен исполнить. Но все, что вам полагается по закону, вы будете иметь. Все будет зависеть от вашего поведения. Самое главное, чего я от вас требую, это исполнения правил, послушания вашему ближайшему начальнику — надзирателям, вежливости к ним...

— А они с нами будут вежливы? — спросил Борис.

Начальник окинул его деланно-недоумевающим взглядом и, пожав плечами, ответил:

— Они будут обращаться с вами так, как того требует от них особая инструкция.

— То-есть как? Мы не позволим себя оскорблять.

— Вас никто не будет оскорблять.

— Они должны быть вежливы с нами.

— Они обязаны к вам обращаться на «ты». Я тоже не имею права говорить каторжным арестантам «вы». Но в этом нет ничего оскорбительного... Если надзор не будет исполнять, я их буду наказывать.

— Нас это не касается. Но мы тоже будем говорить «ты» всякому, кто нас будет «тыкать».

Глаза начальника забегали: встреченный отпор и угроза вызвали в нем тревогу. Он боялся с первого же момента вступить с прибывшими в такой конфликт, в исходе которого не был бы уверен, и потому постарался перевести разговор на другие темы.

— Я вам пришлю инструкцию для ознакомления, и вы увидите... Что касается книг, которые вы привезли с собой, то я их посмотрю и, что можно, передам.

— А что можно? «Капитал» Маркса можно?

— О, нет... Вообще ничего, что имело бы какую-нибудь связь с социализмом, с социальными вопросами. Можно только книги строго научного содержания, книги религиозные, духовно-нравственные... Однако, все это вы узнаете из инструкции.

Разговор скоро кончился. У Бориса осталось такое впечатление, что начальник «сдал». Это впечатление усилилось, когда начальник вызвал его к себе и стал задавать вопросы по статейному списку; он ни разу не сказал «ты». Правда, он избегал и употребления местоимения «вы», говоря все время в третьем

лице, но уже одно то, что он видел себя вынужденным так неестественно ломать язык, означало несомненную уступку с его стороны.

* * *

В цейхгаузе хозяйничает старый жандарм Сидоров, румяный и крепкий мужик с ярко рыжей окладистой бородой, лишь слегка подернутой сединой. Рядом с его огромной фигурой Борис кажется совсем маленьким мальчиком. Сидоров вежлив и разговорчив. Он расспрашивает Бориса, кто он, за что и откуда. И отвечает на его вопросы в свою очередь.

— Сколько лет вы служили в крепости?

— Двадцать лет слишком. Но я при заключенных мало состоял. Я был старшим писарем и церковником.

— А при казнях присутствовали?

Сидоров замялся было, но потом ответил с решительностью очевидную неправду:

— Нет, не приходилось. На это назначались из Петербурга.

— А чем же вас наградили за верную службу?

— Да кого как... Кому пенсию дали, а кому единовременное пособие.

— А вас лично наградили как-нибудь?

— Я получил денежную награду.

— И только?

— Еще за особые труды и заслуги получил звание почетного гражданина. Вот, получите бушлат, он как раз по вашему росту будет. Вот белье новенькое. Как в стирку будете отдавать, сделайте метку свою, чтоб не смешали.

Белье действительно было новенькое. Но когда Борис встряхнул его, из него поднялось облако едкой пыли.

— А вы его поколотите, оно не стиралось еще,— посоветовал жандарм.

Пришлось основательно «поколотить», прежде чем можно было его надеть. Это было белье из того грубого холста, который ткется в тюрьмах. Только после многих стирок этот холст приобретает некоторую относительную мягкость. Белье топорщилось, будучи надетым, а в тех местах, где оно прилегало к телу, Борис почувствовал острые уколы и зуд. Внимательнее приглядевшись к нему, он увидел, что оно было полно кострики. В этом белье тело чувствовало себя несчастным.

Из цейхгауза Борис вышел одетым с головы до ног во все новенькое. Он получил даже галстух из серого арестантского сукна, слишком широкий на его худую и тонкую шею.

Надзиратель Смирнов, которому сдал его Сидоров, тоже был из жандармов. Это был грубый человек средних лет, неуклюжий, с бегающими глазами и тупым выражением лица. «Настоящий палач», подумал Борис, увидя его. И он действительно ока-

зался палачом. Принимал ли он участие в казнях, неизвестно. Но когда Зимберг начал применять к заключенным розги, Смирнов стал исполнителем — жестоким и беспощадным.

Борис думал, что после переодевания его соединят с товарищами. Но Смирнов повел его дальше вглубь крепости мимо собора, мимо братской могилы солдат, погибших при взятии крепости у шведов, прямо в «новую» тюрьму, которую Борис сразу узнал, так как видел ее на каком-то рисунке.

ЧАСТЬ III

В ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ

I.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

В одиночке.— Безмолвие.— Обстановка камеры.— Тоска.— Поверка.— «Надо встать».—На прогулке.—Тюремные будни.—Первое свидание.— Интерес к Думе.—Ухищрения.—Нелегальная почта.

В душу закрадывалась жуть... Мысли невольно неслись в прошлое, когда в этих стенах одиноко гибли побежденные герои. Кто знает, может-быть, вот здесь за этой только что глухо захлопнувшейся дверью одиночной камеры, вот на этой самой койке, умирал один из них... И свидетелями его агонии были эти молчаливые стены и это стеклышко в двери, сквозь которое наблюдал бесстрастный глаз тюремщика...

Борис напряженно вслушивался в тишину, звенящую и пустую... Неужели он один здесь. В крепости наверное есть много мест, куда можно было распихать его товарищей по одному. А начальник производит впечатление человека, твердо решившего сломить сразу же всякое сопротивление. Один! Никто не услышит тебя, если свора этих зверей ворвется и начнет убивать... Один, в полной их власти! Неужели одиночное заключение, об ужасах которого ему приходилось читать и слышать? Он подошел к стене и постучал в нее, косточкой среднего пальца раз, другой, третий... Долго ждал ответного стука, со скачущим сердцем, приложив ухо к стене. Ни звука в ответ. То же у другой стены: безмолвие. И тогда он начал ходить взад и вперед по камере, наполнив всю ее диким отчаянным звоном цепей. Шесть шагов к двери, шесть к окну. Вперед, назад, вперед, назад. Не было связных мыслей, одни обрывки. Не столько мысли, сколько образы, не отражавшиеся в сознании. Он чувствовал себя диким лесным зверем, попавшим в западню. До сих пор тюрьма была знакома ему своей общественной стороной, он воспринимал неволю на людях, среди товарищей, как временный отход от жизни. Как-то не ощущалась пропасть между волей и неволей. Воля с ее шумом, движением, борьбой поминутно врывалась и приковывала к себе все внимание, все

мысли. Тонкая перегородка отделяла его от нее. А тут — полный отрыв. Нет воли. Неволя.

Этому состоянию его способствовало все. Мрачная слава Шлиссельбурга, черное прошлое его. Внешний вид крепости. Прием начальника, его угрозы, зловещие лица стражи... Тишина — могильная, немая, заставившая его поспешно сделать заключение, что его отделили от товарищей, чтобы легче сломить, уничтожить.

Звон кандалов раздражал. Борис останавливался, садился на приделанную к стене табуретку, чувствуя дрожь в ногах, в руках и где-то внутри головы. Но воцарявшаяся сразу же тишина снова срывала его с сидения, побуждала к движению. Постепенно, однако, нервное возбуждение стало проходить, сменяясь усталостью. Мысли стали связываться, тяжело и неохотно. Он более внимательно стал относиться к непосредственно окружавшим его вещам, в первые моменты, как-то не вступившим в его сознание.

Квадратное маленькое окно, забранное решеткой, было высоко от пола; нижний край рамы был много выше его головы. Круто срезанный подоконник не позволял ухватиться, чтобы подтянуться на руках. Сквозь запыленные стекла видно было только неопределенное серое небо. Но когда Борис, отойдя от окна, стал на сиденье у стены, он увидел кроме неба верхнюю часть крепостной стены. Между бруствером и внутренним краем ее была вытоптана в снегу дорожка, по которой ходил часовой. В эту минуту он стоял лицом к Борису, опершись на невысокие перила и смотря на тюрьму. Винтовка с примкнутым штыком стояла возле него. Оттуда сверху ему видна была вся тюрьма. Невольно подумалось: «Крепкая клетка, до часового не добраться». Между окном и стеной на высоком столбе качался керосино-калильный фонарь.

Борис спрыгнул с табурета. Окованные большими гвоздями коты громко стукнули по асфальтовому полу. В эту же минуту у двери послышался шорох. Борис подошел к ней, и взгляд его прямо уперся в человеческий глаз, упорно смотревший на него в стеклышко. Глаз этот был тусклый, с большим зрачком на красноватом фоне радужки, не мигал, не шевелился и казался нарисованным на стекле. Но вот снова послышался шорох от трения железа о железо, и вместо глаза за стеклом оказалась выкрашенная в черное поверхность наружного щитка. Борис постоял несколько минут неподвижно, прислушиваясь, чтобы услышать шаги отходящего от двери надзирателя, но он или тоже стоял не двигаясь, или по-кошачьи неслышно отошел. И пока Борис так стоял, он вдруг явственно услышал откуда-то издалека мягкий серебристый звук кандалов. Кто-то закованный, очевидно, спокойный человек, медленно прохаживался взад и вперед, делая остановки при поворотах, на протяжении шести шагов одиночки. Определить направление звука и его расстояние

было невозможно. Проникая сквозь массивную окованную железом дверь, этот звук был бесплодным, как бы вне измерений. Но это был звук, кандальный звон! И мучительное чувство одиночества сразу слетело с Бориса, точно мокрой губкой слизнуло написанные мелом на черной доске слова.

«Кто бы это мог быть? — подумал он. — Из наших ли, или может-быть, до нас кого нибудь привезли сюда? Если из наших, то это только Канторович может так спокойно и важно ходить.» И перед ним как живая встала невысокая, плотная фигура Канторовича с густой бородой. и блестящей лысиной. Он даже засмеялся, вспомнив, как во время приема партии, Канторович убеждал начальника, что для него как старого марксиста «Капитал» Маркса не должен быть запретной книгой. потому что больше «испортить» его, чем он уже испорчен, не смогут и в десять раз более страшные книги, чем «Капитал». «Надо еще раз постучать», — решил он, и так как первый опыт стука мог не удасться от того, что он стучал рукой и слишком тихо, он достал из мешка свою мельхиоровую ложку и принялся отстукивать по тюремной азбуке слова: «Кто вы?» Но у двери опять послышался шорох отодвигаемого щитка, а вслед затем бесшумно откинулась форточка в двери, и в ней появилась физиономия надзирателя.

— Стучать не полагается, — громким шопотом сказал он.

Борис с недоумением посмотрел на него.

— Как так не полагается? — задорно спросил он. — А если я все-таки буду?

— Доложу начальнику, переведут в другое место похуже.

— А я все-таки буду стучать. Закройте форточку!

Надзиратель с изумлением и возмущением поглядел на него, но форточку все же закрыл.

Борис стука не продолжал, решив подождать, чтобы не давать сразу же повода для перевода его в более изолированное место. Вместо этого он приступил к дальнейшему изучению своей камеры.

Камера была чистенькая и веселая. Мало потертый крашеный асфальтовый пол был недавно вымыт и блестел. Стены снизу были покрашены светло-серой масляной краской. Той же краской была выкрашена дверь и ватерклозетный стульчак налево от двери, заменявший обычную зловонную парашу. Возле этой усовершенствованной параши находился водопроводный кран с раковиной под ним, а с другой стороны двери стоячая батарея парового отопления. Железная, крашеная в черное, кровать была прибита к стене; две ножки ее были сложены внутрь, когда она была поднята, и спускались на пол, когда она опускалась. Передвижное изголовье откидывалось наружу. На кровати был мочальный тюфяк и такая же подушка. Суконное одеяло, простыню и пододеяльник Борису выдали в цейхгаузе. В правом углу висела

дощечка с грубо намалеванным каким-то угодником, молитвенно сложенные руки которого казались Борису в темноте угла мордой борзой собаки, лижущей седую бороду апостола. «Эту дрянь надо будет выкинуть»,—решил он про себя. С середины потолка на длинном шнурке спускалась электрическая лампа с простым жестяным колпаком, но выключателя в камере не было. Не было у двери и обычного в одиночных камерах такого типа звонка. Над столиком, прибитым к стене напротив кровати, из стены высовывалась подставка для керосиновой лампы, сохранившаяся с тех пор, когда электричества в крепости еще не было. В углу стояла мочальная швабра. Такова была обстановка. Еще одно усовершенствование бросилось в глаза Борису: это необычное устройство углов у двери. Эти углы были заделаны так, чтобы узник не мог укрыться в них от наблюдения из коридора через глазок. В камере оставалось лишь одно место, где можно было спрятаться от всевидящего ока,— под дверью, но когда откидывалась форточка, надзиратель мог заглянуть и сюда.

— Ловко устроено! — воскликнул Борис, и собственный голос показался ему чужим и незнакомым.

Он почувствовал голод. Полученное утром в Петербурге мясо давно было съедено, и от хлеба оставалось уже очень немного.

«Надо узнать, дадут ли мне хоть кипяток сегодня»,—подумал он и сильно постучал кулаком в дверь.

Форточка почти в тот же момент откинулась.

— Стучать надо тише, услышу,—сердито сказал надзиратель. — Что нужно?

— Скоро дадут ужин, потом кипяток,— коротко ответил он на вопрос и хлопнул форточкой.

Стемнело. Слабо зажглась пятисвечевая угольная лампочка.

Делать было нечего. Утомленный мозг не мог сосредоточиться на развлекающих мыслях, и Борис впервые в жизни испытал щемящую тоску, спутницу одиночного заключения без книг, без занятия. Впоследствии она, тоска эта, часто приходила к нему в бесконечные дни и ночи темного карцера, в одиночках Орловского и Херсонского централов. Она стала ненавидимой, но привычной гостьей, и он научился бороться с ней. Здесь же, теперь, он с недоумением, тревогой и в то же время с любопытством стал прислушиваться к этому новому чувству. Физически оно выражалось в ощущении сжимания сердца, в подкатывании к горлу истерического комка, в ослаблении и вялости двигательных мышц, в пересыхании рта и в каком-то особенном неприятно-щекотном чувстве расслабленности внизу живота. Отсутствие мыслей, неспособность сосредоточиться на чем-либо лежащем вне его тела, полная поглощенность сознания этим физическим ощущением, отличали эту тоску как явление духовного

порядка. Это чувство выливалось из рамок тела, заполняло собою весь мир, вне его ничего не существовало.

Усилием воли Борис разорвал охватившую его угнетенность и стал ходить опять по камере, не торопясь уже, а стараясь ходить так, как ходил неизвестный товарищ, чьи кандалы он слышал. Засвистел, было, довольно громко какой-то мотив, но перестал, когда надзиратель в форточку прошипел ему, что и этого делать тоже не полагается.

Часы где-то в корридоре пробили шесть. В форточку подали ярко вычищенный снаружи и нововылуженный внутри медный судок с тарелкой, медную солонку с солью и такой же кувшинчик. Затем, когда он помыл судок, ему налили в него довольно густой пшенной кашицы с плавающими в ней кусками говяжьего жира. Это и был ужин. Он понравился Борису, неприхотливому вообще в пище, особенно после смоленской баланды — мутной водицы с ничтожным содержанием крупы, которую там давали на ужин. Потом надзиратель притащил к двери огромный медный чайник с кипятком и, так как собственный чайник Бориса не пролез в форточку, открыл дверь. При вечернем освещении коридор производил неприятное впечатление. Черные двери камер, перила балкончиков, а между ними пустота пролета, решетчатая дверь на выходную площадку — все это терялось в полумраке, казалось значительным.

* * *

Борис сидел еще за чаем, когда в коридоре раздался свисток, и вслед затем в камеру вошел старший надзиратель. Он не встал, а, держа кружку у рта, вопросительно посмотрел на вошедшего.

— Я делаю поверку, — заявил старший, невысокого роста человек с жиденькими туго закрученными белесыми усиками

— Ну так что же? Делайте.

— Когда делается поверка, арестант должен стоять.

Борис поставил кружку на стол, откинулся назад и, подняв глаза на вплотную подошедшего к нему старшего, громко фыркнул. Тот несколько опешил, но повторил, однако, свою фразу, добавив только:

— Для этого дается свисток, чтоб приготовиться, значит, к поверке.

— А для чего приготовляться?

— Как для чего? Чтобы приготовиться, застегнуть бушлат, встать, вообще приготовиться. Надо встать! — повелительно добавил он.

И видя, что арестант продолжает сидеть и с тем же широким недоумением глядеть на него, повторил трогая его за плечо:

— Надо встать! Надо встать!

— Руку прочь! — крикнул Борис, не вставая. — Я слышу и, если не встаю, значит, не желаю.

— Я доложу господину начальнику.

— Кому угодно. Еще что вы мне скажете?

— Да вот начальник велел инструкцию прочитать...

И старший, путаясь и запинаясь, начал читать инструкцию, в которой говорилось о порядке подачи заявлений, писания писем, поведении заключенного и т. д.

— Все? — спросил Борис, когда это чтение кончилось.

— Да, все... Эту инструкцию арестант должен исполнять. Если он не будет исполнять, он будет наказан.

— То, что я найду возможным, я, конечно, буду исполнять.

Старший повернулся и ушел. Надзиратель, стоявший на пороге и слушавший весь разговор, злобно посмотрел на непокорного и гулко захлопнул дверь.

Борис походил еще немного по камере, а потом открыл койку, разделся и лег. От нового белья тело зудело, холодная цепь вызывала неприятное ощущение, а охватывавшие щиколотки браслеты не давали устроиться ногам ко сну поудобнее.

Тем не менее, он не чувствовал себя несчастным от этих неудобств.

* * *

Пронзительные свистки в коридоре разбудили его.

«Это значит — вставай. Совсем как в корпусе», — подумал он и одним прыжком был на ногах, гремя неподтянутыми кандалами по асфальту. С наслаждением умылся под краном и обтер холодной водой все тело. Когда старший открыл форточку и спросил, нет ли заявлений, заявил, что желает получить собственные книги, отобранные накануне для просмотра. Потом получил хлеб и пил чай. До прогулки время прошло незаметно. А когда по приглашению надзирателя: «на прогулку» — вышел в коридор, то увидел, что открыта дверь не у него одного. И из этих открытых камер, звеня кандалами, выходили товарищи, прибывшие с ним вместе из Смоленска. Все с радостью трясли друг другу руки. Значит, не изолировали, как боялся Борис и как казалось каждому из остальных. Из шестерых исчез куда-то лишь один. Пришлось предположить, что его посадили в «старую» тюрьму, и впоследствии это предположение оправдалось.

На прогулочном дворике обменивались первыми впечатлениями. Камерами своими все были довольны. Надзиратели грубости до сих пор особой не проявили. Видно было, что начальник, наткнувшись на отпор с первой же встречи, решил не нажимать. В частности, надзиратели, хотя и избегали произносить слово «вы», но и на «ты» не обращались; они пытались говорить в третьем лице. Самое неприятное, с чем при-

шлось до сих пор познакомиться, состояло в том пункте инструкции, согласно которому разрешалось писать всего два письма в месяц, при чем первое письмо можно было написать лишь через две недели по поступлении в тюрьму.

В тюрьме, повидимому, кроме пятерых никого не было. Канторович, не раз сидевший уже в одиночном заключении и умевший хорошо расшифровывать все тюремные звуки и шумы, успел уже «выслушать» тюрьму.

— На поверке, во время раздачи ужина и кипятка открывались форточки только в пяти дверях. В нижнем коридоре надзирателя нет, значит, там никто не сидит. На прогулке сегодня мы ходим первые, нет ничьих следов.

После прогулки выдали книги. Обед оказался приличным. День прошел незаметно. Борис был доволен своей новой тюрьмой.

— Ничего, славно сидеть тут,—резюмировал он свои первые впечатления, ложась спать.

* * *

Потянулись тюремные будни. Радостью бывали редкие письма из дому и от друзей. Событием был приезд из Смоленска второй партии непокорных «голых бунтовщиков», а затем и третьей. Голый бунт, как рассказывали они, сходил на-нет: увезли коноводов, получилось новое белье, прибыло много уголовных, более покорных и запуганных...

Разрешили делать «выписку» — покупать на собственные деньги продукты для усиления питания — на сумму не свыше 4 руб. 20 коп. в месяц. Разрешили выписывать через контору тюрьмы книги из магазинов. А из Петербурга тюремная инспекция прислала библиотеку сотни в две томов, среди которых полезные книги терялись в груде «религиозно-нравственного» хлама.

Борис с обычным увлечением взялся за книги и учебники. В этот период он читает по естествознанию и истории без всякой системы, просто стремясь расширить свой кругозор. Стенографию, занятиям которой он посвятил уже много часов тюремного досуга, пришлось бросить: в Шлиссельбурге, заключенным позволялось иметь в камере только карандаши, а чернила и перья выдавались лишь для писания писем в положенные для этого дни.

* * *

В воскресенье 11-го февраля неожиданно позвали на свидание: приехала сестра Зина, поступившая в Петербурге на курсы.

К этому времени начальник успел уже устроить в здании бывшей кордегарди настоящую комнату для свиданий с проволочными сетками, с окошечками, захлопывающимися в тот момент, когда разговор принимал нежелательный оборот, и со всем прочим, что требовалось правилами тюремщицкого искусства.

На юную девушку эта первая поездка в страшную крепость, где томился любимый герой-брат, произвела потрясающее впечатление. Этим своим впечатлением она делилась в письме к родителям, которое не дошло по назначению, потому что, как предполагает она в своем следующем письме, «не хотят, чтобы о Шлиссельбурге получали более подробные сведения, чем надо». В этом следующем письме она коротко повторяет свой рассказ о поездке к брату:

«Меня привели в комнатку с таким устройством: стена деревянная, потом пространство и опять стена. В стенах окошечки друг против друга. Около одного я стояла, около другого Боря. Мы были на таком расстоянии, что я как очень близорукая плохо его рассмотрела. Он был в халате и в шапке меховой в роде боярской.[1] Мы, конечно, расспрашивали друг друга—он о вас, я о нем. Свидание длилось ровно 15 минут, на полуслове (не дали договорить) захлопнули окошечко, так что попрощались мы, уже не видя друг друга. При свидании присутствовало 4 человека: надзиратель — в пространстве между стенами и около меня два надзирателя и помощник начальника тюрьмы. Политические темы воспрещены. Когда Боря начал спрашивать о Думе, то все начали просить чтоб он замолчал. Но мне кое-что удалось ему рассказать (иносказательно). Он, оказывается, совершенно ничего не знает о том, что делается, а это ему, конечно, интересно, потому он и переводил разговор на то, что делается, шумно ли, много ли собраний и т. д.»...

В тот день на прогулке Борис рассказывал обступившим его товарищам:

— Это не свидание, а чорт знает что! Смотрят в рот, не выплюнешь ли чего-нибудь запрещенного. Только я спросил про Думу, какой ее состав, как уже все замахали руками: «Нельзя, нельзя, об этом запрещается говорить». Но в общем я узнал, что Дума будет очень левая и что надо ожидать разгона.

Интерес к Думе, вокруг которой в то время сосредоточены были последние надежды на возрождение революционного движения, как у Бориса, так и у всех его товарищей был в высшей степени острый. Нет ни одного письма его этого периода, в котором в хитроумном замаскированном виде он не задавал бы вопроса о том, как обстоят дела на воле. Тюремщики только удивлялись, какие огромные родственные связи у этого арестанта. Им и в голову не приходило, что «маленькая Домна» означает Государственную Думу, «дядя Петя Столпинский» — премьера Столыпина, «Семен Дмитриевич», «Степан Рудольфович» и «Константин Дмитриевич» обозначали социал-демократическую, социал-революционную

---

[1] Таких необычных головных уборов в Шлиссельбурге не носили. Шапка была серого арестантского сукна, «пирожком». Эта ошибка вызвана близорукостью З. П. Жадновской и частой сеткой в окошках, мешавшей ясно видеть.

и конституционно-демократическую партии или же соответствующие фракции Государственной Думы, «Черновы»—это союз русского народа и вообще черносотенцы. Сообразительностью шлиссельбургские тюремщики вообще не отличались, и, зачеркивая часто совершенно невинные фразы, они пропускали в письмах Бориса такие, например, места:

«До сих пор мне никто не пишет, как поживает маленькая Домна... На днях ее должны были привезти к вам в Питер. Как она вообще чувствует себя? Прорезались ли у нее зубки, говорит ли она что-нибудь? Мне раньше писали, что у нее плохо действует левая ручка. Ты на свидании говорила, что, кажется, поправляется но ты теперь как-нибудь подробнее напиши. Помнит ли она обо мне и других дядях?» (18 февр. 1907 г.)

«Живет ли дядя Петя Столшинский все еще на Кабинетской улице? Мне кажется, что кто-то писал, что он хочет переехать со всей семьей с этой квартиры... Ты писала, что Семен Дмитриевич и Степан Рудольфович устроились довольно хорошо, хотя жалованье по 45 руб. (ты, кажется, говорила, что 45 рублей), конечно не велико, но при их таланте они заработают в десять раз больше. Напиши мне номер квартиры Константина Дмитриевича, а то я забыл» (4 марта 1907 года).

«Бросил ли дядя Петя пить (вино и др. напитки)? Если бросил — напиши, я его хочу поздравить. Кажется, он обещал до Пасхи бросить» (1 апр. 1907 г.).

Всякий, знакомый с политическими обстоятельствами того времени, поймет, что в приведенных отрывках говорится о созыве Думы, о составе и численности левых партий, о предполагавшейся отставке кабинета Столыпина, о приостановке действия военно-полевых судов («пить вино и др. напитки», т.-е. кровь), но тюремщики не понимали ни задаваемых вопросов, ни приходивших с воли ответов в том же духе. Впоследствии Борис перешел к более прямому способу переписки—химическими чернилами (лимонным соком, молоком) на внутренней стороне конвертов или между строчками.

Новости доходили в тюрьму разными путями. Но до тех пор, пока не появился в тюрьме земляк начальника, эстонец Ребанэ, за большую плату взявший на себя функции почтового голубя, сообщения все же были по необходимости лаконичны. Постоянным нелегальным информатором тюрьмы был А. В. Неустроев, пом. прис. поверенного в то время, который регулярно химическими чернилами сообщал все животрепещущие новости политической жизни, пользуясь для этого не только письмами, но и различными каталогами и книгами, жертвуемыми им в тюремную библиотеку. Он же, когда установилась прямая почта, приезжал в Шлиссельбург, привозил увесистые пакеты с письмами, газетными вырезками и даже нелегальными партийными изданиями, встречался на квартире одного сочувствующего

шлиссельбургского жителя с тюремным «голубем», передавал ему деньги и вообще регулировал всю зависевшую от воли сторону этой нелегальной почты. Почта эта действовала в течение многих месяцев и прервалась вследствие перевода надзирателя на другую должность, так и не будучи обнаружена начальством.

II.

СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ.

Болезнь. — Вдвоем. — «Курятина». — Тюремная кулинария. — Князь Гурамов. — «Эти репортеры»... — Весна. — 1-е мая. — Дрязги. — Приезд губернатора. — Научные занятия. — Беллетристика. — Передвижные выставки.

С приближением весны здоровье Бориса, казалось, совсем окрепшее, неожиданно начало сдавать. Промоченные на прогулке ноги вызвали простуду, он стал сильно кашлять, появились повышения температуры и ночные поты. Врач из немцев, делавший до сих пор свою карьеру тюремного эскулапа на о. Сахалине, ограничился тем, что предписал больному удвоенную прогулку (2 часа в день) и назначил ему молоко и белый хлеб. Борис сам решил бороться с начинавшимся легочным процессом.

— Умирать в тюрьме от дурацкой чахотки?.. — говорил он. — Не согласен. Я не буду, как Берг (один из заключенных), вешать нос и только и думать о неизбежном конце. Мы еще посмотрим, кто кого, палочки меня или я их!

Он начал усиленно заниматься гимнастикой «по Мюллеру», совсем почти не ложился на койку, хотя ему, как больному, было разрешено не закрывать ее на день, всегда был весел и отгонял от себя всякую мысль о болезни. И мало-по-малу силы стали возвращаться, чахоточный румянец сошел с обычно изжелта-бледных щек, стал появляться аппетит. Он в это время особенно налег на книги и в английском языке стал делать поражавшие окружающих успехи. Стал подумывать о серьезных занятиях математикой, которую он любил еще в корпусе и в училище. В камеру к нему перешел Письменчук, проявлявший чисто материнскую нежность к больному другу, заботившийся об его питании, и проявлявший этом деле поистине матросскую изобретательность.

Письменчук в своей многострадальной жизни до каторги побывал и в поварах. Перебравшись к Жадановскому, он в первый же вечер их сожительства поставил ему такой вопрос:

— Что, товарищ Жадановский, вы любите курячье мясо?

— Очень люблю. А что?

— Ничего, я так спросил.

Весь вечер он провел в том, что выдергивал из простыни нитки и плел из них какие-то шнурки. А на другой день, когда Жадановский ушел на прогулку, Письменчук открыл окно, раскинул на подоконнике силки, накрошил хлеба, покричал «гули, гули!» и стал ждать. Через минуту подоконник был усыпан голубями, дравшимися из-за крошек. Улучив момент, когда наружный часовой зазевался, Письменчук потянул силки, и втащил в камеру двух отчаянно бивших крыльями птиц. Свернуть им шею было делом одного мгновения. Ощипать и выпотрошить с помощью сделаннаго из кусочка железа ножа, было тоже не долго. Перья и внутренности через канализационную трубу поплыли в озеро. Но привести промысленную таким образом дичь в съедобный вид было делом несколько более трудным. Старый матрос, однако, и тут нашелся. Он посолил птиц, положил в свой жестяной чайник, и, вызвавшись раздавать после обеда кипяток, несколько раз обварил их из кипящего куба. Эту же операцию он проделал и после ужина, опять добровольно выйдя на раздачу кипятка. Птицы великолепно дошли.

Когда Письменчук вернулся со своим чайником в камеру, Борис стал втягивать носом воздух.

— Чем это у нас пахнет, Письменчук?

Письменчук с деланным изумлением стал тоже нюхать воздух.

— Чем пахнет? Может, махоркой?

— Нет, не махоркой, чем-то вкусным пахнет.

— А это, верно, кипяток пахнет. Сегодня вкусный кипяток у нас, — и он торжественно поставил на столик чайник и открыл крышку.

Оттуда повалил вкусный мясной пар, от котораго у изголодавшегося по мясу Бориса потекли слюнки.

— Письменчук! Что это такое? Откуда вы достали?

— А это курятина, Борис Петрович, которую я вам вчера обещал.

«Курятина» из голубиного мяса оказалась на их неизбалованный вкус прекрасной. Друзья с удовольствием дополнили ею ту кашичку тюремнаго ужина, которою они полчаса тому назад добросовестно набили свои желудки.

Этот первый опыт Письменчука в области тюремной кулинарии поощрил его к дальнейшим шагам, более усовершенствованным. В следующие разы дичь подавалась на стол уже в зажаренном виде и с приправами. Из жестяной коробки из-под килек, найденной где-то в мусорной куче, была сделана лампа с двумя фитилями. Вместо керосина употреблялось постное масло, покупавшееся на выписку. Перец и лавровый лист достали с кухни, из переплетной мастерской, в которой к этому времени стал работать Борис, украли предназначенной для клейстера муки. Божьи птички, водившиеся массами на чердаках крепостных зданий и в выветрившихся стенах, всегда были под рукой.

Начальство сначала не замечало этого истребления живого инвентаря, но когда примеру двух друзей стали следовать другие и были ловимы на месте преступления, стало придираться: не порядок, с одной стороны, а с другой, как говорили надзиратели, особенно из старых жандармов, грех большой перед господом богом, ибо голуби — божья птица и убивать ее заказано. Преследование голубиной охоты особенно усилилось после того, как слишком часто стали забиваться в коленах сточные трубы, и при ремонте их обнаруживалось, что происходит это почти всегда от огромного количества костей и перьев.

Приходил помощник начальника князь Гурамовъ, пожилой, высокий и полный человек, страдающий одышкой, послушный велениям начальника, но добродушный и тайно благоволивший некоторым из заключенных, и, надувая толстые щетинящиеся щеки, говорил с характерными грузинскими придыханиями:

— Нельзя... Непорядок... Начальник будет наказывать... Прошу прекратить...

— Что такое, господин помощник?

— Голуби... голуби... птичка божия... кха. Труба опять забита... Монтер два часа работал... пуд перьев... Начальник сказал... будет из ваших денег оплачивать ремонт... кха. Что? Не вы? Письменчук, не вы?!

Помощник всегда обращался к заключенным на вы, когда надзиратели не слышали, в их же присутствии, как и все, говорил в третьем лице.

— Что вы, господин помощник, я не умею ловить голубей.

— А кто же? Я? Ваша труба до соединения забита... С низу поднялось?

— Мы только парочку съели, господин помощник, —улыбаясь, вступал в разговор Жадановский. —И кому какой вред от этого? Голуби ведь ничьи, божьи, не казенные, а казенная пища очень плоха.

— Парочку? Я вам говорю — пуд перьев... сам видел... целая перина...

«Князь», как называли его все — и заключенные, и надзиратели, — оглянулся на дверь и, понизив голос, продолжал:

— А мне что? Ешьте!... Только не попадайтесь: начальник будет вычитать за ремонт...

И он, беззвучно смеясь, вылетал из камеры, чтобы в следующей, уличенной в том же преступлении, завести тот же разговор. А начальнику докладывал:

— Сделал выговор... Надеюсь, больше не будут... А если повторят, надо наказывать... да, наказывать...

И насмешливо поглядывал на него, зная, что начальник, при всем своем желании «подтянуть», не рискнет наказать когонибудь из-за такой мелочи.

Истребление голубей продолжалось более осторожно, но в том же грандиозном масштабе. Много спустя, когда наиболее доверчивые птицы были переловлены, а оставшиеся стали более сторожкими, эта охота естественным путем прекратилась. Но Письменчук, тем не менее, своих кулинарных занятий не бросил. Из толченых ржаных сухарей он приготовлял бабки, делал из изюма вино, варил варенье из молодой свеклы, а когда в саду появились ягоды — крыжовник, смородина, малина, рябина, — он был вне конкуренции по части приготовления из них разных, более или менее вкусных, но всегда съедобных вещей. Его пирожки из кислой капусты, выдававшейся в сыром виде два раза в неделю на ужин, были действительно великолепны.

Жадановский катался как сыр в масле. Несомненно на ряду с проявленной им самим волей к здоровью, на ряду с начавшейся с наступлением теплых дней работой на огороде, выпадавшей на его долю через каждые три дня, заботы Письменчука о его питании, сыграли большую роль в деле его поправки.

* * *

Слух о болезни Бориса проник в газеты и вызвал большую тревогу в семье Жадановских. Сам Борис в своих письмах домой лаконически сообщал, чтобы не тревожить: «совершенно здоров», «здоровье, как обычно», «здоровье удовлетворительно». Близорукая Зина на свиданиях не могла разглядеть на лице брата изменений, вызванных болезнью. Старик Жадановский пишет начальнику тюрьмы запрос, правда ли, что у сына его развился туберкулез, как сообщают об этом в газетах. И Василий Иванович дорожащий честью *своей* тюрьмы, возмущенный вмешательством «этих репортеров» в *его* дела, потому что здоровье вверенных его попечению узниковъ никого кроме него не должно беспокоить, и в то же время оберегая «государственную» тайну, негодующе опровергает:

> «Не верьте газетным известиям. Эти репортеры из личных выгод помещают всякую ложь в газеты и им дела нет до чувств близких родственников. Врач, напротив, находит, что здоровье вашего сына не только не ухудшилось, после перевода в крепость, но значительно улучшилось, и болезненный процесс в легких приостановился, что выражается уменьшением болезненных припадков и улучшением самочувствия. Он ежедневно гуляет на свежем воздухе по два часа. Камера его находится во втором этаже, на солнечной стороне и никакой сырости в ней нет, а скорее воздух в ней слишком сух».

Эти слова сплошное лицемерие тюремщика. Начать с того, что Борис был переведен на солнечную сторону лишь после

заболевания. Об улучшении самочувствия в то время никоим образом говорить было нельзя, и писалось все это, конечно, не потому, что шлиссельбургскому сатрапу было какое-нибудь дело «до чувств близких родственников», а просто потому, что он желал скрыть истину, поскольку эта истина могла получить дальнейшую огласку.

* * *

Пришла весна-красна. Робкие улыбки солнца сквозь серый ладожский туман, буйные ветры, нагонявшие тучи с холодным дождем и крупой, сменились, наконец, ясным апрельским солнцем, согнавшим последние снеговые следы зимы. Высохли дорожки на прогулочном дворе, начали гонять «свинью» из ямки в ямку, строить «городки» и разбивать их мощными бросками тяжелых дубин, щеголяя силой и ловкостью, оглашая всю крепость громким молодым криком и смехом и бешеным лязгом цепей. Пытались играть в чехарду в кандалах, но тяжелые цепи слишком больно били по подставленным спинам. Гонялись друг за другом «в пятнашки». А когда уставали, забирались в угол и тихо и стройно пели грустные украинские песни про неволю. «Прогулочный» — старый жандарм, «кащей бессмертный», как его прозвали, нервничал, ворчал и докладывал начальнику:

— Балуются, ваше высокоблагородие, бегают, песни поют, кричат, а когда говоришь им, смеются.

— Знаю, знаю. — смущенно отвечал начальник. — Это пока, потом подтянем. Если не слушаются, кончай прогулку раньше срока.

Кончали прогулку раньше срока, но это не помогало.

— Погоди, — ворчал «кащей» беззубым ртом. — Подтянем, попоете тогда.

Прошумели льды ладожской системы и унесли с собой в море последние холода. Кругом все зазеленело. Груши и яблоньки, посаженные предшественниками, народовольцами, покрылись белым и розовым цветом.

Пришло 1-е мая. Кроме анархистов все принарядились в этот день. Раздобыли красные ленточки и они необычно алели на серых бушлатах. После поверки громко через закрытые двери поздравляли друг друга. На прогулках не возились, не играли. Когда же раздался крик «кащея»: — Кончай прогулку-у! сами построились в ряды, хотя обычно этого не делали, подняли красный флаг, склеенный из бумаги, и запели «Отречемся от старого мира».... Пение замирало за глухо захлопывающимися дверьми одиночек.

Заключенные были уверены, что эта манифестация им даром не пройдет, и приготовились к отпору. Но прошел день и другой, а возмездием и не пахло.

— «Чухна» сносится с Петербургом, ждет инструкций, — объяснили это совершенно непонятное поведение начальства.

Но прошла неделя, другая, — все по-старому.

— Трусят! — было единодушное мнение.

На огороде поспела редиска и торжественно делилась поровну между всеми. Жаркие дни отзывались на нервах, напряженных томительным однообразием тюремных дней. «День изо дня одно и то же», жалуется Борис. Он усиленно занимается сам, учит Письменчука, работает в переплетной мастерской, переплетая жертвуемые в большом количестве книги для тюремной библиотеки, работает на огороде. Но все острее и острее чувствуется, что это не жизнь, а только видимость жизни. Приходится напрягать волю, чтобы держать в узде непокорное сердце, жаждущее свободы. Ему все чаще приходится разбирать на прогулке ссоры и нелады, часто из-за пустяков возникающие даже между близкими друзьями.

— Неужели, чем дольше мы будем сидеть, тем больше дрязг у нас будет? Это не жизнь… — жалуется он одному из своих друзей, имеющему сравнительно большой тюремный опыт.

— Ничего, все перемелется, — успокаивает тот. — Так всегда бывает и в тюрьме, и в ссылке. Во всем виновато однообразие нашей жизни, отсутствие внешних впечатлений. Одни и те же лица, одни и те же вещи… Вот подождите, прижмет нас начальство, забудется все. Сразу сплотимся в борьбе, в отпоре. А нас рано или поздно, но прижмут, и крепко прижмут.

— Хоть бы поскорее уже. И мне надоело это мирное существование. Оно и меня деморализует уже, я чувствую. Вчера вот с Письменчуком повздорил…. И хоть бы из-за чего серьезного. А то обиделся я, что он вслед за Захаровым стал интеллигенцию разносить. Может-быть и следует кой-кого поосадить, но меня возмущает эта огульность.

Ссорились и мирились. На душе было тяжело. Стало легче, когда пронеслись слухи, что тюремное управление недовольно распущенностью шлиссельбургских каторжан и дало начальнику приказ: «не миндальничать». Источником этих слухов был «князь». Он сообщил об этом конфиденциально всем, с кем поддерживал хорошие отношения. Это было в начале июля. А дня через два от того же князя узнали, что ожидается приезд петербургского губернатора, в ведении которого формально находилась тюрьма.

— Ага! С этого, значит, и начинается подтягивание! Ну, посмотрим, кто кого, — обрадовалась изнывавшая от непривычной еще монотонности каторга.

На прогулках много толковалось об ожидаемом приезде: обсуждали, как держать себя, о чем говорить с высоким посетителем. Было решено занять выжидательное положение, вызывающе себя не вести, не нарываться, но в случае какой-либо грубости спуска не давать.

И вот губернатор приехал. Взобравшись на окно, Борис и Письменчук наблюдали. У надзирателей медные бляхи сияли,

как золото. Начальник, всегда грязноватый и деловитый, был одет с иголочки и выглядел олицетворением торжественного подхалимства. Щеки у князя Гурамова, гладко выбритые, отливали лиловым и синим. Губернатор Зиновьев, генерал в военной форме, гордо нес белоснежно-седую бороду с выдавшимся над ней аристократическим носом.

Письменчук, сильно остепенивший под влиянием друга свой язык, не удержался и выпалил:

— Драконы, мать..., пришли нашу кровь пить!

Однако, к общему удивлению, губернаторское посещение прошло благополучно. Генерал был тактичен, хотя именно в камере наших друзей он единственный раз за этот свой приезд споткнулся.

Он смешал Письменчука с Жадановским и, принимая простодушного матроса, обладавшего представительной внешностью, за бывшего офицера, который, как предупредил его начальник, в этой камере находился, благосклонно сказал ему несколько слов. И, обратив в конце своего визита внимание на стоявшего рядом с «офицером» замухрышку, счел его, несомненно, за что-нибудь в роде уголовного, прислуживающего офицеру, и спросил:

— А *ты* за что сидишь?

Жадановский негодующе вздернул плечами и отвернулся. Положение попытался спасти начальник, подскочивший к генералу и подобострастно доложивший:

— Ваше превосходительство! Это саперный офицер, Жадановский, осужденный за участие в мятеже.

— А-а! *Вы* где учились?

И так как Жадановский продолжал молчать, то Письменчук, ободренный любезностью «дракона», счел своим долгом ответить:

— Я? А в городском училище, только не кончил.

Обескураженный генерал, не прощаясь, выскочил из камеры. Борис хохотал, повалившись на койку, а Письменчук, надувшись, как мышь на крупу, «крыл» в царя и божью матерь, всех генералов и губернаторов.

* * *

Лето прошло. Уже в середине августа полили холодные дожди и стали блекнуть листья. Жизнь шла все так же тихо и спокойно. Грозовая туча, возвещенная «князем», почему-то прошла мимо, «прижима» не чувствовалось.

Борис продолжает заниматься, читать. Как-то в начале сентября, пересматривая свои тетради, в которых он делал отметки и выписки из прочитанных книг, он начал подсчитывать, сколько книг и брошюр он прочел за восемь месяцев своего пребывания в Шлиссельбурге, и сам диву дался: оказалось семьдесят книг в большинстве серьезного содержания, и притом многие были не просто проглочены, а частью серьезно прочитаны с каран-

дашом в руке, часть же изучены. К этому времени он закончил уже второй том самоучителя английского языка по системе Туссена-Лангеншейдта и настолько хорошо усвоил его содержание, что мог, почти не прибегая к помощи словаря, читать английскую книгу.

В это время в Шлиссельбургской тюрьме, где собралось несколько марксистов, интересовавшихся вопросами теории, началась дискуссия между материалистами и т. н. «махистами», дискуссия, отражавшая философские споры, ведшиеся на воле. Борис тоже заинтересовался философией и очень скоро определил себя как сторонника Плеханова.

— «Кто ты, материалистка или идеалистка?» — спрашивает он, побуждаемый жаром прозелитизма, в одном из своих очередных писем сестру и, получив от нее удовлетворивший его ответ, дает ей указания, что читать.

В конце года он усиленно занимается математикой. «Я, между прочим, прохожу теперь дифференциальное и интегральное исчисления, — рассказывает он в одном из писем домой. — Этот отдел математики я проходил в училище, т.-е. 3 года тому назад, но теперь все это мне кажется новостью; и надо заметить, что я всегда был одним из лучших по математике. То же самое с языками...» Он вспоминает, сколько лет учился он немецкому и французскому языкам, сколько времени было потрачено на это, а между тем, занимаясь сам, без помощи учителя, английским языком, он в каких-нибудь три месяца сделал в нем огромные успехи. И он приходит к выводу, что всему виной школьная рутина с ее системой баллов, вытравляющая у учащихся непосредственный интерес к изучаемому предмету.

Отвлеченные книжные интересы, конечно, в известной мере скрашивали неволю, давали некоторое содержание жизни. Но хотелось чего-нибудь более живого, более говорящего чувствам. Художественной литературы в библиотеке почти не было. Те несколько книжек беллетристического содержания, которые по недосмотру присланы были с казенной библиотекой, были уже перечитаны. Все, что мог каждый рассказать интересного о своей жизни, было не раз и не два рассказано и выслушано. На прогулках все реже вспыхивали оживленные разговоры и смех, многие поддавались хандре, не выходили совсем из камеры или ходили на дворе в мрачном одиночестве. Кто-то получил письмо, в котором довольно подробно было пересказано содержание интересного рассказа, напечатанного в последней книжке «Русского Богатства». Это письмо было прочитано вслух и на несколько дней оживило всех. Естественно возникла мысль использовать родственников и друзей, которым часто нечего было писать о себе, для систематического реферирования или даже просто переписывания новинок изящной литературы. В те дни у оставшихся на воле еще не ослабела память об ушедших из жизни, и паутина повседневных интересов не засло-

нила окончательно воспоминания о них. Многие откликнулись, и в тюрьме стало немного оживленнее. Благодаря этим письмам, заключенные долго могли следить за отражением в литературе упадочных настроений того времени.

В то же, приблизительно, время в тюрьме начали устраиваться передвижные выставки. Заключенные получали очень много художественных открыток. Кому-то в голову пришла идея наклеить эти открытки в тетрадку и пустить по рукам. Успех предприятия превзошел все ожидания. Все стали предоставлять в распоряжение инициаторов свои сокровища. Особенным успехом пользовались галлереи женских типов, и каждая тетрадка, обойдя все камеры, многими требовалась вторично и на более продолжительный срок.

III.

ИСПЫТАНИЯ.

Перелом в режиме.— 1-е января 1908 г.— Карцерное положение.— Порка уголовного.— Порка политических.— Убийство Краснобродского.— Самопознание.— О самоубийстве.— Мелочи режима.— Тюремная дипломатия.— Пасхальная заутреня.— Наполнение крепости.— Мечты о Сибири.— Мертвый штиль.— Побежденный.— Без кандалов.— В. О. Лихтенштадт.

Прошел 1907 год, и с ним миновали золотые денечки шлиссельбуржцев. Начальство выжидало долго и терпеливо и, наконец, дождалось. Заключенные, как мы видели, тоже ждали и тоже дождались. 1908 год в истории шлиссельбургской каторги оказался переломным. Историю этого перелома и непосредственно последовавшего за ним периода Борис рассказывает сам в большом нелегальном письме, которое ему удалось отправить домой 2-го октября 1908 года.

> «За 1907 год мы многого добились и сильно улучшили свое положение сравнительно с началом. Конечно, все это мы могли сделать при том условии, что на воле еще не затихло, еще реакция не вступила вполне в свои права. Но вот наступил перелом на воле, и в воздухе запахло другим. Начальником Главного Тюремного Управления стал Курлов. Начальник Шлиссельбургской тюрьмы не позаботился даже о приличном предлоге для переворота
>
> 1-го января как-то случайно вышло, что вторая прогулка запела марсельезу. То же самое проделала третья и четвертая. В тот же день об этом и забыли. Никто, конечно, не сказал ни слова. У нас обыкновенно всегда, хотя и не очень громко, пели на прогулке. Но теперь изменились времена, и вот на другой день является начальник с конвойными под командою полковника и объявляет, что он за пение лишает нас книг и табаку. Это был явно вызов, ибо у многих книги не были отобраны, а табак тоже почти у всех остался. Дело было в самом факте наказания. Для нас было совершенно ясно:

искался предлог. Уступили бы мы здесь, заставили бы уступить в другом, третьем и т. д. На это мы ответили тем, что на следующий же день уже все четыре прогулки возвращались с марсельезой в корпус. За этим последовал целый погром: являлось человек десять надзирателей и забирали абсолютно все из камеры; не брали только нас, бывшей на нас одежды и тюфяков, одеял и подушек. Забрали даже деревянные кровати [1], полки, полотенца, посуду, мыло и т. д. и объявили нам карцерное положение. Целый месяц длилось карцерное положение. Настроение у всех было повышено до крайности. Пища была исключительно в 2 ф. черного хлеба на человека в сутки и через три дня в четвертый горячая пища. Карцерное положение, конечно, совершенно не запугало нас. Те, которые случайно оказались не на карцерном положении, выбросили из камеры все свои вещи и потребовали, чтобы их посадили на карцерное. С начала, т.-е. 4-го января, и до конца карцерного положения, т.-е. 4-го февраля, вся тюрьма гудела. Днем, обыкновенно, орали кто как может главным образом революционные песни. Все почти повыбивали стеклышки в дверях камер и вели друг с другом разговоры через эти отверстия. Все время играли в шахматы, так что целый день в тюрьме гудело с одного конца: «королева 4.4 на 5.5», а с другого конца коридора в ответ неслось: «тура 6.6 на 6.4» и т. д. Вечером наступало концертное отделение или же один из товарищей читал реферат. Вот несколько рефератов: «О национализме», «О милитаризме», «О значении 9-го января 1905 года», «Содержание книги Гернета «Общественные причины преступности», «Об анархизме» — и другие. Концертное отделение состояло из декламации (у нас очень порядочные декламаторы) и пения соло и дуэтов. Много дурачились. Когда замечали, что пришел кто-нибудь из начальства, кричали, свистели и орали что есть духу: «Товарищи, тише - е - е - е, начальство на коридоре - е». Было весело, хотя и утомительно, жили как в общей камере, хотя каждый в одиночке. Начальник грозил, что если не прекратят скандалить, он еще увеличит наказание, но это только жару поддавало. Вначале мы каждую минуту ждали прихода солдат и расстрелов. Но месяц кончился, и, вопреки предположениям, нам возвратили наши вещи и сняли карцерное положение со всех. Впрочем, мы все-таки не переставали перекрикиваться через волчки, а многие залепливали и впоследствии волчки бумагой.

После карцерного положения настало мрачное время. Разнеслась весть о том, что Маклакова высекли. Маклаков уголовный; он тогда сидел в другом корпусе, но взят и наказан он, видимо, за наше общее дело. Ничто не может сравниться с этим. Что значат перед сечением расстрелы, побои и т. д.? Все это чепуха, порка же это гнусность, ниже которой быть ничего не может. Даже когда убили товарища, близкого товарища, то не казалось мне таким ужасным, как порка. Для меня в этом отношении, конечно, не было и нет никаких сомнений, Отомстить я пожалуй не смог бы, но с собой я всегда бы покончил, не колеблясь.

---

[1] В тех камерах, где сидели по двое, были складные деревянные койки.

За этим последовал второй удар. Приехал Курлов и вошел в камеру Сперанского. Но впереди шел начальник. Увидя начальника, Сперанский закричал: «Пошел вон, негодяй!» — и сам хотел выйти на коридор. Начальник же разыграл сцену, будто Сперанский бросается на Курлова. Он выхватил шашку и стал перед Сперанским. Затем все вышли из камеры. Через несколько дней Сперанского и Ароновича[1] перевели в другой корпус, а еще через несколько дней мы узнали, что Сперанский и Аронович были высечены. Это был второй удар. За ним последовал третий, быть-может не меньшей силы: Сперанский и Аронович не покончили с собой, — остались жить. Наконец, последний удар — убийство Краснобродского. Краснобродский стал на скамейку, протянул руки в разбитое окно и стал сыпать на подоконник хлеб для голубей. Надзиратель Потапов, увидя его закричал: «Слезай с окна!» У нас, между прочим, запрещено только выбрасывать записки, а у окна стоять можно. Краснобродский ответил, что когда накормит, слезет. «Убирайся с окна!» — «Не тыкай!» — «Слезай!» Бах! и Краснобродский убит на месте! Что переживали все мы в это время, не могу изобразить. Злоба, страшная бессильная злоба. При воспоминании о таких минутах только и можно понять и даже оправдать часто ненужное пролитие крови при народных восстаниях, при захвате народом власти.

Это было 7-го мая. С тех пор положение все время улучшается Жить становится легче. Зато как много тяжелых впечатлений! Впрочем, я прекрасно помню каждую минуту, что на этом дело, верно, не остановится, что не сегодня завтра настанет время и опять пойдет «безумие и ужас». С 7-го мая мы не ходим на ту прогулку, когда стоит Потапов — убийца Краснобродского, т.-е. мы теряем $^1/_3$ прогулок.

Как видите, жизнь неважная. И единственная вещь, которая поддерживает — это наука. Конечно, забыться совсем нельзя, да я и не хотел бы, но наука увлекает, заставляет многое хоть на время забывать, вдохновляет. Без книг ничего не стоило бы сойти с ума. Только здесь я начал серьезно читать, и за это время, 2 года, нет меньше, — $1^3/_4$, я успел многое прочесть, многое понять, много поставить себе вопросов, на которые, конечно, еще не нашел ответа. Самое важное то, что вопросы поставлены. И знаете, несмотря на то, что бывали времена — и не однажды, — когда заносил одну ногу туда, откуда никто не приходил, бывали моменты — и не моменты только! — действительно ужасные, страшные, несмотря на это, говорю я, я ни за какие миллионы не согласился бы принять свое прежнее состояние, т.-е., конечно, духовное или вернее душевное, а, конечно, быть на воле, быть юнкером, кадетом, офицером, конечно, согласился бы. Я бы использовал это положение в целях революции.

Все это было пережито Борисом с исключительной интенсивностью. Может-быть никто из его со-каторжан не переживал так остро, как он. И те, кто знали его в эти дни, помнят

---

[1] Аронович сидел в одной камере с Сперанским; в этом была вся его вина.

и металлические нотки в его голосе, и огонь в его глазах, и резкие морщины на лбу и вокруг глаз, и непреклонную заостренность подбородка. Уходила юность из его души, а на ее место появлялась все понимающая зрелость духа, стальной закал, формирующий наново всего человека. Не мрачным и угрюмым выходил он из этих испытаний, как и из многих других, уготованных еще впереди, а просветленным и очищенным, радостно улыбающимся в лицо самой смерти, и тому, что хуже смерти, сознавшим несокрушимую силу своей воли и непреодолимую правоту своего убеждения.

В письме к Е. И. Менцер, снова вспоминая рассказанный им период, он писал:

«..... А с начала года 1908-го до середины мая ух! сколько пережито! Мы с минуты на минуту ожидали прибытия солдат, и если не поголовного, то очень свирепого расстрела или по крайней мере избиения. И мы ожидали этого почти весело. На наших глазах одного товарища убили: это было ужасно... Но мы пережили порку одного из наших товарищей. И убийство, и расстрелы, и избиения все это чепуха перед поркой. Вы представить себе не можете, что это за гнусное, скверное, отчаянное состояние было, когда мы узнали об этом. Как мы пережили это,—трудно сказать. Впрочем, что мы пережили, в этом не мы отчасти виноваты. И знаете, я, например,—за себя я вполне спокоен в том смысле, что если бы меня выпороли, я, конечно, сейчас же покончил бы с собой. В этом у меня нет сомнения, это и не страшно. Но думать, чтобы надо мною могли проделать эту гнусную, мерзкую вещь,—нет! это кого угодно заставит задрожать не от страха, конечно, а от омерзения. Как ужасно тяжело было услышать, что товарищ этот не покончил с собой, и с каким облегчением мы узнали, что он пытался повеситься, а затем старался вызвать стрельбу в него со стороны надзирателя. И действительно, надзиратель стрелял в него (за то, что тот бросал в надзирателя шариками хлеба), но только ранил в ногу. Его теперь выслали отсюда. Это все-таки удовлетворение. Знаете, как иногда кажутся просты некоторые вопросы, и как иногда жизнь их поправляет. Старая истина и, несмотря на это, все-таки истина. Ведь вот сколько раз я думал о самоубийстве и всегда смеялся; какими слабыми, жалкими, даже недостойными жалости людьми казались мне самоубийцы. И однако, теперь я пришел к тому убеждению, что в известных обстоятельствах нет другого выхода, кроме самоубийства, и что не самоубийство, а отступление от самоубийства можно считать слабостью. Впрочем, я не могу представить себе такого стечения обстоятельств на воле. Здесь в тюрьме у меня есть такой один вполне определенный случай—порка, но это показало мне, что вопрос гораздо сложней и что долой абсолютное утверждение! Впрочем, я совершенно напрасно начал об этом: вы можете подумать, что у меня сейчас мрачное настроение. Вовсе нет. Именно теперь у нас живется более или менее сносно. Именно теперь все больше и больше вхожу в науку, все больше и больше познаю ее прелесть. Недавно

я вспомнил как-то свое обычное настроение в училище и отчасти в корпусе. Что за серое, тоскливое, жалкое, дряблое состояние духа! Правда, я здесь переживал ужасные, мрачные, отчаянные минуты, но я ни за что не променял бы теперешнее свое состояние душевное на прошлое — пошлое».

* * *

О всей первой половине этого тяжелого года можно было вообще сказать, что заключенных «завинчивали». Это выражалось не только в том большом и значительном, о чем рассказывает Борис, но и в мелочах. Быть-может в мелочах это чувствовалось еще сильнее, потому что это был непрерывный дождь булавочных уколов.

Начать с надзирателей. Почувствовав, что начинается на их улице праздник, они стали допекать заключенных всяческими придирками. Говорили им «ты», хотя и нарывались всякий раз на скандал, не отвечали на стук, заставляя из-за какой-нибудь мелочи подолгу дожидаться, а то непрерывно караулили у волчка, особенно раздражая этой назойливостью нервных и больных.

Начальник стал во всей строгости применять инструкцию, обратив в первую очередь свое внимание на книги. До этого времени в камерах бывало по несколько книг, хотя инструкция разрешала каждому заключенному иметь на руках одновременно только две книги для чтения и для занятий; кроме двух книг можно было иметь также словари и т. п. учебные пособия, но с особого каждый раз разрешения. Теперь эта вольность кончилась. Под флагом учебных пособий уже нельзя было держать не только один какой-нибудь словарь, необходимый при чтении выданной на руки иностранной книги, но и ряд других книг, подходящих, хотя бы с натяжкой, под категорию «учебных пособий». Из библиотеки изъяли ту жалкую беллетристику, какая в ней была, а заодно и книги легкого содержания в роде путешествий. Из-за всякого пустяка конфисковались письма. После январьского карцера прогулку стали давать лишь один раз в день на 40 минут (летом на 55 минут), при чем выпускалось одновременно не 20—30 человек, как раньше, а всего 5, и не по расписанию, составленному самими заключенными, а по порядку номеров камер. Работать на огород не пускали, заставляли безвыходно сидеть в камерах. Участились обыски.

* * *

Как и в прошлом году, Пасха принесла необычные удовольствия. Из Петербурга от революционного Красного креста была доставлена на всех заключенных огромная передача, содержавшая в себе, как шутя говорил Борис, не только пищу для тела, но и для души, в роде апельсинов, шоколада, сырных пасок и т. п.

вкусных вещей. Но самым интересным было посещение крепостного собора в пасхальную заутреню.

За несколько дней до Пасхи узнали, что к заутрене начальником приглашены певчие из города и что на эту ночь церковь могут посетить все желающие горожане, а не только обитатели крепости. Представлялся случай увидеть не одни лишь постылые рожи тюремщиков, но и вольные лица и, что важнее всего, женские лица. При этой перспективе многие почувствовали сладкий трепет. Составляли список желающих идти «помолиться богу». Были споры. Находились принципиалисты, считавшие, что открытое исповедание атеизма запрещает посещать церковь даже ради развлечения. Но над ними только посмеялись. Талантливому тюремному дипломату Аполлону Кругликову, недавно прибывшему в Шлиссельбург, но уже успевшему создать себе соответствующую репутацию, было поручено представить по начальству этот список и добиваться разрешения.

— Иван Вахтанович, — в тот же день говорил Кругликов «князю», — вы знаете, какой великий праздник Пасха для всякого русского человека?

— Ну, что? Ну, что? Говорите прямо...—заторопился «князь», чувствуя недоброе в этом подходе. — Прогулки увеличить... невозможно, предписание сверху... Сказано раз навсегда: не миндальничать. А начальник... он боится вас, боится, чтоб его не убили... Я не боюсь... Но подчиняться начальству он должен.

— Да нет, Иван Вахтаныч, я не о прогулке. Я спрашиваю вас, знаете-ли вы, какой великий день Пасха для русского, — понимаете, русского человека?

— Ну, понимаю... Вы хотите сказать, что начальник не русский человек! Но он разрешит написать на Пасху лишнее письмо... Я уже говорил ему. Скажите всем, что можно...

— Да нет, Иван Вахтаныч, не о письмах... Лишнее письмо само собой. Тут вопрос гораздо более серьезный. Я не хочу говорить с начальником, потому что он не поймет, подумает, что мы хотим демонстрацию устроить, скандал и еще что там придет в его чухонскую голову. Но вы поймете, вы должны понять.

— Ну, ну... — заинтересовался «князь», — говорите скорее, мне некогда.

— Вы знаете, какие светлые воспоминания детских лет, о первой любви и тому подобное вызывает Пасха в душе всякого, даже потерявшего детскую веру... Эта заутреня, «Христос воскресе», красные яички, знаете, «смертью смерть поправ», «живот даровав», горящие свечи, колокола и «воистину воскрес»...

— Ну, ну... Вы хотите, чтоб вам разрешили христосоваться? Ха! ха! ха!.. — раскатился он во все горло.—Чтоб открыли на этот день камеры? Когда я был начальником тюрьмы в Кутаисе, я это разрешал. Но начальник на это никогда не согласится. Это против инструкции...

— О, нет, князь, мы хотим гораздо меньшего! Мы хотим чтобы за нами признали наше право в эту святую ночь быть не только каторжниками, но и людьми. Вот список желающих идти к заутрене. Вы, конечно, поддержите перед начальником это требование. Оно совершенно законно. Вы, конечно, это понимаете. Но начальник может не понять. Поэтому мы и решили обратиться к вам.

Князь был польщен.. Он обещал поговорить с начальником, хотя далеко не был уверен в том, что тот согласится.

Однако, вопреки всем ожиданиям, начальник согласился и даже выказал некоторое удовольствие. Вероятно, у него тут-же появилось намерение в своем ближайшем докладе по начальству выставить факт посещения арестантами церкви как результат умелого управления им тюрьмы.

— Но только начальник ставит вам условие,—говорил сияющий «князь»,—вести себя в церкви, как подобает в храме божьем, без всяких демонстраций...

— Что вы, Иван Вахтаныч! Да разве мы не понимаем? И за кого вы нас принимаете?!

— Да это начальник... Я тут не при чем. Я сам ему говорил, что все обойдется очень хорошо.

Заключенные побрились и почистились. Борис потребовал, чтобы Письменчук побрил также и его, хотя кроме тонкого, незаметного пушка на подбородке у него ничего не росло.

Удовольствие получили полное. Певицы из хора с интересом и сочувствием глядели на одетых в серое и закованных в кандалы узников и делали им глазки. Долгая служба пролетела как краткий миг. И снова назад, гремя кандалами, в тюрьму, тускло горевшую в темноте решетчатыми транспарантами окон.

— Начальник остался доволен,—говорил на другой день «князь».—Но священник очень сердит... говорит, что вы не молились, не подошли к кресту... точно в театр пришли... И все время смеялись.

— Мы воскресению Христову радовались, господин помощник.

* * *

В июне и июле началось наполнение Шлиссельбурга.

До этого времени первоначальный состав заключенных почти не менялся, достигнув количества 51 человека. Строительные работы, производившиеся на территории крепости, заставляли, однако, предполагать, что тюремное ведомство намерено максимально использовать природную изолированность Орешка, как назывался когда-то шлиссельбургский остров, и огромные стены, сооруженные шведами. Бывшая казарма жандармской команды и манеж были совершенно перестроены и превращены в общую тюрьму, вместимостью на двести слишком человек. Это двухъ-

этажное здание, в котором помещалась также и больница, вытянулось во всю длину западного фаса крепости, непосредственно прижавшись к крепостной стене. Тюрьма эта получила название *первого корпуса*. *Вторым корпусом* было названо тоже перестроенное здание одиночной *старой* тюрьмы, т. н. «сарая», находившейся в редюите крепости между Светличной башней и наружной стеной редюита. От этой одноэтажной тюрьмы, имевшей когда-то десять одиночных камер разной величины, был оставлен лишь прежний массивный фундамент, на котором было возведено два этажа, содержавших двенадцать общих камер на 140 человек. *Новая* тюрьма, в которой сидел Борис, никаким изменениям и перестройкам за это время не подвергавшаяся, была названа *третьим корпусом*. Кроме того, было построено еще здание бани и прачечной, а в Светличной башне старинные казематы были переделаны в темные карцера, сырые и мрачные норы, никогда не видевшие дневного света. Во всех углах крепости были устроены сигнальные звонки, каждый корпус был соединен с конторой телефонами.

Прибывавшие вновь партии размещались в первом и втором корпусах, и в третьем очень нескоро узнали, кого привозили туда. Только впоследствии выяснилось, что чистых политических среди прибывших было немного, больше было аграрников и героев мелкого полу-политического и полу-уголовного террора, но подавляющую массу составляла обыкновенная уголовная шпана.

Начальник тюрьмы все свое внимание устремил на новоприбывших и начал вводить среди них настоящий каторжный режим. Третий корпус, большинство заключенных которого бойкотировали его за применение розог и убийство Краснобродского, он решил до поры до времени оставить в покое, переведя из него в общие камеры всех, проявлявших наклонность к исправлению, и рассадив оставшихся по одному. Пришлось расстаться и двум неразлучным друзьям — Жадановскому и Письменчуку.

Неизвестно откуда, может-быть с воли, а может-быть и от князя Гурамова прошел слух о том, что оставшиеся в третьем корпусе будут развезены по другим тюрьмам, при чем большинство пойдет в Сибирь. Возможно, что таково действительно было намерение начальника, которому очень хотелось сбыть с рук собравшийся в третьем корпусе непокорный элемент и который впоследствии довольно часто стал прибегать к этому методу очищения тюрьмы. Эти слухи взвинтили всех чрезвычайно. Что бы ни предстояло впереди, пусть даже худшее, но лишь бы подальше отсюда, с этого проклятого острова. При этом настроении Сибирь казалась раем. «В настоящее время Сибирь — это мой ближайший идеал, — писал Борис. — Впрочем, точнее теперь мой идеал весь земной шар (места обитаемые и необитаемые) за исключением нескольких сот квадратных сажен, лежащих приблизительно на 60° сев. широты и 48° восточ. дол-

готы. Впрочем, думая о Сибири как о желанном, я выбираю для чтения большею частью книги о всяких Колымсках, Якутсках и т. д.».

* * *

К концу года режим значительно смягчается. Снова разрешены продолжительные прогулки, меньше дергают нервы придирками по пустякам. Но пережитый период сказывается учащением заболеваний, развитием туберкулеза у предрасположенных. Здоровье Бориса снова подается, он снова переводится на больничное положение, получает за свой счет кефир. Но поместить его в больницу начальник отказывается, отказывается также снять с него кандалы, хотя тюремный врач настаивает на этом.

Наступает мертвый штиль, тянущийся месяцы и месяцы. Люди умирают, сходят с ума. Смерть не страшна, но болезнь, безумие... что может быть хуже этого? В тюрьме так нужно здоровье физическое и здоровье душевное для всякого, кто не отдался покорно тяжелой доле, кто хочет сберечь себя для будущего, для великого дела, которому посвятил свою жизнь безвозвратно. Мысль о возможности заболеть душевно до сих пор и не приходила в голову Борису, но теперь, когда первые случаи душевных заболеваний поставили перед ним этот вопрос, он отнесся к нему с обычной серьезностью. В нем была не только жалость к товарищам, павшим жертвой страшной болезни. «Тут есть как бы предупреждение тебе самому,— думал и записывал он.— Я в себе довольно уверен при том условии, что будут книги, хотя, конечно, одних книг мало. Но черед твой может все-таки придти. Кто знает, нет ли в психике каждого человека такого слабого места, через которое проберется страшный недуг при благоприятных для его развития условиях? Так неизведана еще эта область»... Но если и приходили мрачные мысли, то ненадолго. Если не помогали спасительные книги, наука вообще, которой он часто слагает дифирамбы в своих письмах, если утомлялся мозг, то на выручку приходила фантазия, уносившая далеко за эти «несколько сот квадратных сажен», в будущее светлое и желанное или в далекий Харьков, в милый дом, где когда-то было столько веселья и юной радости и где самым радостным, самым веселым и беспечным был, пожалуй, он, одинокий узник Шлиссельбурга. Хрипел там старый граммофон, вызывая неудержимые взрывы смеха. Как то он поживает теперь? Охрип, верно, ужасно. Впрочем, теперь и наслаждаться то им некому, всем, верно, бедный, надоел. И скучно, верно, дома.

И вспоминая прошлое, переносясь в него до полного забвения настоящего, он начинал громко смеяться уже умершим шуткам, вызывая недоумение у соседей и у беззвучно крадущегося по коридору стража. Перечитывая получавшиеся от близких

письма, отражавшие далеко не всегда бодрые настроения, часто очень мрачные по своему тону, он считал себя гораздо счастливее их всех. Все мечутся, топчутся в узких переулках жизни без выхода на простор или бьются в одуряющей паутине обыденщины. Если б только они могли заглянуть сюда, проникнуть в его душу и сравнить его теперешнее с прошлым, ну, хоть с казарменным прошлым училища, они неминуемо должны были бы признать, что он что-то нашел и чему-то радуется.

* * *

С января и до середины апреля 1909 года Борис сидит вдвоем снова. На этот раз он сидит вместе с одесским эсером Ф., осужденным за изготовление и хранение взрывчатых веществ. Перешел он к нему не потому, что его стало тяготить одиночное заключение, а исключительно из побуждений человеколюбия. Ф. был одним из тех, кто не был приспособлен, кого каторга за короткое время разбила и физически и нравственно. Он кончал уже свой короткий (2 года 8 месяцев) срок, и как раз последние месяцы перед выходом на поселение давались ему очень тяжело. По его просьбе начальство перевело Бориса к нему в камеру.

Три месяца наблюдал Борис этого побежденного товарища, ухаживая за ним с той мягкой терпеливостью, которая всегда отличала его отношение к больным, слабым и вообще страдающим. На его примере он лишний раз убедился, какое огромное значение для революционера, попавшего на годы в тюрьму, имеет боевое воинственное отношение к этой тюрьме. Он понял, что свое пребывание в тюрьме революционер не должен рассматривать как уход из борьбы, как пребывание в другой плоскости, где неуместны уже ни прежнее одушевление ни пыл борьбы, заставляющий забывать получаемые раны. Тот, кто отходит с этой позиции, погибает. Он может сохранить свою жизнь и здоровье, но он теряет свою цельность, он сдается, а раз сдавшийся уже не боец в будущем. Ф. таким именно был — сдавшимся. В день его ухода на этап Борис писал:

> Тяжело было смотреть на него. Эти $3^1/_2$ года, которые он просидел в тюрьме (из них больше двух лет у нас в крепости), совершенно разбили человека и физически, а главное и в моральном отношении. С одной стороны туберкулез и такая расклейка организма, что маленький нарывчик уже 4 месяца не может зажить (у него оторвана половина кисти правой руки); с другой — совершенно разбитая моральная личность. Со старым он, конечно, не примирится, но нет веры в лучшее будущее. Есть туманное теоретическое признание неизбежности лучшего, но нет уверенности в близком успехе борьбы, нет той веры, которая толкает к действию. А главное, нет страсти... Тяжело смотреть на такого человека.

 *

А я еще помню его в начале 1907 года. Он казался мне таким бодрым уверенным. Ну, меня так не сломает.. Я в этом уверен.

* * *

Опять медленно подбирается к каторжному острову северная весна, опять гонит Ладога гигантские массы льда, с шипом и треском бросая их на каменистый берег...

И опять с весной ухудшается здоровье. Тюремный врач Шапошников, сменивший первого врача, оставившего тюремную службу вследствии абсолютного бойкота его со стороны заключенных, настоял на том, чтобы с больного Жадановского были сняты кандалы. 8-го мая его расковали.

Трудно передать словами то ощущение, какой-то особенной легкости, которое испытывает каторжник, когда с него снимают тяжелую цепь. Долгие годы цепь эта охватывала его ноги, стесняла движения, давила на поясницу, звенела и днем и ночью при сколько-нибудь сильном движении. Он с нею свыкся уже, она как бы вошла в его плоть и кровь, стала неотъемлемой частью его тела, без нее он уже не мыслит себя. И вдруг несколько ударов молотком по зубилу, разлетаются толстые заклепки, и он — уже не он, а совсем другой. Он движется бесшумно, без лязга и звона, тело приобретает новую гибкость и ловкость, а ноги, странно легкие и свободные, почти чужие, без повиновения и пьяно делают смешные шаги. Ноги помнят кандалы много времени после того, как они сняты. На яву, но особенно во время сна, они часто делают те осторожные движения, которые при кандалах были необходимы, чтобы не вызвать сильного нажима или не причинить боли.

По сравнению со многими другими, носившими кандалы и восемь и десять лет, Борис был счастливчиком. В общей сложности в этот период своей каторги он был закован всего в течение двух лет и нескольких месяцев. Но и для него освобождение от цепей стало событием, надолго удержавшимся в памяти. Особенно приятно было чувствовать свободу движений, когда с наступлением тепла опять разрешили работать на огороде.

Среди лета оправдались давно ходившие слухи о высылке беспокойного элемента. Потерпев неудачу в деле создания образцового каторжного режима с тем человеческим материалом, который был прислан в его распоряжение, Зимберг стал большими партиями высылать неугодных ему в различные каторжные централы. Борис в число высылаемых не попал, но многие из тех, с кем он сжился и сдружился за эти годы, были увезены. В третьем корпусе осталось всего 16 человек из прежней компании.

К этому времени относится начало более близкого знакомства с прибывшим в Шлиссельбург еще в средине прошлого года В. О. Лихтенштадтом, знакомства, превратившегося впоследствии в горячую дружбу.

Владимир, как его звала почти вся политическая и уголовная каторга, любимцем и вождем которой он с течением времени стал, был исключительно даровитой и оригинальной натурой. Пылкий и увлекающийся, он в революции принимает участие в рядах максималистов, к которым привлекли его случайные, не идейные связи. Он был арестован в связи с делом Фонарного переулка, но во время заключения в Петропавловской крепости был опознан одним из охранников как участник взрыва на Аптекарском острове. По этому последнему делу он и судился в августе 1907 года и был приговорен к смертной казни, замененной потом бессрочной каторгой. В то время, когда с ним познакомился Борис, Лихтенштадт еще не был тем убежденным марксистом, каким он стал впоследствии. Он только искал еще в области социальных и политических вопросов, тогда как в вопросах философских еще стоял на позициях крайнего индивидуалистического идеализма. Его честное и вдумчивое отношение к идейным противникам привлекло к нему Бориса, часто спорившего с ним во время прогулок и на огородных работах. И взаимодействие этих двух во многом несходных умов оказалось плодотворным для обоих.

Опять потянулись месяцы и месяцы будничной тюремной жизни, наполненной интенсивной духовной работой, но для наблюдающего извне не дающей ничего яркого или просто заметного. Редкие письма домой (в это время разрешалось писать лишь одно письмо в месяц на одном листке почтовой бумаги) наполнены однообразными сообщениями о занятиях, написаны без души, с вечной оглядкой на строгую промежуточную инстанцию. Изредка приходят письма от близких. Они ожидаются с нетерпением, читаются и перечитываются с радостью. Но они редки, эти милые весточки с воли, из другого мира. Часто Борис недоволен ленью и занятостью своих корреспондентов и, теряя обычную сдержанность и холодный тон, он восклицает:

«Если-б вы знали, какое счастье уже держать письмо в руках, еще не зная содержания его. Какое наслаждение перечитать его несколько раз, хотя бы в нем были два слова!.»

На это Рождество была особенно богатая передача, благодаря заботам М. Л. Лихтенштадт, матери Владимира, которая взяла на себя «краснокрестовскую» заботу о шлиссельбургских узниках. Борис даже прибавился на $1^1/_4$ фунта в весе за праздничную неделю, как рассказывал он в письме, восторженно описывая свои «жратвенные» подвиги.

С исключительным интересом он относится в это время к вопросам авиации, засыпая своих корреспондентов сложными техническими вопросами.

IV.

ПОМОЩНИК ТАЛАЛАЕВ.

«Эй, ты...» — Донос. — Приезд инспектора. — Двадцать пять розог. — Дисциплинарный листок. — Доктор Шапошников. — В темный карцер на тридцать суток.

Новый помощник начальника Талалаев с первой же встречи воспылал к Жадановскому лютой ненавистью. При встрече с ним на дворе этот арестант не снял шапки, а когда он крикнул ему вслед: «Эй, ты, как твоя фамилия?» — Жадановский обернулся, презрительно оглянул его и, ни слова не говоря, пошел дальше. Его следовало наказать и наказать хорошо, чтоб в другой раз неповадно было.

Начальник тюрьмы посмотрел на дело иначе и, по мнению Талалаева, просто струсил, отказавшись наказать дерзкого арестанта.

— Новости какие!—ворчал помощник, выходя после доклада из кабинета начальника. — Няньчится с таким паршивцем! Подумаешь, больной, да еще бывший офицеришка, так ему все спускать! Нет, я ему еще покажу!

И, выжидая благоприятного момента, чтобы рассчитаться понастоящему, как он привык в других тюрьмах рассчитываться с непокорными, Талалаев стал мелочно мстить своему врагу. Он не пропускал к нему писем от родных, не заботясь совершенно о поводе для этого, а когда не пропустить было нельзя, неделями задерживал их. Письма, которые писал Жадановский, тоже подолгу лежали неотправленными, и часто самые невинные места в них вычеркивались. Кроме того, Талалаев послал донос в Петербург, обвиняя начальника в потворствовании группе политических арестантов, в результате чего-мол поведение остальных тоже портится. И хотя это «потворствование» происходило с ведома тюремного управления, губернская власть воспользовалась доносом, чтобы навести порядок в тюрьме. Для расправы был послан помощник тюремного инспектора.

Талалаев торжествовал. Его маленькие свиные глазки на жирном, налитом кровью лице горели злорадством. В присутствии начальника он стал жаловаться инспектору на распущенность заключенных в третьем корпусе политических, утверждая, что они там считают себя совершенно безнаказанными и ни в грош не ставят начальство.

— Они даже бойкотируют господина начальника! — воскликнул он.

Начальник должен был признать этот факт.

— Но как вы, начальник, могли это допустить?

Зимберг, весь красный, встревоженный этим неожиданным посещением и тем оборотом, который принимало дело, счел нужным оправдываться.

— Я не раз докладывал и губернскому правлению и инспектору главного тюремного управления о необходимости перевода в другую тюрьму ряда арестантов. Но по представленным мною спискам выслали далеко не всех. В частности, Жадановский такой отчаянный человек, что перевести его в другую тюрьму невозможно: он убежит. Он уже совершил один дерзкий побег с дороги. На этом основании мне и отказали в отправке его в другую тюрьму. Начальник главного тюремного управления поставлен в известность обо всем этом инспектором бароном Мирбахом. Он согласился с предложением барона Мирбаха запереть эту компанию в одиночный корпус, чтобы изолировать их от остальных.

— Хорошо, но они же должны подчиняться правилам?

— Так точно.

— А они подчиняются? Как они ведут себя?

— Особенного ничего замечено не было,—промямлил начальник, чувствуя, что Талалаев его не поддержит.

И Талалаев действительно не поддержал.

— Вы, Василий Иванович, в третьем корпусе почти не бываете,—ехидно заговорил он,—потому, естественно, и не могли наблюдать за их поведением. Я же бываю там каждый день. Шапок по команде не снимают, на поверке чуть не спиной ко мне становятся... Требуют, чтобы надзиратели обращались с ними на «вы»...

— Ого! И вы их за это не наказываете?! Пороть их следует!

— И я то же говорю,—продолжал Талалаев, — но господин начальник имеет свои инструкции. Особенное непослушание проявляет Жадановский...

— Да, да, уже я слышал о нем. Он бессрочный, бывший офицер?

— Так точно.

— Ну, хорошо, я сам с ним потолкую. И чтобы не устраивать громкой истории,—чуть что, газеты подхватят!—мы начнем с него. А потом, постепенно и остальных поставим на свое место.

Инспектор отклонил предложение начальника сопровождать его в третий корпус. С ним пошел один только Талалаев.

* * *

Громкие свистки известили население одиночек о посещении высшего начальства. Услышав свисток, каждый должен был немедленно привести себя в порядок и, вытянувшись, опустив руки по швам, стоять посреди камеры.

Борис в это время сидел у стола и занимался. Он выругался, услышав свисток, осмотрел камеру, нет ли чего на виду,

что могло бы вызвать придирку. «Пожалуй, книг много»,—подумал он и сунул лишние книги под подушку, хотя и знал, что начальство, посещая камеру, любит осматривать арестантские постели. Но другого места не было, а там книги все-таки были не на виду.

Посетители долго в камерах не задерживались. Одна дверь открывалась за другой каждую минуту—две. В двенадцатой камере как раз под ним на первом этаже вышел крупный разговор. Там сидел какой-то «волынщик». Борис слышал, как он несколько раз громко повторил: «Ей-богу не виноват, ваше высокородие!» Начальственный голос раздраженно, уже из коридора, ответил ему: «Ты поговори еще у меня, мерзавец! В карцер его!» Заскрипела и застучала винтовая лестница, соединяющая нижний этаж со вторым. Большинство политических сидело здесь, и Борис сразу же заметил, что заходят не во все камеры.

«Ну, авось и меня минует», — подумал он.

Вот остановились у его двери. Голос помощника произнес многозначительно:

— Вот здесь.

— Ага! Подождите, не открывайте!

Волчек открылся, и чей-то глаз стал внимательно рассматривать его. Борис продолжал сидеть, подняв глаза на волчок и фиксируя чужой глаз так же упорно, как и тот его. Это длилось, как ему показалось, чрезмерно долго. Он почувствовал, что начинает нервничать. Смотрел на него не глаз простого надзирателя, — к этому он привык и не обращал никакого внимания, — а кто-то более сильный и враждебный.

«Наверное, будет история», — подумал он и стал нервно щипать свои усики.

Этот жест, повидимому, раздражил посетителя, и он приказал таким же голосом, каким внизу ответил уголовному:

— Отворите!

Щелкнул замок, дверь отворилась. Надзиратель крикнул:

— Встать смирно!

В камеру вошел незнакомый еще Борису человек среднего роста, в пенснэ, с остроконечной черной бородкой, подергивающейся правой щекой, видимо очень раздраженный. Он был одет в пальто тюремного ведомства, а на руках были белые перчатки. За ним высилась монументальная фигура Талалаева.

Борис медленно встал и, держа одну руку на столе, а другую опустив вниз, т.-е. стоя совсем не «смирно», вопросительно взглянул на посетителя. Того эта вольная поза раздражила еще больше. Он быстро подошел к нему и рукою в белой перчатке снял лежавшую на столе руку Бориса и прижал ее к шву брюк.

— Вот так надо стоять! Это что за поза? — задыхаясь, проговорил он.

Борис сделал большие глаза и спокойно заложил руку за спину.

— Как фамилия?—спросил инспектор.

— Жадановский.

— За что ты осужден?

— Я вам отвечу, если вы спросите меня вежливо.

— Что-о?!

— Я требую вежливого обращения с собой,—громко и отчетливо проговорил Борис.

— Как ты смеешь делать мне замечания! Отвечай сейчас же на мой вопрос. Розог захотел?!

— Розог я не боюсь и с тобой больше я разговаривать не желаю, — ответил Борис, и, повернувшись к оцепеневшему от этой дерзости инспектору спиной, отошел к окну и стал барабанить по подоконнику.

— Господин помощник, я приказываю дать этому наглецу двадцать пять розог.

— Слушаюсь!—радостно рявкнул Талалаев.

* * *

«Ну, вот, Борис, и дождался,—улыбаясь, сказал Борис самому себе, когда дверь в камеру затворилась, и поспешные шаги по балкончику возвестили уход посетителей. — Неужели выпорют? Наверное. Очень уже рассвирепела эта собака. Надо известить товарищей».

Борис, предполагая, что его сейчас заберут, принялся писать товарищам записку, где, рассказав о происшедшем, заявлял, что если к нему применят розги, он немедленно покончит с собой.

В кабинете начальника между тем происходила следующая сцена.

Инспектор, войдя в кабинет, раздраженно сообщил начальнику:

— Я приказал наказать Жадановского розгами. Потрудитесь привести в исполнение.

Начальник пожал плечами.

— Слушаюсь. Только я должен предупредить вас, что Жадановский после этого пойдет на все. У меня был такой случай: наказанный пытался покончить с собой, а затем вызвал надзирателя на стрельбу по нем. Жадановский очень популярен среди заключенных, это выльется в большую историю... Кроме того...

— Ну, что же еще?

— Кроме того, о нем будут писать в газетах. Один раз он заболел, и то писали.

— Так что же, из-за того, что какие-то жидовские газеты будут писать об этом мерзавце, мы должны позволить ему с...ть на нас? Так что ли по-вашему, господин начальник?

Возмущенный грубостью и тоном инспектора, человека всего одним чином старше его и гораздо моложе возрастом, Зимберг раздраженно ответил:

— Ваше приказание исполню, но прошу дать мне письменное предписание. Кроме того, Жадановский болен. Перед наказанием его должен будет освидетельствовать врач. Если врач найдет, что он не выдержит розог... Как прикажете тогда поступить?

— Тогда максимальный срок карцера, но без всяких послаблений.

— Хорошо.

— Кроме того, я предлагаю вам обратить самое серьезное внимание на одиночный корпус. Никаких поблажек. Наказывайте за всякую провинность. И вам, господин помощник, тоже надлежит быть более требовательным.

Талалаев сделал под козырек и с торжеством посмотрел на начальника.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЛИСТОК

Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.

Прием / Камера № 10 «*16*» *сентября* 19*10* г.

1. Фамилия и имя *Жадановский Борис.*
2. Который раз осужден *Первый.*
3. Когда прибыл
4. Когда кончается срок
5. Каким подвергался взысканиям *
6. В чем заключается проступок *При посещении Господином Помощником Инспектора камеры на вопрос за что осужден ответил «попрошу говорить повежливее и обращаться на «вы» когда Господин Помощник Инспектора сказал «без замечаний» Жадановский ответил «я не желаю с тобой разговаривать».*

Заключение помощника начальника. *По приказанию Господина Помощника Инспектора 25 розог при заключении врача в противном случае месяц темного карцера* **.

И. об. пом. нач. Талалаев.

Резолюция Начальника Тюрьмы

. . . .

---

* Графы 3—5 не заполнены в подлиннике.

** Знаки препинания отсутствуют в подлиннике.

В таком виде дисциплинарный листок был представлен Талалаевым. Перед тем, как написать свою резолюцию, начальник пригласил к себе врача. Тот прочел и мрачно взглянул на Зимберга.

— Ну, что вы скажете, доктор?

— Что же, вы наказывали розгами и более больных, чем Жадановский.

— Кого же?

— Ну, хотя бы Богданова. У него был порок сердца, и, хотя после розог ничего не случилось, но если бы вы меня перед тем спросили, я решительно возражал бы.

— Но Левченко сказал, что можно. Вас тогда не было, а отложить было нельзя, его нужно было сдать конвою.

— Левченко—простой ротный фельдшер и в таких вопросах совершенно некомпетентен. Но это дело прошлое. Что касается Жадановского, то у него сердце здоровое, под розгами он не умрет, конечно... Но у него наклонность к туберкулезу, он, кроме того, истощен, нервная система... Если вы не настаиваете на розгах, я бы высказался за темный карцер. Хотя для его здоровья карцер несравненно опаснее. Но, вы понимаете, к такому человеку розги применять... это, пожалуй, варварство. Убивать его карцером... гм... более человечно!

— Я на эту точку зрения не имею права вставать. Жалости у меня к Жадановскому нет, она неуместна. Мне все равно, умрет он под розгами или в карцере. Мне приказано наказать, и я накажу. Наказать его вообще необходимо. Но карцер спокойнее... тише. Поэтому, если вы находите, что как легочному больному... Одним словом, напишите, что розги применять нельзя, только совершенно категорически напишите, чтоб ко мне потом не придрались.

Врач взял перо, но перед тем, как сделать надпись, он с улыбкой взглянул на начальника и спросил:

— Вы и к Сперанскому не чувствовали жалости, Василий Иванович?

— Нет. Из-за Сперанского я имел неприятности. К счастью, его от меня убрали. Но если б Жадановского можно было наказать без шума, я это сделал бы. Политические, по-моему, хуже уголовных. Я убедился, что на них действуют только самые серьезные наказания. Политический становится хорошим арестантом только когда мы его сломаем.

— И вам удается ломать их?

— Да, некоторых... Не сразу... Но нам мешают газеты, запросы в Думе. Если б ничто не выходило за эти стены, я всех их сломал бы, или...

— Или убили бы?

Начальник ничего не ответил. Врач написал свое заключение на самом дисциплинарном листке:

«Вследствие легочной чахотки не может быть подвергнут телесному наказанию. Вр. В. Шапошников».

Тогда и начальник заполнил последнюю графу:

«В темный карцер на один месяц. И. об. Начальника тюрьмы Зимберг».

Он вызвал Талалаева и, подав ему листок, приказал:

— Исполните. Листок к делу.

— В какой карцер посадить?

— В какой хотите.

Оставшись один, Зимберг криво улыбнулся и подумал:

«Этот Талалаев хочет сесть на мое место. Посмотрим. А Жадановского надо убрать, сломить его нельзя. Пусть другие с ним разделываются».

И через несколько дней тюремный врач, после предварительного совещания, пишет ему «отношение» о том, что в последнее время в состоянии здоровья арестанта Бориса Жадановского наступило «значительное ухудшение». «По течению болезни в настоящее время можно предположить присутствие в легких туберкулеза», — писал он. И с несомненной иронией, оставшейся, повидимому, непонятой начальником продолжал: «Развитие легочного процесса я ставлю в зависимость от более сурового местного климата, к которому Жадановский как уроженец южной полосы России не мог привыкнуть в течение четырехлетнего пребывания в Шлиссельбургской каторжной тюрьме». Из этого врач делал вывод о необходимости перевода его в одну из южных тюрем России.

27 сентября за № 2155 идет в губернскую инспекцию рапорт начальника, в котором, ссылаясь на отношение врача, он *покорнейше просит* перевести Жадановского в другую тюрьму.

Но инспекция хода этому рапорту не дала. Должно было пройти еще два года, прежде чем удалось Зимбергу сбыть с рук неукротимого арестанта.

V.

В СВЕТЛИЧНОЙ БАШНЕ.

Темный карцер. — Кругосветное путешествие. — Холод и голод. — За что сажали в карцер. — Стенные надписи. — Карцерная поэзия. — На прогулке. — Васька Калинин, рецидивист. — В чем «политики» согрешили.

Талалаев, войдя в камеру Бориса, не сказал ему о том, что телесное наказание заменено карцером. Он хотел продлить по возможности больше времени то мучительное ожидание грядущего ужаса, которое, он знал, должен был испытывать полити-

ческий. Этот толстокожий зверь достаточно ясно понимал, что розги для политического гораздо страшнее карцера. Но он не мог понять спокойствия Бориса, того полного отсутствия страха, которое вместе с презрением он прочел в его глазах, когда предложил ему идти за собой. Жадановский даже не спросил, куда идти. А просто надел шапку и вышел в коридор.

Его привели во второй корпус, а оттуда какими-то мрачными переходами по каменным кривым лесенкам и узким коридорчикам ввели в Светличную башню. Хотя в этой части крепости он ни разу не был, но знал, что тут расположены карцера. Пороли не здесь. Это сразу успокоило его, и он даже почувствовал некоторое удовлетворение при мысли, что они не осмелились-таки применить к нему розги.

Здесь его тщательно обыскали, отобрали шапку, портянки, теплое белье, ремешок, поддерживавший брюки, носовой платок и даже галстух. Талалаев, ухмыляясь, смотрел на эту церемонию. Он выбрал для Бориса самый сырой и холодный карцер и заранее предвкушал, какие муки холода и голода будет испытывать в этой ужасной норе его истощенный и болезненный враг.

Дверь карцера закрылась, и Борис остался один. Ощупью отыскал он невысокий деревянный топчан, предназначенный для лежания, и сел на него, чтобы привести в порядок свои мысли. У него уже не оставалось сомнения в том, что он наказан карцером. Максимальный срок карцера по инструкции, он знал, не должен превышать тридцати суток. Ясно было, что на меньший срок посадить его не могли. Провести 30 суток здесь, питаясь двумя фунтами хлеба в день и лишь через каждые трое суток на четвертые получая обычную горячую пищу,—перспектива не блестящая для кого угодно. Для него же, казалось ему, такой карцер равносилен смертному приговору. Уже и сейчас, всего через несколько минут после того как его ввели сюда, холод и сырость стали проникать в его грудь, мелкая влажная дрожь стала пробегать по всему телу. Ноги без портянок, обутые только в коты, заледенели. Он поджал их калачиком под себя.

— Негодяи, чорт бы их побрал! — громко выругался он, но его голос точно не отошел от тела и каким-то странным, чужим звуком вернулся в уши. Он рассмеялся. Ему вспомнилось, как когда-то кадетом он говорил, стараясь басить, в фонограф, и когда аппарат потом вернул ему голос и его слова, они показались такими же чужими и незнакомыми, как сейчас. И мысли, точно радуясь открытому шлюзу, потекли в прошлое, в юность, в детство.

— Стоп, машина! — сказал он через несколько минут. — Надо бережно расходовать свой капитал воспоминаний, а то нечем жить будет. Займемся лучше кругосветным путешествием.

Он вытянул руки в липкую густую тьму и принялся отыскивать дверь. Это было нетрудно. Перехваченная струйка

чистого воздуха сразу указала направление. Возле двери нога нащупала парашу — большое зловонное ведро. Неровные шероховатые стены были сыры. На полу была густая клейкая грязь. В углу он наткнулся на трубу парового отопления, совершенно холодную и мокрую, вызвавшую в нем ощущение терпкой ржавости. Вернулся к своему ложу. Кругом была тишина в полном смысле слова мертвая. Совсем не та звонкая тишина, какую часто ему приходилось слушать в одиночном корпусе. У той тишины был резонанс, отзывчивость на всякий звук, на всякий шорох. Здесь была тишина могильного склепа, непроницаемая, весомая, материальная.

— Д-да, брат, это можно сказать карцерок! Прямо средневековьем каким-то пахнет, — прошептал Борис, свернувшись в комочек, чтобы сберечь тепло.

Потянулось время, сплошное, не деленное на часы, тягучее как резина. Борису казалось, что давно уже ночь, когда он услышал глухой стук отпираемых дверей и шагов. В коридоре щелкнул выключатель, и на потолке над его головой загорелась тусклая электрическая лампочка. Открылась дверь карцера, и в нее заглянула злорадно улыбающаяся рожа Талалаева.

— Как здесь, не жарко? — спросил он.

Борис ничего не ответил, хотя чувствовал страшное желание обругать помощника последними словами, как ругаются уголовные. Он понял в эту минуту, что грязные и вульгарные ругательства, давая выход бессильной ярости, могут, действительно, облегчить человека. По крайней мере, полного удовлетворения презрительное молчание, которым он ответил помощнику, ему не дало. Оставалось сознание, что презрение могло пробить эту броню тупости и подлости только в том случае, если оно выражено в понятных и действительно оскорбляющих его словах.

Дверь захлопнулась под грубый хохот надзирателей, электричество погасло. Было всего около 8 часов вечера.

Ночь проходила без сна почти. Раз или два Борис забылся коротким сном. Кошмарные причудливые образы окружали его, вокруг него танцовали костлявые скелеты с громким сухим стуком, обжигая тело жесткими ударами розог. Он просыпался с заглушенным стоном, с телом, полным ноющей боли от жесткости деревянного ложа, от неестественной позы, от страшного холода. Приходилось соскакивать на пол и бегать по тесному пространству карцера, чтобы согреться. Это было настоящей пыткой.

Но физические мучения даже в малейшей степени не действовали на его нравственное состояние. Сознание собственной несломчивости, уверенность в силе собственной воли облекали эти страдания анестезирующими покровами, оставлявшими нетронутым дух.

О том, что настало утро, сказал ему приход заведывающего карцером отделенного надзирателя, принесшего хлеб и кружку

с холодной водой. Хлеб был съеден задолго до вечерней поверки. Этот большой ломоть таял во рту с какой-то сказочной быстротой. Ощущение насыщения при полном отсутствии всяких иных впечатлений обострялось чрезвычайно. Ничто не отвлекало от мыслей об еде, и еда становилась невольно главным интересом карцерной жизни. Вечером страшно хотелось есть. Но даже крошки были уже подобраны. А между тем обычно Борис никогда не съедал своего хлебного пайка. На второй день он уже стал как праздника ждать наступления четвертого дня, в который полагался перерыв темного карцера, давался свет и горячая пища.

— У нас здесь нет светлых карцеров, — ответил отделенный, когда Борис к концу третьих суток напомнил, что его следует перевести в другой карцер. — Но вам дадут свет, т.-е. лампочку зажгут... На прогулку тоже пустим.

— Да ведь электричество не весь день горит. Что же я в темноте и обедать буду?

— Что же делать? Это не от нас зависит. А как хотите горячую пищу получить — с вечера или уж завтра весь день?

И на недоумение Бориса отделенный пояснил:

— Полагается, чтоб сегодня вам дать ужин, а завтра обед. Только все, кто с вечера сидят, наперед меня просят, чтоб считать светлый карцер с утра. Сытнее, говорят, если в один день обед и ужин. А мне оно все едино.

— Ну, так и мне, пожалуйста, в один день дайте. Только свет сегодня уж на ночь откройте.

— Ладно, — и он тут же открыл выключатель, хотя энергия еще не была подана.

Вечером отделенный принес ему кипяток, не в счет, как он сказал, чтобы согреться.

Борис залпом выпил всю кружку, обжигая рот и горло, и, действительно, согрелся до испарины. Сразу прекратилась мучительная мелкая дрожь, все время бившая его, и нестерпимо захотелось спать. И он заснул, свернувшись по обычаю клубочком, стянувши на низ брюки, чтобы они закрывали голые ноги, и накрывшись с головой бушлатом, ибо опыт научил его, что надетый в рукава бушлат согревает гораздо хуже, чем накинутый сверху. Впервые за трое суток он спал несколько часов кряду крепким и спокойным сном. Не слышал даже, как приходила проверка.

* * *

Всю ночь и все утро горел у него в карцере благодетельный свет. При этом свете он обнаружил на стене несколько надписей, выцарапанных каким-то острым предметом. Большей частью это были сообщения, кто, на сколько суток, когда и за что сидел здесь. Провинности были самые разнообразные, отра-

жавшие собою весь арестанский быт. Чаще всего повторялось — «за то, что обругал...» Ругал же арестант чаще всего младшего надзирателя, гораздо реже ругал отделенного, совсем редко старшего и всего один раз помощника. Обругавшие начальника в этом карцере не сидели, очевидно, случайно. В соответствии с чином обруганного назначалось и наказание: трое и пять суток за младшего надзирателя; неделя и десять суток за отделенного и старшего; месяц за помощника. Вторая большая категория карцерников были испортившие казенное имущество. Один отрезал кусок от одеяла, — очевидно, он был малого роста и мог сделать это без ущерба для себя, — чтобы сделать себе набрюшник; другой перешил не по форме казенные брюки; третий, работавший в швальне, не сдал обрезков сукна, а сделал из них себе подкладку на подкандальники, при чем тут же пояснил: «по случаю ревматизма». Наказание за такого рода провинность назначалось всегда на срок от одной до двух недель. Один из этой категории особенно насмешил Бориса; он использовал казенную портянку «по случаю» сильного расстройства желудка и жалобно доказывал, что не его вина в этом, а «сучьего начальства». «За драку» сидело тоже много. Один бесстыдно сознавался: «побил б...ь Кольку за то, что другим давал за осьмуху (махорки), а с меня хотел две». Это открытое и циничное признание в педерастии вызвало у Бориса чувство возмущения. Он даже затер эту надпись.

Были и надписи политические. «Анархия — мать порядка. Смерть тюремщикам!» — изобразил какой-то анархист. «Долой самовластие»; «Долой власть капитала»; «Да здравствует социализм»; — подобные надписи встречались в значительном количестве.

Были и стихи. Арестант не может не посантиментальничать. Большая часть этих стихотворных надписей была позаимствована из различных песен уголовного мира, но попадались и оригинальные, повидимому, сочиненные самими же писавшими. Некоторые из них Борису понравились. Он заучил их и по выходе из карцера записал в свою тетрадь. Из-за несовершенства их формы и заученности содержания сквозило подлинное чувство страдающих за идею людей, прозревающих из карцерного мрака светозарные дали грядущего.

Один поэт печатными буквами выцарапал:

Здесь толстые стены тюрьмы,
Здесь холод, и голод, и мрак...
Но с гордыми душами мы,
Свобода наш чудный маяк.

Другого Борису очень хотелось поправить, так как рифма у него была лучше выдержана но сильно хромал размер, и было много грамматических ошибок.

Не рыдайте, друзья, не рыдайте,
Что он гибнет в цепях и в тюрьме.
Но смело дело его продолжайте,
Зажигая свободу во тьме.
Не молитесь о нем в лживых храмах,
Не творите поминки по нем,
И не думайте вовсе о тех ранах,
Которые можно вылечить только огнем.
Но берите оружие в руки,
Мстите беспощадно врагам,
Кровью их залейте народные муки,
Братство будет наградою вам.

Жертвенное настроение и жажда мести вообще характерны для тюремной поэзии. Эту истину Борис успел узнать и раньше, часто выслушивая произведения поэтов третьего корпуса, очень ценивших его мнение. Он только возражал всегда против излишней кровожадности, портящей стихи.

— Уверяю вас, — говорил он таким поэтам, — если вы меньше будете писать в стихах такие выражения, как «кровью зальем» или «вырежем всех врагов», ваши стихи будут гораздо лучше. Ведь это же все деланно. Вы никого резать не будете только потому, что хочется вам сейчас «попить и ихней крови». Оттого и нет в ваших стихах подлинной поэзии узника.

Но теперь, читая на стенах эти примитивные стихи, совсем в духе тех, которых он не одобрял, он находил их уже не столь деланными. Испытываемая им пытка поднимала со дна его души то действительно беспощадное чувство к врагу, которое дремлет в самом культурном человеке. Его до сих пор более или менее абстрактная, идейная, так сказать, ненависть к существующему строю облекалась плотью, он чувствовал уже живую, действенную ненависть к людям, являющимся перед ним носителями этого строя и терзающим его душу и тело. Абстрактный враг принимал вид Зимбергов, злобно издевался над ним в лице Талалаева, умерщвлял его в карцере, приговаривал к розгам. В эти минуты он чувствовал себя способным на самую дикую жестокость, и карцерная поэзия вполне гармонировала с его настроением.

Третий поэт, но возможно, что это был первый, занял несколько квадратных аршин. Это был, несомненно, человек, могущий написать целую поэму. Он ухитрился принести с собой в карцер карандаш и написал массу виршей. Борис запомнил из них следующие стихи:

Остров каменный, остров угрюмый,
Остров пыток и муки людской,
Стал священной могилой ты многих,
Павших ради идеи святой.
Мы пришли в твои страшные тюрьмы,
Чтобы новую жертву отдать,
Чтобы юною жизнью своею
Ненасытную пасть напитать.

Еще многих он, знаю, погубит,
Еще много он лет простоит,
Но великое дело свершится
И твердыню его сокрушит.
В гневе встанут народные волны,
Революции гром загремит,
И над островом слез и мучений
Гимн свободы святой прозвучит.

Сбоку квадрата, занятого неизвестным певцом Шлиссельбурга, какой-то деловой человек сообщал:

«Смотри: Перо затырено, куда г...о валишь. Помни Митьку Кривого Х...»

Борис посмеялся над этим сообщением и решил поискать тот нож, о месте нахождения которого столь лаконически сообщал неприличный Митька. На другой день, после того как содержимое парашки было вылито, он перевернул вверх дном этот сосуд и, действительно, нашел небольшую остро наточенную стальную пластинку, прилепленную хлебным мякишем к нижнему ободу.

* * *

Над изучением стенных надписей незаметно пролетел остаток ночи.

Утром опять согрелся двумя кружками кипятка и сразу съел половину выданного хлеба: экономить не было нужды, так как впереди был еще обед и ужин. Перед самым обедом дали шапку и вывели на прогулку.

Дневной свет невыносимо резал глаза. Голова кружилась, и ноги подкашивались. Но какое наслаждение это было — дышать свежим чистым воздухом. Прогулка происходила на том узком пространстве, которое отделяло двухъэтажный второй корпус от четырехсаженной наружной стены. Клочок серо-голубого неба с мчащимися по нему облаками казался дивной картиной, а доносившийся из-за стены шум волн звучал как музыка. Борис знал, что в прежние времена на этом дворе совершались казни, здесь где-то у стены был похоронен Балмашев. Никаких следов этой могилы, конечно, не сохранилось. На дворе в виде длинного и узкого овала была выложена из кирпича прогулочная дорожка и стояли две скамейки. Борис быстро ходил, почти бегал по дорожке, стараясь возможно больше поглотить кислорода. Пятнадцать минут, отмеренных для прогулки, скоро пролетели. И снова назад в промозглый мрак. А все-таки этот день был праздником!

* * *

На девятый или на десятый день судьба послала ему компаньона. В соседний карцер посадили какого-то закованного в кандалы арестанта. Когда его в коридоре обыскивали, он жалобным тонким голосом все время оправдывался:

— Господин старший, ей-богу не я взял. Господин старший, за что же меня-то в карцер? Да я и вкуса политурки этой не знаю. Я близко к ней не подходил.

— Ладно, поговори у меня, — спокойно отвечал приведший его старший. — И сейчас от тебя ей воняет, а говоришь, не брал, сволочь! Ну, иди... иди же, я тебе говорю... Ах, ты!

Послышался удар, несколько неровных звяков кандалов, падение человеческого тела и истошный крик, скорее визг:

— Ай, убил!... Ай, ай, ай!... Шею сломал!... Ай, ай!... Доктора!... Ай, Ай!...

Возмущенный Борис подскочил к двери и крикнул:

— Как вы смеете драться! Позовите сейчас же начальника!

— А ты сиди себе там, — подойдя к двери, ответил старший. — Врет он все, гадина!

— Позови начальника, негодяй! — изо всей силы закричал Борис и принялся стучать в дверь ногой.

— Ну, потише, потише.... Тоже начальника беспокоить тебе буду, — ответил старший и ушел.

Борис продолжал стучать в дверь.

Но лишь только захлопнулась дверь коридора, отчаянный визг прекратился, и послышался голос:

— Эй, братишка, брось стучать, довольно!

Голос был совершенно спокойный и вовсе не напоминал того визга страшной боли, который за секунду перед тем исходил, повидимому, из того же самого горла.

Борис опешил.

— Надо же вызвать кого-нибудь. Он вас сильно ударил?

— Он-то? Старший? Да нешто он умеет бить? Вот я бы его двинул, так он не встал бы, мать его...

— Так чего же вы так кричали?

— А покуражиться надо.... А потом, может, пожалеет, что зря изобидел человека, хлеба больше даст.

Борис захохотал. Сосед его, сначала изумленный, молчал, а потом стал и сам подхохатывать.

Так они завязали знакомство — Борис Жадановский, политический, и Васька Калинин, уголовный рецидивист. Время потянулось быстрее, и неделя, которую Васька провел в карцере в воздаяние за то, что вылакал политуру в столярной мастерской, где он работал, пролетела гораздо быстрее, чем первые дни. Васька впервые познакомил Бориса с тем уголовным миром, вблизи которого он до сих пор жил, но в настоящее соприкосновение с которым не вступал еще. Васька пел похабные песни, рассказывал грязные истории, якобы, из собственных похождений, а Борис с любопытством слушал, стараясь проникнуть в психологию этих людей. Васька же, наоборот, Бориса не слушал.

— Политика нас не касается, — говорил он вежливо, но вовсе не скрывая своего отрицательного отношения к политике и к политическим.

Как и все уголовные он ставил в вину политике то обстоятельство, что после 1905 года резко ухудшился режим во всех тюрьмах, и в этом он, конечно, был прав. В прежние времена тюрьма, особенно сибирская тюрьма, была раем для «настоящих» уголовных, для «иванов», к которым причислял себя и Васька. Другой зуб против политических заключался в том, что «политика» будто бы убила многих уголовных во время революции и, следовательно, она такой же враг их, как полиция, следователи и судьи. В этом Борис считал Ваську неправым и положил много усилий на то, чтобы доказать ему ошибочность такого взгляда. Он читал Ваське, как впоследствии многим уголовным, среди которых ему приходилось сидеть, целые лекции на темы о том, что такое, с точки зрения политических, преступники, каковы причины преступности в современном обществе, как следует бороться с преступностью и т. д. Васька слушал. Он, несомненно, понимал все, что ему рассказывалось, но понимал он только поверхностно, верхним разумом, а в глубине своей уголовной души не верил ни на грош в осуществимость этих прекрасных теорий. И это неверие однажды вылилось у него в форме следующего цинического утверждения:

— Эх, брат Борька, — (надо заметить, что Борис с ним не фамильярничал), — хороший ты парень, хоть и политик... Но только послушай меня: ни х... не выйдет из этого. Наш брат работать не будет, иначе как в тюрьме от скуки да для политурки, вот как я. Я первый на воле пришью тебя, если у тебя будет сто рублей в кармане, а работать не стану. Это не жизнь, а одна....

И он стал давать такие грязные определения социалистическому строю, что Борис, оскорбленный в своих лучших чувствах, целый день после того с ним не разговаривал и переложил гнев на милость только тогда, когда Васька торжественно обещал ему держать свой «блатной» язык на привязи. Расстались они друзьями.

Последние дни своего карцерного месяца Борис провел в большой компании. Карцеры наполнились все, и даже бывало, что в одном карцере сидели по двое.

Вышел он из карцера истощенный и ослабевший в высшей степени, но, к собственному удивлению, на ногах все-таки держался. В третий корпус его не вернули, а посадили во второй, откуда через день врач взял его в больницу на поправку. «Поправка» заключалась в больничной пище, не особенно отличавшейся от обычной корпусной, и в продолжительных прогулках.

VI.

В ИЗОЛЯЦИИ.

Не исправился. — Последняя стычка с Талалаевым. — Письмо начальнику. — Как Зимберг оправдывался. — Во втором корпусе. — В околотке. — Занятия. — Смерть отца. — Старший Дергачев. — «Никаких обещаний!»

1-го ноября он был опять во втором корпусе.

В этот день Талалаев пришел в кабинет начальника тюрьмы и, криво улыбаясь, поставил ему вопрос:

— Не считаете ли вы необходимым убедиться, какое действие оказал карцер на Жадановского?

Начальник поморщился.

— Если вы считаете это необходимым, пожалуйста, — ответил он ему.

— Хорошо, сегодня я буду во втором корпусе.

Талалаев вызвал к себе отделенного второго корпуса и приказал сообщить ему, когда та камера, в которой сидит Жадановский, пойдет на прогулку.

Через час перед начальником лежал «Дисциплинарный листок», в котором (графа 6. В чем заключается проступок) рукою Талалаева было написано:

Во время выхода на прогулку группа арестантов шла по коридору в шапках на мое замечание все арестанты шапки сняли и ответили на приветствие кроме Жадановского который даже на повторенное замечание снять шапку не обратил никакого внимания а также не снял ее и для приветствия *

Талалаев

Заключение Помощника Начальника: *полагал бы на две недели в темный карцер*

Талалаев

Резолюция Начальника тюрьмы: *В темный карцер на две недели.*

И. об. Начальника тюрьмы Зимберг.

Борис пошел в карцер с улыбкой. Вышел из него и на этот раз совершенно разбитым физически, но попрежнему веселым и бодрым.

* * *

Несколько раз после этого Талалаев искал случая придраться к Жадановскому, но делать это без явной и слишком грубой провокации ему не удавалось. Начальник же не желал, чтобы в тюрьме говорили о «преследовании». Талалаев отыгрывался на том, что не пропускал писем Борису, и ждал случая.

---

* Знаки препинания отсутствуют в подлиннике.

Такой случай представился 29-го декабря. Талалаев случайно, якобы, встретил Жадановского, когда он в сопровождении надзирателя возвращался в корпус с приема врача.

— Смирно! Шапку долой! — скомандовал надзиратель.

Борис, не обращая внимания ни на эту команду, обычную при встречах арестантов с начальством, ни на остановившегося помощника, продолжал идти.

— Стой! Шапку снять! — крикнул Талалаев, преграждая ему дорогу.

Надзиратель вторично гаркнул:

— Смирно! Шапку долой!

— Я без шапки ни перед кем стоять не буду. Когда со мной здороваются, я отвечаю на приветствие.

— Ты — каторжный и обязан подчиняться команде, — закричал Талалаев.

— Не всякой команде... А с теми, кто ко мне обращается невежливо, я вообще разговаривать не желаю.

— Нет, ты будешь со мной разговаривать.

Нет, не буду.

— Так ты подчиняться не хочешь? Да я тебя, мозгляк, одной рукой раздавлю! — и он поднял руку.

Борис презрительно засмеялся.

— Дурак, нашел, чем хвастаться — своим жиром, — ответил он, глядя снизу вверх прямо в глаза негодяю.

Перед властной силой этого взгляда Талалаев был вынужден признать себя побежденным. Он побледнел, опустил руку и побежал в контору, бессвязно изрыгая ругань и угрозы.

В «Дисциплинарном листке» он изобразил:

6. В чем заключается проступок: *при встрече со мной, на команду надзирателя снять шапку два раза демонстративно шапки не снял; на мой вопрос, почему он не снял шапки, заявил «попрошу говорить на «вы» иначе я не желаю разговаривать»*

Талалаев.

Заключение Помощника Начальника: *В виду того, что Жадановский упорно не желает снимать шапки именно передо мной, полагал бы на 1 месяц темного карцера.*

Талалаев.

Резолюция Начальника тюрьмы: *в темный карцер на две недели.*

И. об. Начальника тюрьмы Зимберг.

Начальник не согласился с заключением Талалаева и объяснил ему:

— Вы ошибаетесь, Жадановский не только перед вами не снимает шапки, но и передо мной тоже. И перед самим начальником тюремного управления не снимет и даже... перед госу-

дарем. Поэтому я назначил ему только две недели. А кроме того, вы знаете, он, пожалуй, и этих двух недель не выдержит. Я не хотел бы, чтобы такой заметный арестант умер у меня в карцере. Когда вы будете сами начальником, вы можете его хоть год держать.

Талалаеву возражать не приходилось, и Жадановский пошел в карцер всего на две недели. Вопреки опасению начальника, он вышел из него живым и даже до известной степени здоровым.

Как этот хрупкий, в конец истощенный организм выдерживал такие страшные испытания, уму непостижимо. Сильные, пышущие здоровьем люди, в этих карцерах вяли как цветы от заморозков. Из карцеров Светличной башни они уносили злую скоротечную чахотку, от которой ничто не могло спасти. И умирали, увеличивая на Преображенском кладбище и так не малое уже число черных безыменных крестов. А Борис, выйдя из карцера, выпрямлялся как стальная пластина и, казалось, испускал вокруг себя лучистую волю к жизни и к борьбе. В нем дух господствовал над телом.

* * *

А в то время как Борис — и не один Борис, а с ним многие товарищи его по Шлиссельбургской тюрьме — ведет эту героическую борьбу за честь и достоинство революционера, в кругу близких его на воле царит мука и скорбь — от неизвестности о судьбе милого, бесконечно любимого, страдающего и, может-быть, гибнущего,

Петр Андреевич Жадановский, в это время уже инженер-подполковник, долго колебался прежде чем написал письмо мучителю своего сына. Из писем Бориса он уже знал, что представляет собой этот «гуманный тюремщик», и понимал, что с его стороны было бы изменой сыну обращаться к этому патентованному злодею с мольбой или даже с простой человеческой просьбой. Да и какой ответ мог бы он получить от него, кроме сухой и лживой отписки? Он откладывал с недели на неделю, со дня на день, и в конце, уступая просьбам своей жены, написал — сухо и официально:

Начальнику Каторжной тюрмы

в гор. Шлиссельбурге.

Не получая никаких известий в течение четырех месяцев от сына моего Бориса Жадановского, находящегося в числе политических, заключенных во вверенной Вам тюрьме, и не зная, что с ним и где он и получил ли посланные ему деньги 3-го сентября 11 руб. и 2-го ноября 11 руб. — я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой сообщить мне о сыне моем следующие сведения: 1) Находится ли он в Шлиссельбурге, 2) В каком состоянии его здоровье, 3) Получил ли он высланные ему деньги 22 руб. и 4) Почему он не писал до сих пор домой.

В ожидании скорого ответа остаюсь

Инженер-Подполковник Петр Жадановский.

Начальник тюрьмы, получив это письмо, велел подшить его к делу, а вместо всякого ответа послал родителям Жадановского справку от канцелярии о заприходовании на имя арестанта 22 руб. в два срока. Мелкая душонка сатрапа тешилась теми страданиями, которые неподвластным ему людям нес его ответ. Он не думал, что эта ненужная жестокость может ему причинить какие-либо неприятности.

Однако, неприятность случилась. В «Деле Шлиссельбургской каторжной тюрьмы об арестанте Борисе Жадановском. № 10» сохранился черновик рапорта в Петербургскую тюремную инспекцию, написанный рукой самого Зимберга, в котором он пытается объяснить свое поведение. Запрос инспекции был вызван прошением О. Н. Жадановской, адресованным, повидимому, петербургскому губернатору. Вот, что отвечал начальник:

> Представляя при сем прошение жены Подполковника Ольги Жадановской, доношу Губернской Тюремной Инспекции, что сын ее Борис Жадановский содержится во вверенной мне тюрьме, здоровье его с самого поступления во вверенную мне тюрьму слабое и он содержится в камере для предрасположенных к заболеванию туберкулезом. Означенный арестант за неподчинение тюремным правилам подвергался дисциплинарным взысканиям — содержанию в карцере * и потому на основании п. 15 правил о порядке содержания каторжных арестантов он не мог пользоваться правом переписки. Что же касается указания Ольги Жадановской на то, что запрос мужа ее о сообщении сведений о состоянии здоровья сына оставлен мною без ответа, то я считаю себя не в праве вступать с родными арестантов в переписку и сообщать им какие-либо сведения об арестантах. От канцелярии тюрьмы была послана только справка о поступлении денег на имя арестанта Жадановского.

Неприятность для Зимберга заключалась в том, что высшее начальство опять обратило внимание на этого арестанта, от которого оно упорно не желало его избавить, и тем самым заставляло его ставить Жадановского на особое положение. С другой стороны, он далеко не был уверен, что начальство одобрительно отнесется к той грубости, которую он проявил в отношении подполковника, имевшего несчастье вырастить сына, содержащегося во «вверенной» ему тюрьме.

Надо думать, что именно последствием этой переписки было то, что Бориса оставили в покое. Возможно, что и начальство посоветовало Зимбергу особенно сильно на него не налегать. Кроме того, Талалаев вскоре проворовался и был убран куда-то из образцовой Шлиссельбургской тюрьмы.

---

* После слов «содержанию в карцере» в черновике следуют зачеркнутые слова: «но не был лишен переписки и потому два его письма не были пропущены вследствие сообщения сведений, не подлежащих пропуску и критикующие»... Очевидно, Зимберг счел нужным сослаться на правила для того, чтобы не представлять по начальству этих не пропущенных писем.

Сначала Борис сидел в 12 камере второго корпуса, но затем его перевели в 11 камеру. Жилось во втором корпусе очень плохо. Здесь содержались преимущественно долгосрочные каторжане и, главным образом, такие, пребывание которых в остальных корпусах начальство считало нежелательным. На работы, даже хозяйственные, отсюда не выпускали никого. Прогулка ограничивалась 15 минутами в день на том маленьком дворике, на который Бориса выводили гулять в дни его светлого карцера. Камеры были маленькие, сырые и полутемные, и в эту суровую зиму арестанты сильно в них мерзли. К счастью, в книгах не стесняли. Из семи сокамерников Бориса четыре человека совершенно не интересовались чтением, и на их имя всегда можно было выписывать из библиотеки нужные книги. С остальными тремя Борис занимался разными элементарными предметами. Сам же он возобновил свои прерванные карцерами занятия математикой.

Несмотря на то, что он жил теперь в общей камере и, следовательно, постоянно был на людях, он больше чем в одиночном корпусе чувствовал себя одиноким. Новые товарищи его хотя и были славные люди и относились к нему как нельзя лучше, но не было у него с ними того товарищеского равенства, которое одно в тюрьме создает возможность глубокого, не формального, общения. Люди, с которыми он сжился и духовно сроднился, были частью разосланы в другие тюрьмы, частью находились в том же Шлиссельбурге, но сидели в других корпусах или в том же корпусе, но в других камерах, при чем даже с этими последними ему очень редко и только случайно удавалось обмениваться маленькими «ксивами» (записками). О ближайшем своем друге — Лихтенштадте он знал только, что тот, в свою очередь отбыв карцерную повинность, находился в одной из общих камер первого корпуса среди уголовных и аграрников. «Иногда расстояние в несколько шагов значительнее 1500 верст», — писал он в одном из своих писем к сестрам, спрашивавшим у него адрес Марины Львовны, матери Владимира.

* * *

22-го мая он сообщал о некотором улучшении в своей судьбе:

Дорогие мои! Я здоров. Сижу попрежнему в общей камере. Сокамерники изредка меняются, но в общем однообразное течение нашей тюремной жизни ничем не нарушается. Я, попрежнему, немного занимаюсь английским языком и математикой и, кроме того, занимаюсь с другими — это дает мне большое удовлетворение. Я сижу в камере, отведенной специально для грудных больных, и, по сравнению с другими, мы пользуемся привилегией спать весь день. Гулять

теперь приходится, конечно, гораздо меньше, чем в прошлом году, не удастся в этом году возиться с цветами, о чем, конечно, приходится пожалеть. Погода у нас хорошая — целый бы день сидел на дворе. Вообще зимой всегда легче сидеть в тюрьме, чем летом Тянет, тянет из камеры. Впрочем и зимой тянет.

Эта камера для грудных больных вскоре была переведена в помещение больницы и переименована в околоток. Заключенные в ней получали больничную пищу, им давалась более долгая прогулка. Затем Борис был переведен вместе с двумя другими каторжанами в маленькую одиночного типа камеру при больнице, предназначенную для изолирования заразных больных. В этой камере он сидит еще в феврале 1912 года, но уже не втроем, а вдвоем. К этому времени начальство совершенно примирилось с его неисправимостью и, повидимому, окончательно оставило его в покое, как оставило в покое Лихтенштадта и нескольких еще неисправимых протестантов. Их, по возможности, изолировали только во избежание вредного влияния на других арестантов.

Весь этот долгий период интересы Бориса почти целиком поглощены наукой. К 1912 году уже отменено запрещение читать беллетристику, стали допускать классиков русской и иностранной литературы, а на ряду с классиками проникали в тюремную библиотеку и новейшие беллетристические произведения. Легкое чтение вносит большое разнообразие в его жизнь, освежающее влияние его заметно на многих писанных им домой в это время письмах. Обычный бодрый и жизнерадостный тон их еще более усиливается. И это не напускное все, а естественное, неизбежное, обязательное у человека с большой и многосторонней духовной жизнью. «Ведь у меня есть занятие, — говорит он сам, — которое мне не может надоесть. Ни один день не пропадет у меня даром, хотя в других условиях узнал бы я за этот день во много раз больше; но и та капля, которая перепадает здесь, все же достаточна, чтобы поддержать бодрое настроение, а будь я лишен возможности заниматься сам, то и то останется у меня запас мыслей, способный поддержать во мне бодрое настроение». И этот свой «запас мыслей» Борис без устали пополняет, жадно черпая из всех отраслей знания. Особенно продолжают его интересовать вопросы воздухоплавания. Читая о достигнутых здесь успехах, он воодушевляется, его живое воображение рисует ему яркие картины возможных достижений, героическое и дерзающее в его натуре жаждет личного участия в этом победоносном походе человеческого гения.

Желая на практике применить свои познания в английском языке и еще больше усовершенствоваться в нем, Борис приступает к переводу на русский язык капитальной «Истории математики» Рауз-Болла.

Еще в конце марта 1911 г. умер отец Бориса, но он узнал об этом только в июле. Это известие глубоко потрясло его, и долго еще он с болью душевной думал о том, что никогда больше не увидит этого доброго и хорошего человека. Под непосредственным впечатлением удара, утратив свою почти болезненную сдержанность в общении с близкими людьми, он писал овдовевшей Ольге Николаевне:

Дорогая, милая, мама! Как тяжело говорить о такой ужасной вещи. Как ни трудно надеяться здесь, в тюрьме, но все-таки надеяться можно, и до сих пор я всегда мечтал увидеть тебя, папу, сестер, Мишу, знакомых. И вот теперь папы нет, и нет никакой возможности надеяться увидеть его. Писала мне Зина, что в последнее время папа довольно сильно изменился, стал еще добрее, сердечнее. У меня, конечно, осталось о нем то представление, какое оставил он во мне, главным образом, в бытность мою дома... Папа всегда был добродушным, сердечным человеком, и как он всегда любил всех нас! В нем была всегда некоторая внешняя, напускная строгость. Папа всегда был защитником старины с ее обычаями, с ее внешностью. Помню, как подсмеивались все мы, от мала до велика, над его стараниями поддержать обрядовую религиозность в семье. Помню до сих пор знаменитый кулиш в пятницу и субботу великого поста. Уже в последнее время пришлось, вероятно, и папе отступить со всех своих старых позиций под напором новых освободительных идей. Этот кулиш в последние годы был, вероятно, достоянием истории. Мы были в последнее время представителями совершенно противоположных начал. Но, господи, как, несмотря ни на что, я любил папу, как мечтал увидеть его, как мечтал убедить его в преимуществах моего миропонимания. Я знал, что это одни мечты, что для старика и именно с таким характером, как у папы, радикальная перемена взглядов невозможна. Но разве не все равно? Я мечтал, и больше ничего. Когда я теперь думаю о папе, мне особенно становится ясно, как, несмотря на всю свою видимую приверженность старине, папа был, по существу, истинно передовым человеком. Сколько в нем было гуманности и истинной разумности в его отношениях к детям. Если сравниваешь теперь положение детей в нашей семье и в других знакомых семьях, то, пожалуй, можно сказать, что нигде дети не пользовались большей свободой, чем у нас. Папа любил иногда поворчать на нарушителей обычая, но свобода наша от этого не страдала. Ты пишешь, что подчиненные возложили на гроб папе венок с трогательной надписью. Бывает, что в таких надписях замешана неискренность, но в этом случае, я думаю, солдаты искренно сожалели о хорошем человеке. Поскольку я знал его отношения с подчиненными, он был всегда гуманным, непридирчивым, входящим в положение и, во всяком случае, не допускавшим грубости начальником. И вот папы нет. Как тяжело думать об этом мне, но вам всем, а в особенности, мама, тебе, это должно быть еще тяжелей.

* * *

Опять пришла весна, шестая весна в Шлиссельбурге. В этом году она была небывало холодной и поздней. Лед шел целых три недели с небольшими перерывами.

В середине апреля в камеру к Борису однажды пришел старший надзиратель Дергачев, молодой еще человек, сумевший подделаться к начальнику и за пять лет службы вызвать к себе почти безграничное доверие со стороны ограниченного и недоверчивого Зимберга. Дергачев был исполнительным, и, что большая редкость среди тюремщиков, честным служакой. Старший надзиратель в каторжной тюрьме—большая шишка; он, собственно говоря, второе после начальника по своему значению лицо. То же, что фельдфебель в роте. Начальник тюрьмы на старшего полагается сплошь и рядом гораздо больше, чем на своих помощников, особенно если старший — что почти всегда бывает — его ставленник. Дергачев и был таким ставленником Зимберга, его верной креатурой. Он глубоко постиг натуру «чухны», которого про себя презирал за трусость и лицемерие, и, проводя его тюремную политику, не перебарщивал ни в сторону излишней жестокости к заключенными ни в сторону чрезмерной мягкости. В одном он не следовал примеру Зимберга: он не менял своего раз установленного мягкого отношения к тем политическим арестантам, с которыми вместе он начал тюремную карьеру с момента основания шлиссельбургской каторги в 1907 году и которых в отличие от всех остальных политических и полу-политических, поступивших в тюрьму в позднейшие годы, именовал «настоящими» и «старыми» политическими. До поступления на казенную службу он был рабочим, кажется, Обуховского завода, был в свое время задет — поверхностно, конечно, — революционной пропагандой и в первые годы, еще будучи младшим надзирателем, оправдывался перед охраняемыми им революционерами, уверяя, что загнала его на эту собачью службу безработица и что он не преминет при первой возможности покинуть ее. Заключенные пытались использовать его сочувствие, чтобы через него завязать нелегальные сношения с волей, предлагая ему значительные деньги за связанный с этим делом риск, но он всегда отказывался, говоря, что хоть и не по душе ему эта служба, но раз он служит, то хочет служить честно. Главным старшим он сделался недавно, после того, как занимавший до него эту должность бывший фельдфебель одной из рот Преображенского полка покончил самоубийством из-за угрожавшего ему за какое-то темное деяние суда.

К Жадановскому Дергачев относился с большой симпатией и не раз, заходя к нему в карцер, уговаривал его бросить «волынить». Борис, порою очень сурово и резко, отклонял его предложения, предполагая, что Дергачева подсылает к нему Зимберг, и свое отрицательное отношение к этому иезуиту перенося и на его любимца. Так и в этот раз, когда Дергачев

вошел к нему в камеру с особо любезной улыбкой и начал сочувственно расспрашивать его о здоровье, Борис подумал:

«Не иначе, как какую-нибудь пакость «чухна» задумал. Верно опять хочет во второй корпус посадить».

Но вместо ожидаемой неприятности получилось совсем другое.

— В прошлом году вы совсем не работали на огороде? — спросил Дергачев после того, как Борис довольно кислым тоном удовлетворил его любопытство относительно здоровья.

— Вы же сами хорошо знаете, что нет, — ответил Борис.

— А может, хотите в этом году заняться работой на воздухе? Вам это будет очень полезно.

— А вы меня для этого переведете в третий корпус?

— Нет, мы вас переведем в четвертый корпус в одиночку.

— Как же тогда работать на огороде? Ведь при четвертом корпусе нет огорода и оранжереи, все это в третьем.

— Вы будете заниматься только цветами.

— Я бы хотел перейти в третий корпус.

— Да зачем вам в третий корпус? Там старых политических почти нет.

— А с кем я буду работать?

Дергачев улыбнулся, сделал паузу и, с очевидным расчетом произвести эффект, сказал:

— С знакомыми—Канторовичем, Лихтенштадтом. Лихтенштадт хочет с вами в одной камере сидеть.

Борис не мог скрыть радости, засиявшей в его глазах.

— Я согласен.

— Только знаете что, — спохватился вдруг Дергачев, — начальник согласен перевести вас туда только при условии, что вы не воспользуетесь работой на дворе, чтобы сноситься с другими арестантами, передавать там записки или другое что... вы понимаете?

Радость у Бориса сразу померкла. В голове мелькнула мысль, что этими льготами начальство хочет купить его смирение, парализовать влияние на остальных заключенных. И он сразу решил отказаться от такой милости.

— Нет, — решительно ответил он, — я никаких обещаний начальнику давать не хочу.

Лицо у Дергачева вытянулось, он взглянул на Бориса с некоторым презрением, как бы желая сказать: «дурак ты, дурак, и чего тебе стоит обещать все, что угодно», но ограничился коротким и обиженным:

— Как знаете.

С унылым видом Борис стал ходить по камере. У него было такое ощущение, точно он потерял вдруг что-то очень ценное, такое, чего уже никогда не найдет. Ему даже стало как будто досадно на себя за то, что отказался, не обещал Дергачеву такого

пустяка, который, в конце концов, ровно ни к чему его не обязывал. Ведь если бы он пошел работать, он пошел бы вовсе не с целью использовать пребывание на дворе для каких-нибудь нелегальных сношений, а просто, чтобы иметь общение с друзьями и с цветами, которые он так полюбил за время своих занятий садоводством в третьем корпусе. «И верно, дурака я свалял, — думал он. — Если согласились меня перевести, то потому лишь, что на этом настаивали другие товарищи. Конечно, они никаких унизительных обещаний начальнику не давали. Я мог бы сказать, что присоединяюсь к их обещанию, если они дали его, а потом, перейдя туда, можно было бы и отказаться в случае нужды. Но теперь уже поздно, сам я больше не подниму разговора об этом».

Никакой нужды в новом разговоре и не было. Часа через два после того уже как Борис совершенно примирился с тем, что его категорический отказ дать требуемое обещание окончательно отрезал возможность заниматься в этом году садоводством, в камеру снова пришел Дергачев и, глядя как-то в сторону и вниз, сказал:

— Собирайте вещи, начальник приказал перевести вас в четвертый корпус.

— А как же насчет обещания?

— Не знаю. Это меня не касается. Кажется, ваши товарищи сговорились с начальником об этом.

Через пять минут Борис уже шел в сопровождении старшего по двору, вышел за ограду первого корпуса и очутился перед массивной громадой четвертого корпуса.

VII.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

В четвертом корпусе. — После долгой разлуки. — Состав каторжан. — Каторжный режим. — Медицинская помощь. — Подготовка к протесту. — Стихийный взрыв. — Опять в карцер. — Из письма. — Последний вечер. — Ночные звуки. — Уводят. — Матрос Циома. — Тяжелые переживания. — «Рекомендательное письмо». — «Секретно. Срочно». — В пути. — Предчувствия грядущего.

До сих пор Борис был знаком с четвертым корпусом только поверхностно, наружно, так сказать. Это огромное здание, построенное в период 1909—1911 г.г. по всем правилам современной тюремной техники, заключало в себе все, что нужно для угнетения и мучения людей, имевших несчастье попасть в каторгу. В одних и тех же кирпичных стенах находились и великолепно обставленные кабинеты начальства и темные полу-

подземные карцера, в которых даже в жаркие летние месяцы не высыхала липкая и зловонная грязь на асфальтовом полу, а стены слезились холодной сыростью. В общих камерах вмещалось несколько сот заключенных, все свое время проводивших на глазах у тюремщиков, благодаря тому, что от коридоров камеры были отгорожены не сплошной стеной, а массивной железной решеткой. Тут же были и мастерские, и цейхгаузы, и четыре этажа микроскопических одиночных келий.

В одну из этих одиночных камер ввели Бориса. Лихтенштадт встретил его на пороге радостным восклицанием. Борису сразу бросилась в глаза сильная худоба друга, показывавшая, что и он за эти полтора года переиспытал не мало лишений. Они долго тискали руки друг другу, глядя прямо в глаза и широко улыбаясь, а потом невольным порывистым движением крепко поцеловались.

— Ну, надолго ли опять вместе? — спросил Борис.

— До первой волынки. Только, надеюсь, это будет не так скоро.

Почти всю короткую весеннюю ночь проболтали они, делясь друг с другом пережитым, рассказывая о своих занятиях и планах. И в длинной череде последовавших затем дней занятиям наукой отдавалось очень мало часов. Все почти время, остававшееся от работы, уходило на споры и беседы, всегда содержательные, всегда для обоих полные живого интереса. Владимир был многосторонне образованным человеком, учившимся за границей, много видавшим и много знавшим. Ум его обладал кипучей творческой живостью, способностью рассматривать вещи сразу с многих сторон, в малом и незначительном по виду находить связь с большим и важным. За истекшее время в нем уже произошла та эволюция от прежних идеалистически-туманных взглядов к трезвому реалистическому миропониманию, граничившему с близким сердцу Бориса материализмом, которая только намечалась раньше, и прежних, довольно резких непониманий друг друга между ними уже не было. Он все больше проникался марксизмом, шел к нему, как он сам шутя говорил, «на всех парах», перерабатывая и перекраивая, но не просто отбрасывая, свой былой индивидуалистический анархизм. Он открывал перед Борисом богатую сокровищницу своего ума и давал ему гораздо больше, чем все мертвые книги, которые Борису приходилось в последнее время изучать в духовном одиночестве. Эти короткие месяцы совместной жизни душа в душу с Владимиром были самым светлым периодом его шлиссельбургской жизни.

Садовые работы увлекали их обоих. Девять часов, полагавшихся на это, пролетали незаметно, несмотря на частые холодные и дождливые дни. Копка, посевы и пересадки из парников были закончены еще до того, как в конце мая установи-

лась хорошая погода. Стало немножко вольнее, и можно было больше внимания отдавать окружающему, знакомству с новыми людьми и с отношениями, сложившимися в общих корпусах.

* * *

В это время состав заключенных в Шлиссельбургской каторге поражал своей пестротой. От бурных революционных годов в тюрьме оставалось, несмотря на все высылки, несколько десятков заключенных, очень небольшая часть которых сохраняла традицию продолжения революционной борьбы и в стенах тюрьмы. Большинство же политических подчинялось режиму даже в его особенно тяжелых формах, но в очень многих из них еще не совсем замерли чувства возмущения и протеста и нуждались только в каком-нибудь особенно сильном толчке или даже во влиянии на них более стойких товарищей, чтобы прорваться. Под политическими здесь понимаются не только т. н. «чистые» политические, но и люди, осужденные за формально уголовные, но совершенные по политическим мотивам деяния. Все они заявляли о своей принадлежности или о своем сочувствии одной из революционных партий, а если и находились в их числе «беспартийные», «дикие», то они все же считали себя врагами существовавшего государственного порядка. К этой группе заключенных примыкали также «аграрники», народ в большинстве мало сознательный, смирный и не склонный к нарушению тюремного порядка.

Подавляющая же масса заключенных были уголовные разных сортов и категорий от профессиональных грабителей, бандитов, т. н. «иванов», до случайных преступников — «шпаны», Среди этого пестрого стада попадались единицы, поддававшиеся влиянию политических, протестанты и непокорные по натуре, готовые поддержать политических в их борьбе с начальством за смягчение режима.

А режим в Шлиссельбурге для большинства, особенно для заключенных во втором корпусе, казался очень суровым и нуждающимся в смягчении. Глухое брожение изредка прорывалось в единичных или мелких групповых выступлениях, каравшихся всегда или долгим карцером или розгами, применение которых становилось все чаще и чаще.

Благодаря карцерам и сравнительно скудной пище, учащались заболевания чахоткой, а медицинская помощь была поставлена из рук вон плохо. По отъезде доктора Шапошникова, дело лечения перешло в руки человека, хотя и имевшего диплом врача, но, повидимому, совершенно не обладавшего нужными познаниями, относившегося к делу халатно и целиком полагавшегося на фельдшеров, двух старых, грязных и дрянных людей, заслуживших ненависть и презрение арестантов. Болезнь скручивала чрезвычайно легко и быстро. Совершенно здоровые люди,

жаловавшиеся на какой-нибудь пустяк, попадали в больницу как бы для того, чтобы быть отправленными на кладбище. И среди заключенных стали ходить разговоры о том, что в больнице умышленно отравляют людей. Это, конечно, была только легенда. Но неумышленные отравления, убийства вследствие небрежного и халатного отношения к больным могли быть. Фельдшер Левченко вместо цинковых капель пустил в глаз одному из заключенных какую-то кислоту, от которой глаз вытек. В другой раз какая-то состряпанная им мазь вызвала страшные ожоги тела. Он был цинично груб с заключенными и один из них дал ему пощечину в порыве гнева, а сам повесился, так как розги были неминуемы.

Помощники начальника тюрьмы, — их в это время было несколько,—неразвитые молодые люди, натаскивавшиеся предварительно на жестокость в таких каторжных централах, как Орловский, Псковский и др., издевались, были грубы, наглы и несправедливы, а под их влиянием и надзиратели в большинстве стали входить во вкус и превращать и без того нелегкую жизнь узников в форменный ад.

Все это вместе взятое и многое еще другое вызывало мысль о необходимости организовать общий протест, борьбу за смягчение режима. Эта мысль зарождалась в наиболее горячих головах, но она легко воспринималась даже и теми, кто, казалось, примирился со всем и стоял уже на наклонной плоскости подчинения. Вводившийся режим слишком остро давал себя чувствовать всем без исключения, а в Шлиссельбурге не создалось еще той бесчувственности к обидам, унижениям и лишениям, которая в худших централах была обычным явлением.

Разговоры о необходимости борьбы начались в мае. Но сговориться было трудно в такой огромной тюрьме, где корпуса были отделены точно непроницаемой перегородкой и где даже в одном корпусе камера с камерой непосредственно сноситься не могла. Переговоры происходили через «почтовые ящики» — условленные места в бане и прачешной, через работавших в мастерских и через садовников. Организационный центр естественно образовался в четвертом корпусе, где в одиночках в то время собралось несколько человек, пользовавшихся влиянием, а в числе их наибольшим влиянием пользовались Жадановский и Лихтенштадт. Здесь вырабатывались требования и отсюда они рассылались во все корпуса, кроме третьего, с которым связи почти не существовало. Все шло хорошо, можно было рассчитывать, что выступление будет если не всеобщим, то во всяком случае настолько значительным, что начальству справиться с ним обычными приемами не удастся. Оставалось сговориться только о времени и порядке предъявления требований.

Во втором корпусе, где собралось всего больше горючего материала, волынка вспыхнула неожиданно даже для сидевших

там. По пустячному поводу был наказан розгами один из заключенных. Сидевшие с ним в одной камере в знак протеста отказались подчиняться тюремному режиму, т.-е. не встали на поверку и опустили койки. И тоже были наказаны. Началось стихийное присоединение отдельных камер часто не полностью и отдельных заключенных. Организованность и планомерность, таким образом, были похерены. Возник раскол. Одни считали, что раз уж дело начато, его надо продолжать; не оставлять же товарищей в беде. Другие, согласившиеся принять участие в общем и организованном протесте, во многих случаях без особо горячего желания, находили, что теперь дело сорвано, что повод для общего выступления слишком ничтожен и что выступление общее нужно отложить.

Жадановский и ближайшие друзья его делали попытки придать выступлению общий характер, но вскоре должны были признать, что дело это безнадежное, и в свою очередь присоединились к протесту.

* * *

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЛИСТОК

Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.

Прим./Камера *№ 10.* «8» *июля* 1912 г.

1. Фамилия и имя *Жадановский Борис.*
2. Который раз осужден. *1 раз.*
3. Когда прибыл. *13 февраля * 1907 года.*
4. Когда кончает срок *без срока.*
5. Каким подвергался взысканиям *4 раза за неисполнение правил в общем на 118 суток в карцер.*
6. В чем заключается проступок *Во время утренней поверки, заявили протест против того (того), что товарищей их пороли, и опустили койки.*

Дежурный памощник
начальника тюрьмы Теслер.

Заключение Помощника Начальника:

Полагал бы заключить на карцерное положение в течении одного месяца

Помощник Начальника тюрьмы Теслер.

Резолюция Начальника тюрьмы:

В темный карцер на один месяц.

Начальник тюрьмы Зимберг.

* Ошибка в подлиннике, он поступил в тюрьму 13 января.

Много времени спустя, в марте 1914 года, Борис в нелегальном письме к сестре вспоминал об этом карцере:

Последние дни в Шлиссельбурге прошли очень недурно. За «волынку» 8 июля нас посадили в карцер *. — Компания прекрасная. Несколько дней спустя, слышим в коридоре чьи-то знакомые голоса. Оказывается, к нам присоединили наших «стариков»: Ивана Петровича, ** Циому, Барышева, Конупа ***. Это было уже прямо великолепно. Я очутился в одном карцере с Володей ****. Началась оживленная общественная жизнь. Поднялись принципиальные вопросы, вопросы дня. Можешь вообразить, что это такое? Ведь каждый сидит в наглухо запертом карцере (мы по двое сидели), на коридор выходит десять карцеров, и вот, чтобы услышали все, нужно орать во все горло. И таким-то образом ведутся длиннейшие и сложнейшие дебаты. Кстати сказать, у меня удивительно счастливо устроена глотка: голос-то у меня ведь небольшой, а для карцера незаменим: и отчетливо звучит, и, главное, чем больше кричу, тем голос слышнее; но зато уж при нормальном разговоре ничего кроме свиста и хрипа.

Помню, 17 июля вечером устроили концерт. Между прочим, я с Володей пели дуэт «Ночи безумные». Я — первый голос. Можешь вообразить, что это был за дуэт. Я декламировал «Море» Вейнберга и «Мы спорили долго», последнее особенно с большим успехом. Сравниваю я всегда невольно наши дикие вызовы Ван-дер-Брандт, Баттистини и т. д. Только тут это длилось непрерывно неделю, да на хлебе и воде, да в темноте»...

Это был последний вечер в Шлиссельбурге и последний «концерт».

Уже после того, как замолкли все голоса, Борис с Владимиром стали устраиваться ко сну. Процедура была нелегкая. Надо было вдвоем уместиться на узеньком деревянном топчане, на котором и одному-то человеку было развернуться негде. Но их выручала всегда способность Владимира свертываться, несмотря на свой большой рост, таким калачиком, что для Бориса оставалась всегда большая часть спальной площади. Так и на этот раз, после долгих умащиваний, маленькому Борису удалось вытянуться, и он, потягиваясь и зевая, заявил:

— Ну, мне хорошо. Еслиб только под голову можно было что-нибудь подложить, я чувствовал бы себя совсем как дома. Прелестно! А вы как?

С улыбкой в голосе Владимир ответил:

---

* В карцер четвертого корпуса.

** Автор настоящей книги.

*** Все четверо — севастопольцы, содержавшиеся в третьем корпусе.

**** После того, как Письменчука, сидевшего сначала вместе с Борисом, унесли в больницу, где он через несколько дней умер.

— А мне еще лучше. Я положу голову на ваши ноги. Только не дергайте ими.

— Постараюсь.

Через несколько минут оба спали крепким сном.

* * *

Среди ночи Владимир внезапно проснулся, точно толкнуло его что-то. Он поднял голову и стал прислушиваться. Борис сладко спал, посапывая носом. В одном из карцеров кто-то быстро ходил, волоча кандалы и путаясь в них на поворотах. Кто-то надрывисто кашлял. Капала вода в карцерном ватерклозете. Все это были обычные звуки, они не могли его разбудить. И он уже хотел снова опустить голову, когда напряженный слух уловил в коридоре какой-то шорох. Кто-то там был, кто-то, осторожно ступая, ходил от одной двери к другой и, видимо, читал написанные на дверях фамилии наказанных. Надзирателю в это время в коридоре быть не полагалось и, следовательно, тут было что-то неладное. Не будя Бориса, Владимир слез на пол и подошел к двери, чтобы лучше слышать.

Кто-то еще вошел в коридор, и послышался шопот. Разобрать слова было невозможно. Ему показалось, что возле самой двери сказали: «вот тут». Послышались шаги еще нескольких человек. Стало ясно, что пришли кого-то брать. В этом было что-то зловещее. Ночью ничего обычного и естественного в тюрьме не делается. Ночью могут придти, чтобы убить, чтобы выпороть...

Наказанные, несмотря на бодрое и веселое настроение, все время ждали, что начальство примет самые решительные меры для их усмирения — избиение, порку или даже расстрел. После многих лет это было первое массовое выступление; на карцерном положении во всей тюрьме находилось до полутораста заключенных, и представить дело «бунтом» или даже искусственно вызвать бунт было нетрудно.

Надо что-нибудь предпринять, подготовиться. И Владимир сделал уже шаг назад от двери, чтобы разбудить Бориса, но в это время в одном из карцеров щелкнул дверной замок, послышались поспешные шаги нескольких людей, голоса... Владимир как прикованный застыл у двери и старался не пропустить ни звука. Он услышал слова: «Вставай... Выходи!...» Голос разбуженного человека отвечал: «Что? Куда?». Послышалась возня, раздался звон кандалов, кто-то выходил неверными, спотыкающимися шагами, волоча кандалы, в коридор.

— Кого уводят? — громко крикнул Владимир.

— Меня... Билибина,— ответил уводимый взволнованным голосом, и через мгновение топот ног замер за захлопнувшейся дверью коридора.

— Жадановский! Вставайте! Билибина взяли!

Разоспавшийся Борис замычал что-то, отталкивая щупавшие его руки товарища.

— Да вставайте же, вставайте! — повторил Владимир взволнованно, тряся за нащупанное в темноте плечо.

— Что? Ну, что? — недоумевающе спрашивал Борис, садясь и спуская ноги на пол.

— Билибина взяли куда-то, надо выяснить.

Из других карцеров доносился звон кандалов, тревожные голоса. Циома, сидевший в соседнем карцере, звонко закричал:

— Товарищи! Кого взяли? Что случилось?

— Билибина взяли, — ответил Владимир.

Вихрь криков вынесся из-за запертых дверей в коридор. Спрашивали все, никто не отвечал. Из-за одной двери мощный голос, покрывая все остальные, предлагал:

— Товарищи! Добровольно не итти, пусть силой берут.

Другой вносил поправку:

— Вызвать сначала начальника, а до того не выходить!

Борис сначала присоединился к этому предложению. Ему в голову пришло вдруг совершенно невероятное предположение, что вызывают на объяснение к приехавшему инспектору. Он ухватился за эту мысль, и стал урезонивать предлагавших крайние решения. Но потом понял, что ночью инспектор не будет тревожить себя. Но все-таки он был против сопротивления. Потащат все равно. Лучше уж прямо итти, что бы ни предстояло.

Стали напряженно ждать. Чья очередь теперь? Одним Билибиным не удовлетворятся. Тут задумано что-то в более широком масштабе. Самые мрачные предположения роились в головах. У многих была полная, несомненная уверенность, что это — порка, а значит,— смерть.

Циома, севастополец-моряк, решил предупредить палачей. Надо покончить с собой. Но как? Он столько раз думал об этом и самым предпочтительным ему казалось — вскрыть вены. Чем? Кусочек стекла можно сейчас же выбить из окна: его карцер был светлый, и только ставни со двора, закрывавшие окно, делали его темным. Но, если войдут сейчас, то изэтого ничего не выйдет. Повеситься не на чем. И вдруг способ, о котором он никогда не думал еще, представляется его распаленному воображению. Стать на койку и, как только загремит ключ в двери, хлопнуться затылком об асфальтовый пол. Все шансы за то, что удар будет смертельным.

Снова послышались шаги, голоса. Шли без предосторожности, кто-то громко и грубо хохотал.

Циома вскочил на койку. Если за ним, то он готов. Чтобы руки не помешали каким-нибудь инстинктивным движением, он засунул их за пояс брюк и прикрепил наручники к пуговице. Нервная дрожь пробегала волна за волной по всему телу, и зубы

готовы были начать отбивать дробь. Он с остервенением сплюнул, возмущенный этой слабостью плоти, и улыбнулся своей широкой улыбкой. Он готов.

Но на этот раз пришли не за ним. Замок загремел в двери соседнего карцера.

— Жадановский, выходи! — приказал чей-то грубый голос.

«Значит, не порка,— решил Циома,— Жадановского пороть не будут». Он соскочил с койки и, готовый на все, кроме порки, спокойно стал ждать своей очереди.

Когда отворилась дверь, Жадановский отступил вглубь карцера. Итти или сопротивляться? Но сопротивляться смешно, глупо: все равно моментально справятся и потащат. Нет, лучше итти с поднятой вверх головой и с улыбкой на губах.

В дверь карцера падал слабый свет керосиновой лампы, загороженной несколькими черными силуэтами приготовившихся к насилию тюремщиков.

— Я иду,— сказал он Владимиру и протянул ему холодную как лед руку. Владимир стиснул ее так, что хрустнули пальцы.

Вывели из коридора на площадку и заставили ждать. Через минуту привели Бернштейна и повели.

> Страшные это были минуты,— рассказывал Борис в цитированном уже письме, — в голове все мелькали мысли: «Какой там инспектор? Ведь два часа ночи. Так неужели порка?» Рядом со мной шел Бернштейн. Удивительно резко запечатлелось его невероятно бледное лицо, а вместе с тем и чудный, сильный запах лилий (мы проходили мимо цветника). В конторе, в задней комнате, я издали вдруг увидел р а з д е т о г о Билибина. Он сообразил, что подумаю я, и быстро крикнул: «этап!» Фу, какая страшная тяжесть спала с плеч! Немало прошло времени, пока, наконец, успокоился не только по наружности.

* * *

Всю эту ночь канцелярия тюрьмы работала во-всю. Нервно стучала машинка, помощники скрипели перьями. Зимберг несколько раз выбегал из своего кабинета, потораплива я. Он был рад, был даже счастлив. К его ходатайству о скорейшем удалении из тюрьмы тех, кого он считал главными зачинщиками бунта, инспекция на этот раз отнеслась благосклонно и добилась от главного тюремного управления спешного приказа. Еще бы! Полтораста человек сразу в карцерах! Этак все камеры скоро придется превратить в огромные карцера. Какая же тут может быть «образцовая» тюрьма!? И их отправляют в Орловскую тюрьму. Это, пожалуй, приятнее всего. Это ведь тоже «образцовая» тюрьма, только в другом смысле. На всю Россию прославилась. Там поголовно избивают, там даже, говорят, убивают непокорных. Там этим господам покажут. Об этом уже он, Зимберг, позаботится. Он им даст такие «рекомендательные

письма», так их распишет, что... Он щурил от удовольствия свои свиные, заплывшие жиром глазки, и его мясистое лицо расплывалось в сладкую улыбку. О, там им покажут! Не доверяя помощникам, он собственноручно составлял эти рекомендации. Когда очередь дошла до Жадановского, он вынул из портсигара новую папиросу и, попыхивая ею и склонив на бок голову, стал писать в графе «Сведения о поведении, характере, отношении к администрации, надзору и заключенным; прилежание к работе; выдающиеся случаи во время содержания в тюрьме (побеги и т. п.)»:

Поведения очень плохого, отношение к чинам администрации и надзору непокорное и непочтительное, иногда даже грубое, имеет влияние на прочих арестантов, и подчиняя их своему взгляду, подбивает к протестам и возмущает против тюремного строя. Предъявил ряд незаконных требований и, получив отказ, отказался подчиниться установленному режиму и подбил к этому других арестантов.

— Да, там ему пропишут,— с самодовольной улыбкой повторял Зимберг, перечитав написанное.

* * *

Распоряжение об отправке из Шлиссельбурга в Орел «неисправимых» было сделано утром 17-го июля самим начальником главного тюремного управления Хрулевым. Дело было представлено ему так, что каждый лишний час пребывания в тюрьме зачинщиков беспорядков угрожает опасностью возмущения всей тюрьмы. Хрулев не стал входить в обсуждение того, как же это возможно, чтобы изолированные в карцере уже десять дней арестанты могли оказать такое разлагающее влияние на всю тюрьму. Он просто выслушал доклад инспектора, его сообщение о том, что начальник тюрьмы, этот примерный и исполнительный служака, ни за что не ручается, если от него немедленно не убрать зачинщиков, и подписал заранее приготовленную бумажку. Он прекрасно знал, что для укрощения строптивых нет лучшей тюрьмы, чем Орловская, он великолепно знал, что в Орловской тюрьме, не считаясь с относительно гуманными предписаниями закона, избивают и убивают, но считал это в порядке вещей. Даже в Европе не все благополучно по части выколачивания из арестантов неподобающего духа, а там ведь официально приняты более гуманные, чем у нас, пенитенциарные системы. Без этого не обойтись.

Через два часа из канцелярии тюремной инспекции за подлежащими подписями вышла следующая бумага:

М. Ю.
С.-Петербургская
губернская тюремная
ИНСПЕКЦИЯ.
17 июля 1912 года
№ 17124.

Секретно.
Срочно.

Начальнику С.-Петербургской конвойной команды.

По распоряжению Главного Тюремного Управления от 17 сего июля за № 24122 из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы подлежат переводу с этапом 18 сего июля в С.-Петербург для дальнейшего отправления в Орел, следующие арестанты: 1) Элья Бернштейн, 2) Николай Билибин, 3) Иван Бурков, 4) Борис Жадановский, 5) Антон Конуп, 6) Иван Коротков, 7) Евстафий Купченко, 8) Григорий Курочкин, 9) Карл Лукс, 10) Иван Некрасов, 11) Василий Тимошечкин, 12) Захарий Циома, 13) Моисей Шеенсон и 14) Вилис Шмидт.

Поименованные ссыльно-каторжные имеют быть отправлены из С.-Петербургской Пересыльной тюрьмы, а может-быть и без завода в тюрьму 18 же июля в Орловскую каторжную тюрьму для дальнейшего содержания.

Сообщая об изложенном и имея в виду, что переводимые арестанты являются главными участниками нарушения нормальной жизни в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, Тюремная Инспекция просит Ваше Высокоблагородие сделать надлежащее распоряжение о предупреждении конвоя, который будет сопровождать упомянутых арестантов от гор. Шлиссельбурга до гор. Орла, о необходимости иметь за ними особо-бдительный надзор в целях воспрепятствования им совершить побег в пути следования; в особенности надзор должен быть усилен за арестантами Борисом Жадановским и Захарией Циомой, осужденными в каторжные работы без срока и склонными к производству беспорядков и нарушению тюремного режима.

* * *

Борис описывает:

Нас 14 человек, публика боевая, настроение повышенное, чувствуется победа. С какою радостью и вместе грустью слежу я с пароходика за исчезающим «проклятым» Шлиссельбургом. Сколько чудных людей узнал я там, сколько там осталось! Был роскошный солнечный день, и эта прогулка по Неве была невероятным контрастом с нашим темным сидением последних 10 дней.

Мы страшно спешили — с пристани на пристань, на вокзал... И вот мы уже летим к Москве в вагоне. Из автомобиля все-таки мелькнули мне и Невский и Литейный.

Скоро мы узнали, что все в Орел. Это было мрачной тучкой. Но все наперерыв старались уверить самих себя, что долго такие ужасы не могут длиться, и теперь там, вероятно, очень хорошо.

Этап наш был экстренный, и потому мы ехали одни и останавливались только на один день в Москве. Тут пошла в ход сигнализация. На вопрос: «Каково в Орле»? — последовал ответ: «Беда». В дальнейшем на все вопросы нам повторяли это слово. Сомневаться было нельзя — нас гнали на рогатину.

В сущности, только я да Циома были принципиально за неподчинение (неснимание шапки, неотвечание «здравия желаю, ваше благородие» и т. д. и требование от чиновников обращения на *вы*), но когда выяснилось, что Орел есть нечто слишком определенное, что так или иначе, а жить там нельзя, тотчас к нам перешли чуть не все остальные. Мы провели целый день в общей камере в Москве. И, господи, сколько разговоров, шума было бы при этом в других условиях. Ведь все мы были «свои», все люди страшно интересные друг для друга. Но настроение было не для разговоров. Каждый чувствовал, что он идет на смерть, только это было, конечно, у всех на уме, а если говорили, то о пустяках, стараясь сохранить «благоприличие», не выказывать своей тоски. Каждый чувствовал, что он не может быть искренним, и все предпочитали молчать. В немногих, как бы случайно брошенных словах высказалась дальнейшая тактика: сразу же заявить решительный протест и в случае действительного существования систематических избиений и ругани объявить голодовку на смерть, хотя бы в единственном числе.

Приближались к новому, страшному, неиспытанному. Факты говорили за то, что это будет и неизбежно, и сознание этой мрачной неизбежности порою заслоняло все. Но не мирилось с этим непосредственное чувство и цепко хваталось за призрачную надежду.

* * *

ЧАСТЬ IV.

СТРАШНЫЕ ГОДЫ

I.

ОРЛОВСКАЯ ГОЛГОФА.

Опять кандалы. — Наручники. — До тюрьмы. — У ворот. — Приемка. — «Мы солидарны». — В бане. — Синайский. — Избиение. — В карцере. — Ночь. — Расправа. — Утро. — Голодовка. — «Пусть сам лезет». — Искусственное кормление. — Врач-мучитель. — Прекращение голодовки.

При отправке Бориса заковали в ручные и ножные кандалы. Он успел отвыкнуть от скованных ног, и уже одни ножные кандалы были бы для него изрядным мучением, принимая во внимание неизбежную после десяти суток карцера слабость. Но ручные кандалы показались ему с непривычки настоящей пыткой. Это были железные обшитые кожей браслеты, тесно охватывавшие запястья рук. Они имели овальную форму и потому не могли, подобно ножным кольцам, вращаться. Оттого всякое движение рукой вызывало боль. В уши каждого из этих браслетов была пропущена цепь, оба конца которой посередине скреплялись замком. Таким образом руки были соединены двойной цепью. Эти «наручники», как обычно назывались ручные кандалы, в такой мере сближали обе руки закованного, что если одну руку засунуть в карман, то вторая должна была делать жест стыдливости. Все движения рук были до крайности связаны, так как в каждом движении неизбежно принимали участие обе руки и, кроме того, каждое движение сопровождалось большей или меньшей болью в зависимости от порывистости и естественности данного движения. Привыкнуть и приспособиться к этому орудию пытки, как каторжане привыкали, в конце концов, к ножным кандалам, было невозможно.

Привилегия ручных кандалов распространялась только на бессрочных, но Борису носить их не приходилось, так как к тому времени, когда эти кандалы стали вводиться в Шлиссельбурге, он был уже раскован по болезни. Если же теперь он был вновь закован, несмотря на то, что здоровье его с тех пор далеко не улучшилось, то в этом выразилась месть Зимберга на прощанье.

Путь от вокзала до тюрьмы был настоящим восхождением на Голгофу. Измученные карцером и дорогой, тяжело передвигали они закованные ноги в грубой и неудобной арестантской обуви. А конвой торопил и ругался. Город, через который они проходили, насмешливо щурился на них не забранными решеткою окнами, злобно отталкивал их натруженные ноги неровной мостовой. Вольные люди попадались навстречу, и на их лицах не было ни сочувствия ни привета. Да и не могли рассчитывать на сочувствие они, одетые в грязную, изодранную арестантскую одежду с изможденными лицами, изжелто-серыми от голода и карцерного мрака, с коротко остриженными головами всем видом своим олицетворявшие загнанность и непокорное рабство.

Так шли они угрюмые и несчастные эти семь верст.

* * *

У ворот огромной тюрьмы стояла кучка надзирателей, краснолицых и сильных людей, лускавших семечки. Они томились от скуки и, лениво шевеля языками, судачили о помощниках и старших, о их женах и детях, о пьянстве, картеже и разврате, составлявших все содержание их жизни. Приближение этапа вызвало оживление на их тупых лицах, глаза заблестели, послышались возгласы:

— А-а! Еще этой сволочи навели... Ну, мы им живо бока наломаем!

— Эх, братцы, а я сменился как раз, не придется на приемке быть... Размяться охота,—сокрушался один.

— А ты попроси старшего, он дозволит, — посоветовал другой.

И, обращаясь к подошедшей партии, злобно выругался.

Эти и подобные им приветствия долетали до ушей четырнадцати и слишком недвусмысленно подтверждали те слухи и предсказания, который они уже слышали в пути и которым до сих пор как-то не хотелось придавать полной веры. Борис, согнувшийся от усталости и под тяжестью мешка с собственными вещами, которые он нес, держа обеими скованными руками у самого плеча, выпрямился и, презрительно улыбаясь, оглядел эту свору.

— Еще смотрит, сволочь! — сказал ближайший к нему и ткнул его сзади кулаком в затылок, когда он входил в открытую калитку. Борис споткнулся, хотел обернуться, но шедшие сзади товарищи протолкнули его вперед.

Помощник начальника, принимавший партию, прямо не мог опомниться от изумления, когда первые же вызванные им по списку для опроса твердо и совершенно спокойно по внешности отказались давать ответы, потому что вопросы задавались на «ты».

— Что такое? Ты с ума сошел? Как же я должен тебя спрашивать?

— Вежливо, на «вы»,— получил он ответ.

— На вы-ы? Да ты что такое? Отвечай сейчас же! Как твоя фамилия?

Спрашиваемый молчал.

— В карцер, негодяй!

Со вторым и третьим та же история. Помощник выходил из себя. Бессвязный поток грязных ругательств полился на принимаемых. Наконец, он приказал отвести вызванных в карцер, думая, что остальные испугаются. Но в тот же момент вся партия смешалась в кучу.

— Мы солидарны! Берите всех,— послышались голоса.

Злоба тюремщиков все возростала. С *такими* им давно уже не приходилось иметь дела. Если и бывали протесты, то в одиночку, и с протестующими легко расправлялись, избивая их до полусмерти, а особо упорных и до полной смерти.

— Ладно же! Я вам покажу! — пригрозил помощник и скомандовал: — в баню всех!

В баню повели надзиратели и конвойные солдаты. На дворе перед баней велели раздеться наголо и стали вызывать по одному. Первый пошел Коротков. Он, как и все остальные, еще в Москве узнал, что из бани здесь невредимыми никто не выходит, и уходя беспомощно оглянулся на остававшихся. Кто-то шепнул:—Пойдем все сразу,—но не хватило решимости или, может-быть, помешала мысль: «а, может, и так обойдется». Но только затворилась за Коротковым дверь, как из бани послышались удары и крики. И тотчас, ни слова ни говоря, все ринулись, как один человек, вперед, на помощь, с угрожающим лязгом кандалов и решительными лицами готовых на все людей. Раздалась команда:

— Конвой! Шашки вон!

Блещущее острой сталью кольцо сомкнулось. Но в этот момент крики утихли, порыв угас, и кровопролития не произошло.

Борис стоял как и все, блестя обнаженным бескровным телом, стиснув тонкие губы. Ему не приходилось подстегивать себя, в нем все кипело каким-то особым мужеством, никогда еще раньше неиспытанным, знающим заранее, что смерть стоит вот тут, рядом с тобой, и приветствующим эту смерть как способ высшего проявления своей человеческой личности.

В бане над раздетыми людьми производился гнусный и подлый обыск. Борис вошел туда, когда эта грязная процедура проделывалась над предыдущим товарищем. Его заставляли нагибаться и подвергали исследованию задний проход. Затем, отпуская отвратительные шуточки, заставляли брать в руки половые части и во всех подробностях показывать их обыски-

вающему надзирателю. Борис с возмущением отвернулся. Один из надзирателей, увидя это, подошел к нему.

— Ну, чего рыло воротишь? Небось и ты сейчас покажешь! Сукины дети, — он обратился к конвойному унтер-офицеру, — они там кольца прячут. Наденет, закроет и пронесет. А смотреть захочешь, так вот он манежится, — показал он на Бориса с самым искренним возмущением.

Когда от Бориса во время обыска потребовали, чтобы он в свою очередь принял унизительную позу и произвел унизительную операцию, он категорически отказался.

Послышались ругательства, два или три угрожающих кулака потянулись к его лицу. Но он стоял не шелохнувшись, сложив на груди руки.

— Чорт с ним, — сказал старший. — Иди, мойся, — и он с силой толкнул его из раздевальни в дверь бани.

Он понял, что пока эти люди вместе, избиение может не удасться. Орловские звери как и все звери в человеческой шкуре были трусливы и предпочитали расправляться со своими жертвами в более удобной обстановке. И в данном случае они знали, что эти жертвы от них не уйдут.

В бане по установившемуся ежедневному обычаю надзиратели начали швыряться голыми людьми, чтобы заставить их поторопиться. Обычно это помогало. Швыряемые лихорадочно быстро мылись, обвариваясь кипятком, путаясь в кандалах, и это казалось чрезвычайно забавным. Но в данном случае получилось обратное. Они не только не стали торопиться, но принимали угрожающие позы для отпора, хватались за шайки, отругивались и не мылись. Испытанная тактика оказалась к ним неприменимой, и ее пришлось оставить.

* * *

В одиночном корпусе на нижнем коридоре всех выстроили и стали чего-то ждать. Появился начальник тюрьмы, знаменитый на всю каторжную Русь палач и зверь Синайский. Он подошел к выстроившимся, осмотрел их всех, впиваясь каждому в глаза взглядом, который он сам, очевидно, считал пронизывающим и магнетизирующим, но в котором не было ничего кроме нахального самодовольства недалекого человека, обнаглевшего от безграничной власти над людьми.

— Эй, вы, слушайте, — обратился он, неуклюже жеманясь, к стоявшим перед ним людям. — Вверенная мне тюрьма — совершенно особенная тюрьма. Я здесь усмиряю всех, и вас ко мне прислали на усмирение... на исправление. Вы должны бросить эти свои... штуки. У меня они не ко двору. Со мной вы должны быть вот так, — показал он нагнувшись: тише воды, ниже травы. Чуть что — розги. Я вам покажу! — вдруг взвизгнул он, — запорю! Не пожалею!

И снова переходя на спокойный тон, продолжал:

— Полное, бессловесное подчинение. Покорность. Повиновение. Исполнение всех правил. Никаких уклонений! Иначе — беспощадная расправа. Знайте! И не с такими имел дело.

Борис, стараясь сдерживаться, начал отвечать ему:

— Мы уже, идя сюда, знали, что такое Орел...

— Я тебя не спрашиваю! — взвизгнул Синайский и быстро отошел.

Уводили в одиночку по одному. Борис вместе со Шмидтом стояли последними. Перед ними был весь этот громадный корпус с его тремя этажами одиночек с узенькими ажурными балкончиками, обводившими каждый этаж, со множеством дверей, выходивших на эти балкончики. За этими дверьми находились люди, запертые в своих каменных гробах, сотни людей, и несмотря на это мертвая тишина царила в огромном здании. Хоть бы звон кандалов послышался, хоть бы чей-нибудь голос раздался... Люди, вся жизнь которых была здесь наполнена непрерывным ужасом надругательств, мучений, побоев, притаились за своими дверями и напряженно прислушивались к происходившей приемке новой партии. По собственному опыту, по многолетним наблюдениям они знали, что ждет новоприбывших. Бессильные, с задушенным чувством солидарности, неспособные уже на отпор, всецело занятые лишь мыслью о сохранении себя в этом аду, они с каким-то болезненно острым чувством прислушивались, не даст ли новая партия отпора, не ослабеет ли ярость тюремщиков. Хоть какого-нибудь удовлетворения жаждалось им, хоть маленького, ничтожного, лишь бы оно увлажнило в них иссохшееся чувство собственного достоинства, дремлющего, несмотря ни на что, в каждом, даже самом забитом и униженном человеке до последней минуты.

Было жутко и от этой тишины, от этого страшного молчания сотен невидимых людей, и от сознания, что их коллективную силу ломают вот этим разводом по одному, медленным, умышленно торжественным. И еще большая жуть брала при взгляде на зловещие фигуры стражи, настороженные, следящие собачьим взглядом за медленно расхаживающим начальником, ждущие с его стороны слова, жеста, чтобы броситься на этих беззащитных людей...



Борису казалось, что прошло уже очень много времени в этом ожидании неизбежного, рокового. А между тем прошло всего около часа. Синайский расхаживал по коридору и беседовал с офицером конвойной команды, доставившим этап. Этот офицер знал Бориса еще по Киеву и на вокзале в Москве попытался вступить с ним в разговор. Но Борис обошелся с ним

довольно нелюбезно. Теперь они беседовали о нем. Это было видно по кидаемым на него взглядам. Наконец, беседа кончилась, офицер попрощался с Синайским и, не взглянув на Бориса, ушел. Из всей партии на коридоре оставалась только последняя пара—он и Шмидт. Синайский быстро подошел к ним и, ткнув в Бориса пальцем, спросил:

— Твоя как фамилия?

— Я прошу вас говорить мне вы, а не ты.

Но в тот момент, когда он заканчивал эту свою стереотипную фразу, страшный удар по лицу отбросил его в сторону. Прямо удивительно, как он при своей слабости удержался на ногах. Но он кое-как удержался, поднял свои закованные руки, размахнулся и бросился на Синайского. Увы, негодяй не получил заслуженного ответа. «Налетели злые коршуны»,—рассказывал сам Борис о том, что последовало. — «Кто прикладом, кто кулаками... Конечно, моментально сбили меня на землю. Я уже лежал на спине, тяжело дыша, избитый и совершенно обессиленный. И вдруг, вижу, наклоняется надо мной надзиратель (он, кажется, опоздал и ему не пришлось лягнуть меня раньше), наклоняется, и вдруг страшный удар в грудь. Потом от Шмидта узнал, что рукоятью шашки. Тут у меня потемнело в глазах, и уже дальнейшего не помню».

Борис очнулся не так скоро. Очнулся во мраке и сырости, лежа на холодном асфальтовом полу, касаясь лицом зловонной парашки. Карцер! — сразу определили проснувшиеся чувства. И лишь затем постепенно в памяти возникли картины пережитого вплоть до последнего удара в грудь. Этот удар и сейчас еще отдавался неопределенным трепетом в каждой частице его тела, в каждом нерве. Вывернутые кандалы, врезавшиеся в тело объяснили ему, каким способом он был доставлен сюда из коридора: его тащили за кандалы по полу. Хотел отползти от парашки, но не хватило силы. Ощущение было такое, точно тела у него не существовало, или, вернее, точно это было не его тело. Не двигался ни один член. Где-то была несильная боль, но сознание не могло локализировать ее. Только много позже стала болеть грудь, и синяки и кровоподтеки, которыми был изукрашен он весь, стали давать себя знать. Мысли в голове не вязались, и их было очень мало. Это даже были не мысли, а определения фактов. Он, например, непрерывно повторял про себя: «надо запомнить: сегодня двадцать первое июля тысяча девятьсот двенадцатого года», или «я не успел ударить Синайского». Времени для него не существовало. Он не мог восстановить потом, через сколько времени удалось ему сделать первое движение, сопровождавшееся непроизвольным стоном. Все было в каком-то тумане. Галлюцинации постоянно мешались с действительностью. Но некоторые образы и некоторые факты в воспоминании рисовались яснее других. Это была

действительность. Ночью много раз отворялась дверь карцера и зажигался свет. Несколько раз приходил помощник Куликов, пинал его ногой, ругался, задавал злобным голосом какие-то вопросы. Борис помнил, что сказал ему фразу, сформированную еще по дороге в Орел:

— В режиме систематических избиений и ругани я жить не стану. Объявляю голодовку до смерти.

Куликов, взявшись за бока, хохотал, хохотал... Его хохот звучал в ушах Бориса долго после того, как погас свет и дверь закрылась.

Потом был фельдшер. Отодвинул ногой его инертное тело от параши, наклонился, взял руку, пощупал пульс и, кажется, тоже ругался. Были надзиратели, лягали ногами, били кулаками, и тоже ругались.

* * *

Должно-быть, была уже глухая ночь, когда Борис услышал, как избивали его товарищей. Он слышал крик, стук в двери, стоны, топот ног многих людей. Полностью всю картину избиения он нарисовал себе много позже.

Когда послышались первые крики избиваемого Короткова, в разных местах одиночного карцера раздался отчаянный стук в двери и крики остальных. Протестовали против избиения только новоприбывшие шлиссельбуржцы. Заключенные в одиночках каторжане орловские молчали. Кто-то из них, впрочем, впоследствии говорил, что он тоже присоединился к стуку. Это продолжалось очень долго, пока не перебрали по очереди всех. Под предводительством помощника вся орава врывалась в камеру и принималась зверски бить, стараясь выбить сознание. Когда избиваемый терял все силы и лежал уже без движения, его начинали вязать. Вязали с утонченной жестокостью и с замечательным умением. Перетягивали веревками грудь и живот изо всей силы, упираясь в тело коленями, натягивая веревку по нескольку человек сразу. Затем загибали ноги назад и прикручивали их к голове и к рукам, тоже вывернутым назад. Когда зашнурованный таким образом приходил в себя, нестерпимая боль исторгала у него дикие животные вопли. Эта пытка применялась в Орле уже давно, и средняя порция ее была *восемнадцать* часов. Через семь дней после этого Борис видел Шмидта и Короткова. Все тело у них было в ярких сине-зеленых полосах от веревки, а пальцы рук совершенно онемели, потеряли всякую чувствительность.

Бориса во время этой расправы забыли или решили, что ему досталось достаточно. Плохо пришлось бы ему от орловской «вязки» с его выпиленным ребром.

* * *

Наступило утро. Опять в карцер непрерывно стали приходить помощники, старшие и надзиратели. Все или почти все они ругались, толкались. Никак не могли примириться с тем, что вот есть такой, который на ладан уже дышит, а все не хочет подчиниться, не просит пощады... Старший Калафута несколько раз ударил его по голове и лицу и разбил нос. Вся одежда была в крови. Потом пришли и объявили: назначена порка за то, что бросился на начальника.

— Если вы меня выпорете, я покончу с собой, — твердо ответил Борис.

— Посмотрим,— ответил объявивший ему это помощник.— Что же, ты и сейчас не будешь подчиняться?

— Не ты, а вы!—крикнул Борис.—Что бы вы со мной ни делали, а вашему подлому режиму я подчиняться не буду!

Помощник с ругательством толкнул его ногой и вышел. Это был, кажется, последний удар. На некоторое время его оставили в покое. И порки, несмотря на неоднократные угрозы, к нему не применили. Даже в листке дисциплинарных наказаний * не упомянуто ни о том, что он бросился на начальника, ни о назначении ему розог. Конечно, не тем нужно объяснить это, что в сердце тюремщиков закралась жалость к человеку, которого они привели на край могилы. Объяснение гораздо элементарнее. Зверства, совершавшиеся Синайским и его присными, получили огласку, вызвали шум, и высшее начальство, до сих пор поощрявшее его, предписало ему скрыть следы всего происшедшего. При применении розог к Жадановскому и при внесении в журнал дисциплинарных взысканий мотивов этого наказания легко вышел бы наружу тот факт, что начальник собственноручно избил политического каторжанина.

* * *

Мучительно медленно потянулись дни голодовки в темном карцере. В первые дни Борис кое-как поднимался на ноги и делал несколько шагов по карцеру. Окончательно слег уже на пятые сутки.

В эти дни тюрьму обходил прокурор. Предупрежденное о его посещении начальство тюрьмы велело вместо окровавленной одежды надеть на избитых чистую. Когда прокурор появился в дверях карцера, Борис, ослепленный хлынувшим в дверь дневным светом, не разглядел его формы и принял его за одного из помощников. Поэтому он не ответил ему ни на приветствие, ни на вопрос о том, имеются ли жалобы и заявления. Другие избитые все сделали ему подробные заявления. Конечно, эти заявления сами по себе большой роли не сыграли,

---

* См. ниже.

Голодать было легко. Голода он совершенно не чувствовал, только слабость прогрессивно возрастала. Мучением было лежать избитым телом на голом асфальтовом полу, потому что в орловском карцере не полагалось для наказанных даже деревянной подстилки, хотя бы несколько предохранявшей от холода и сырости с пола. Мучили также наручники. Во время избиения Бориса несколько раз дергали за них со страшной силой, и теперь от всякого нажима очень болели руки. А не нажимать на наручники было нельзя, руки надо было на что-нибудь класть — на пол или на собственное тело. Боль распространялась и вниз на пальцы и вверх по руке и с каждым днем все возрастала в своей интенсивности.

Коридорная жизнь была слышна во всех своих подробностях. Слышно было, как выводили заключенных из одиночек и с ругательствами заставляли их подтягивать кандалы, чтобы они при ходьбе не издавали никакого звона. Грубая ругань висела в воздухе. Звук оплеух доносился даже через массивную дверь карцера. То и дело слышалось:

— Пошел сюда, сволочь, мать... — и хлоп! хлоп! а избиваемые безропотно, молча, по-рабски сносили все.

С прогулочного двора вместе с руганью доносились и иные звуки:

— Раз, два! Раз, два! Круг-о-о-о-м марш! Раз, два! Раз, два!

Так в Орловской тюрьме гуляли.

* * *

На седьмые сутки голодовки пришли больничные служителя-ротники (отбывавшие наказание в арестантском исправительном отделении, прежде называвшемся «арестантскими ротами») вместе со старшим Калафутой, вкатили Бориса на разостланное на полу одеяло, подняли и так, в одеяле, понесли в больницу. Принесли и опустили на пол.

— Ложись на кровать! — приказал старший Афоничкин.

Борис сделал попытку встать на ноги, но сил не хватило, и он тяжело рухнул на пол. Служителя бросились к нему, чтобы помочь подняться, но Афоничкин отогнал их:

— Пусть сам лезет!

Борис дополз до кровати. Но как лечь? На кровати лежал соломенный тюфяк, набитый до такой степени туго, что представлял собою настоящее бревно. У Бориса не было сил, чтобы изменить его строго цилиндрическую форму, умять так, чтобы сделать его поверхность сколько-нибудь плоской. Его нужно было бы для этого снять на пол и долго прыгать по нем, уминая руками и коленками. Служителя опять хотели помочь, но старший опять не позволил:

— Пусть так ложится, сволочь!

После долгих усилий Борис, наконец, вскарабкался, но лежать было положительно невозможно: при малейшей оплошности он потерял бы равновесие и скатился бы на пол.

— Совсем как на велосипеде! — сострил старший Калафута и расхохотался.

Расхохотались и другие надзиратели, бывшие там. Чувство жалости и человечности было им недоступно.

Впоследствии и сам Борис, вспоминая свою позу, не раз смеялся над этой маленькой неприятностью. Но в ту минуту ему было не до смеха. Голова кружилась, и он мог бы сильно расшибиться, если бы упал на пол. Когда старшие вышли, служителя поправили ему тюфяк.

Тем же порядком принесли в больничную камеру Шмидта и Короткова, тоже голодавших. Голодают ли другие, они не знали. Только впоследствии узнали, что голодал также и Лукс. Здесь они все пробыли сутки, и их унесли обратно в одиночный корпус. Принесли же затем, чтобы применить к ним искусственное кормление.

Искусственное кормление состояло в том, что голодающим ставился клистир с питательной смесью. В сущности, это было новым видом пытки, хотя врач, под руководством которого это мучительство производилось, человек довольно вежливый и любезный, имел в виду только спасение жизни своих подневольных пациентов. На все доводы Бориса и его товарищей он отвечал:

— Здесь я только врач в самом узком смысле этого слова. Я совершенно не вхожу в рассмотрение мотивов, по которым вы отказываетесь принимать пищу. Может-быть, вы правы, и жизнь для вас во сто раз хуже смерти. Но меня это не касается. Раз меня пригласили оказать вам помощь, я из профессионального долга обязан это сделать.

— Но вы нам доставляете страшные физические и нравственные мучения, — убеждал его Борис. — До вашего кормления голодать было очень легко, нечувствительно, а как только вы начали, мы стали испытывать боль, галлюцинации, голодание сделалось мучительным.

— Очень сожалею об этом, но тем не менее я как врач и в особенности как тюремный врач должен это делать, — с чиновническим хладнокровием отвечал врач.

Борис скоро совершенно перестал с ним разговаривать, убедившись, что его формализма не прошибить ничем.

В кошмарах, которые сопровождали искусственное кормление, Борис видел не только пищу, всякие роды пищи... Его расстроенное воображение рисовало в самых причудливых сочетаниях картины пережитого. Непрерывно его окружали ругающиеся надзиратели с искаженными страшными лицами. Они обливали его горячим ароматным супом, приносили на блюдах огромные куски ростбифа, и, когда он протягивал к этой пище

руки, они исчезали. Огромные колбасы и всякая другая снедь появлялись перед ним и лезли в глаза отовсюду, и, как он ни старался убедить себя, что это не действительность, ничто не помогало. Один раз случайно вышло так, что клистира не ставили $1^1/_2$ суток. Это было отдыхом от галлюцинаций. Снова стало легко и спокойно на душе, и даже слабость, нахлынувшая на него с особенной силой, казалась приятной.

Борис был слабее остальных голодавших, и, опасаясь за его жизнь, врач на десятые сутки положил его в больницу.

Голодовка окончилась на 17-е сутки. Стали получаться утешительные сведения о том, что избиения прекратились. Заключенные ставили это в связь с посещением прокурора и с многочисленными заявлениями ему о непрестанных избиениях. Но дело, конечно, было не в этом. Прокурор и до того прекрасно знал, что творится в Орловском централе, как знали об этом и высшие власти. Заявления делались и раньше, но тогда на них просто не обращали внимания. А теперь вокруг Орловского централа стали ходить слишком уж скандальные слухи; проникавшие в печать сведения возбуждали общественное мнение; левые фракции Государственной Думы готовили новый запрос. И Синайскому была дана сверху директива несколько ослабить свое усердие. Ибо радикально режим в тюрьме все-таки не изменился, и Орловская тюрьма продолжала оставаться тем страшным адом, одна мысль о котором вызывала трепет у самых неустрашимых бунтарей каторги.

Борис прекратил голодовку, когда узнал, что кончили голодать остальные. Продолжать ему одному не имело смысла, так как администрация стала обращаться с ним гораздо лучше. Было видно, что его решили оставить в покое.

II.

ВО ВЛАСТИ ЗВЕРЕЙ.

В больнице. — Как убивали голодом. — На гранях смерти. — В одиночке. — Начальник Колченко. — «Дисциплинарные взыскания».—«За упорное нежелание». — Письмо к матери. — Хлопоты о переводе. — Он непокоримый. — Удача. — Что впереди? — Орловские рекомендации.

Два с половиной месяца, которые провел Борис в больнице после избиения и голодовки, оставили по себе мало воспоминаний. Голод и холод — вот все, что он мог впоследствии сказать об этом периоде.

После голодовки нужно было усиленное питание, но жить приходилось на скудной больничной порции, никогда не насыщаясь, всегда испытывая острую потребность в наполнении желудка.

Холод начался в сентябре. На летнее время больным одеял не выдавалось, их заменяли тонкие ситцевые покрывала. Осень же наступила в этом году ранняя и очень холодная. Старший Афоничкин, царствовавший тогда нераздельно в больнице, находил особенное удовольствие в том, чтобы мучить холодом отданных в его власть людей. Он не разрешал закрывать окна не только днем, но и ночью.

— Морду побью, если увижу окно закрытым, — грозил он, показывая свой увесистый кулак. — Вы тут, мать вашу... хоть все передохните, мать... мать....., а чтобы у меня окна не закрывать.

И все его так боялись, что самые страшные мучения от холода казались гораздо более предпочтительными, чем его страшные кулаки. Борис один раз не стерпел и закрыл окна, но досталось не ему, а палатному служителю. Пришлось терпеть холод, чтобы не подвергать побоям других. Особенно страдали кавказцы, которых очень много было загнано в Орел. Эти несчастные от холода доходили до помешательства. В конце концов Борис прямо по температуре ночи мог заранее сказать, будут ли в этот день покойники, и редко ошибался даже в числе. У него оставалось убеждение, что большинство умирало прямо от холода, что, будь в палате теплее, эти смерти не были бы неминуемыми в такой степени.

В это время Борис, человек с мягкой и отзывчивой душой, стал чувствовать себя холодным и бессердечным. Страдания и смерти, постоянным зрителем которых он здесь был, не производили на него того впечатления, которые они произвели бы прежде, при других условиях. Внешне он сочувствовал человеческим страданиям, т. е. делал все то, что обыкновенно делается, когда человек испытывает чувство сострадания: он подавал воду умирающим, оправлял их жесткие постели, покрывал корчащихся от холода своей одеждой, словами дружеского утешения, надежды облегчал последние минуты страдальцев, но все это он делал потому, что так *должно* поступать в таких обстоятельствах, а не потому, что его побуждало к этому внутреннее чувство, непобедимая потребность облегчить и усладить.

Испытанные им самим страдания, постоянное пребывание на гранях смерти, непрерывное напряженное ожидание, что все это вот-вот повторится, и победа над собственным человеческим страхом смерти и мук, одержанная им в эти дни тягчайших испытаний, — все это огрубило его душу, уничтожило в нем чувствительность и мягкосердечие.

Вечная загадка о жизни и смерти стояла здесь перед ним. Наблюдения над собой и над другими привели его к ряду новых для него мыслей, подтверждение которых он нашел потом в книгах. Движения человеческой души при приближении рокового и неизбежного особенно привлекали к себе его вни-

мание. Он мечтал о том, что когда-нибудь на бумаге изложит свои наблюдения и выводы, наблюдения и выводы профана, подходящего к смерти не как врач, не как духовник и не как философ, а как один из тех, которые, умирая и глядя в глаза смерти, видят в ней обыденный нестрашный факт повседневности. Восточное равнодушие к смерти, которым отличались почти по-животному слепо умиравшие кавказские татары, было низшей ступенью в его системе, а высшую представляло отношение его самого и его ближайших товарищей, тоже совершенно лишенное страха и трепета, но определявшееся не низкой степенью интеллекта, а сознательной расценкой обстоятельств их жизни как нестерпимых для людей, чтущих свое человеческое достоинство и ставящих его соблюдение выше голого факта существования.

Борис в такой степени свыкся с мыслью о смерти, так просто казалось ему умереть, что, выходя из больницы, он твердо решил покончить с собой, если возобновятся избиения. Он не доверял слухам о прекращении орловских ужасов и ждал, что за него возьмутся теперь, когда он несколько оправится. «Первые дни я буквально каждую секунду ожидал боя»,—пишет он.— «Тяжелое время! Пожалуй, тяжелей и не было. Тут в первый раз я примерил ремешок на горло — оказалось как раз. Но я только примерил. Я ведь большой противник самоубийств. Для себя я считаю обязательным самоубийство только в случае порки. В остальных же случаях стараюсь устоять, хотя, несомненно, возможны положения, когда ничего иного сделать не остается».

Однако, «боя» над ним не учинили. Прежняя систематичность избиений действительно отошла в область преданий. Если и избивали, то лишь тех, с чьей стороны нельзя было ожидать серьезного отпора или протеста. Но издевательства всякого рода Борису испытывать все же приходилось. Поскольку эти издевательства выражались в лишении выписки продуктов, в строгой изоляции в одиночной камере, в запрещении переписки с родными, в недозволении пользоваться книгами из тюремной библиотеки и собственными, Борис мирился, как ни тяжело это было. Но самым тяжелым было тоже систематически применявшееся к нему издевательство другого рода — грубость и ругань тюремщиков. Особенно отличался в этом помощник Плетенев, который заходил в одиночку к Борису только для того, чтобы несколько раз просклонять местоимение «ты» и пригрозить после неизменного протеста возобновлением расправы.

В апреле Синайского, ненавидевшего Бориса всей своей низкой, маленькой душой, наконец, убрали, переведя его в Москву помощником в каторжное отделение Бутырской тюрьмы. Его сменил новый палач—Колченко.

* * *

В первые дни всем каторжанам Орловского централа думалось, что приезд нового начальника означает действительно ради-

кальную перемену в режиме. «Не может быть, — думал каждый из них, — чтобы убрали Синайского лишь затем, чтобы на его место посадить такого же». И в первые дни, пока новый начальник еще не развернулся, казалось, что так оно и есть, что для орловских страдальцев наступают новые времена. Даже у Бориса наступил некоторый перерыв в систематических наказаниях.

Но это был лишь короткий миг. Снова усилилась ругань, опять пошли побои.

Первое избиение при новом начальнике имело место 9-го мая 1913 г., второе — 5-го июля. Колченко хотел воскресить худшие времена синайщины. Но после истории с шлиссельбуржцами, после их протестов среди заключенных начал воскресать задушенный, было, дух возмущения. Пример Бориса, не желавшего подчиниться и одержавшего в конце концов моральную победу над извергами, поднял дух во многих. При криках избиваемых, особенно во второй раз, бешено стучала в дверь и кричала почти вся «одиночка». Этот протест, правда, дорого стоил заключенным — 5 человек было подвергнуто порке, 40 человек попали в карцер, многим было по нескольку лет прибавлено кандального срока. Но Колченко увидел, что старые орловские времена прошли. Начались смелые заявления тюремному инспектору, начальнику главного тюремного управления и другим начальствующим лицам. Борис тоже сидел в карцере за эту «волынку» и тоже делал заявления.

Колченко унаследовал от Синайского исключительное пристрастие к Борису, которое особенно возросло после личного столкновения между ними, когда Борис потребовал от начальника вежливого обращения.

За все время своего пребывания в Орле, т.-е. за 18 месяцев, Борис только один раз «для пробы», как говорил он сам, вышел на прогулку. Но его подстерегали, чтобы лишний раз найти «законный» повод для наказаний. «Проба» выразилась в том, что через минуту он был возвращен с прогулки прямо в карцер за отказ снять шапку перед помощником, который, получив донесение, что Жадановский вышел гулять, в ту же минуту оказался на дворе.

За все это время ему дали написать лишь одно письмо домой. Правда, через год после первого ему было разрешено написать и второе письмо, но, как оказалось впоследствии, это была ошибка нового и еще неопытного помощника, за которую попало не помощнику, а Борису: на него наложили не в счет какое-то лишение. Книги за это время он видел лишь урывками.

* * *

Его жизнь в Орле за эти полтора года прекрасно иллюстрируется нижеследующим перечнем тех дисциплинарных взысканий, которым он подвергался:

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ		
Г. М. Ч.	ПРОСТУПОК: (кратко)	ВЗЫСКАНИЯ:
	Вследствие отношения начальника Шлиссельбургской каторжной тюрьмы от 20 июля 1912 г. за № 6119, за то, что во время утренней поверки заявили протест против того, что товарищей их пороли и опустили койки, должен отбыть в темном карцере 21 день. Начальник Отделения *Синайский.*	
1912 год Июля 21.	По прибытии с этапа в Отделение * держал себя вызывающе, предъявляя в числе других арестантов незаконные требования, и, наконец, в числе других арестантов, прибывших с ним вместе, учинил в одиночной камере беспорядок (стук в двери и крики). Начальник Отделения *Синайский.*	Темному карцеру на 7 суток и светлому карцеру на 7 суток. После привода из больницы в одиночный корпус.
1912 год Сентября 26.	За упорное нежелание, начиная с самого дня прибытия в Отделение, подчиняться установленным тюремным правилам, требует обращения на «Вы» и не отвечает на приветствие установленным порядком. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки, свиданий, чтения книг и выписки продуктов на 1 месяц, т.-е. по 26 Октября 1912 года.
1912 год Октября 27.	За то же. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки и свиданий на 1 месяц, т.-е. с 27 октября по 27 ноября 1912 г.

* Орловский каторжный централ официально именовался «Орловское Исправительное Арестантское Отделение и Временная Каторжная тюрьма».

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ		
Г. М. Ч.	ПРОСТУПОК: (кратко)	ВЗЫСКАНИЯ:
1912 год Ноября 27.	За то же. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки и свиданий на 1 месяц, т.-е. с 27 ноября 1912 года по 27 декабря 1912 года.
1912 год Декабря 27.	За то же. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки и свиданий на 1 месяц, т.-е. с 27 декабря 1912 года.
1912 год Декабря 27.	За то же. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки и свиданий на 1 месяц, т.-е. с 27 декабря 1912 года по 27 января 1913 года.
1913 год Января 27.	За то же. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки и свиданий на 1 месяц, т.-е. с 27 января 1913 года по 27 февраля 1913 года.
1913 год Февраля 26.	26 февраля 1913 года при объяснении с г. Прокурором Окружного Суда держал себя вызывающе и требовал в дерзкой форме обращаться с ним на «Вы». Начальник Отделения *Синайский.*	В темный карцер на 7 суток.
1913 год Февраля 27.	За упорное нежелание, начиная с самого дня прибытия в Отделение, подчиняться установленным тюремным правилам, требует обращения на «Вы» и не отвечает на приветствие установленным порядком. Начальник Отделения *Синайский.*	Лишить переписки и свиданий на 1 месяц, т.-е. с 27 февраля по 27 марта 1913 года.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ		
Г. М. Ч.	ПРОСТУПОК: (кратко)	ВЗЫСКАНИЯ:
1913 год Апреля 29.	При появлении помощника во время прогулки по команде надзирателя не снял шапки и кроме того дерзко заявил, что и впредь не будет делать этого.	Темному и светлому карцеру по 7 суток, а всего 14 суток.
1913 год Июля 5.	Находясь в камере одиночного корпуса, 5 июля с. г. шумел и бил парашей с целью произвести беспорядки в тюрьме.	Одиночному заключению* на 20 дней и лишить выписки продуктов, свидания, переписки и чтения книг кроме Священного Евангелия на 1 мес.
1913 год Авг. 12.	Упорно не желает подчиняться установленным правилам тюремного распорядка.	Лишен в течение месяца свидания, выписки, чтения книг, кроме Свящ. Евангелия и переписки.
Сент. 27.	За то, что при проезде ассенизационного обоза открыл окно и пытался войти в сношение с арестантами-обозниками и при объяснении с дежурным Помощником Ивановым ** держал себя вызывающе.	Выдержать в темном карцере 7 суток и светлому на 7 суток, а всего 14 суток.
1913 год Ноября 11.	За отказ подчиняться установленным правилам тюремного распорядка.	Лишить переписки и свидания, а также чтения книг, кроме Свящ. Евангелия, на 1 месяц.
11 дек.	За упорное нежелание подчиняться установленным правилам тюремного распорядка.	Лишить свидания, выписки, переписки и чтения книг, кроме Святого Евангелия на 1 месяц.
1914 год Янв. 12.	За то же.	Лишить свидания, выписки, переписки, чтения книг, кроме Св. Евангелия на 1 месяц.
	Начальник Орловской Временной Каторжной Тюрьмы *Колченко.*	

* «Одиночное заключение» — карцер со светом и горячей пищей на каждые 4-е сутки.

** Помощник Иванов особенно придирался к Борису, и обвинение в сношении с обозниками было чистейшей выдумкой.

* * *

Домашние Бориса долго не знали о том, куда увезли его из Шлиссельбурга. Только в конце августа до них дошло известие, что он переведен в страшный Орел. Немедленно Ольга Николаевна шлет начальнику телеграмму с оплаченным ответом, в которой справляется о здоровье сына и спрашивает, можно ли ей получить с ним свидание.

«Уведомьте, что за неподчинение режиму Жадановский лишен свиданий и переписки», — кладет свою резолюцию Синайский, и помощник Земляк через несколько дней сообщает об этом... открыткой.

В начале октября Ольга Николаевна в ответ на свое письмо начальнику получает сообщение следующего рода:

> Вследствие письма Вашего, по приказанию господина Начальника, Канцелярия Отделения уведомляет Вас, что здоровье сс.-каторжного арестанта Жадановского посредственное, так как Вам должно быть известно, что Жадановский болен туберкулезом легких. Жадановский за неподчинение установленным тюремным правилам лишен свиданий и переписки до полного исправления. Разрешение переписки и свиданий зависит от г. Начальника, и он до тех пор, пока Жадановский не будет подчиняться тюремным правилам, этого не разрешит.
>
> Просить о разрешении свиданий можно кого угодно, но Начальник всегда будет говорить о нежелательности свиданий. К Борису Жадановскому может быть пропущено лишь одно письмо от Вас при условии, если в нем будет выражено пожелание о подчинении тюремному режиму.

Та же самая песня уже за подписью самого Синайского поется в следующем письме:

> Милостивая Государыня,
>
> Борис Жадановский за упорное нежелание подчиниться существующему тюремному режиму наказан на 1 месяц лишением выписки, переписки, свиданий и чтения книг. Срок наказания истекает 26 октября, но, судя по всему, Жадановский и впредь не пожелает подчиниться и, само собою разумеется, наказание однородное с предыдущим будет вновь на него наложено по истечении срока первого наказания. Я готов пропустить ему одно только письмо от родных, в котором ему был бы дан совет подчиниться. Состояние его здоровья удовлетворительное, а наружный вид гораздо лучше, чем был в день прибытия во вверенную мне тюрьму. В больницу он был помещен тотчас же по прибытии на испытание как туберкулезный, а в настоящее время содержится в ней по личной его просьбе врачу отделения. Деньги имеются, выписку разрешу. Лекарств никаких не требуется.
>
> Начальник Отделения Синайский.

Это письмо дает прекрасное представление о том, что из себя представлял штабс-капитан Синайский. Во-первых, в день

отправления этого письма—17-го октября—Бориса выписывают из больницы. Во-вторых, избитый самим Синайским Борис, конечно, имел «в день прибытия» не такой вид, как после $2^1/_2$ месячного пребывания в больнице, все прелести которой были описаны выше. И в-третьих, «тотчас же по прибытии» он не был помещен в больницу, а после зверского избиения был брошен в карцер на голый асфальтовый пол, где пролежал девять дней, все время голодая, и только на десятые сутки голодовки был отнесен в больницу почти умирающим. А чего стоит это настойчиво выраженное желание, чтоб родные повлияли на неисправимого арестанта!

Надо добавить, что всю эту ложь Синайский повторил в ответ на запрос гл. тюремного управления, вызванный жалобой Жадановской на отказ ей в свидании и в переписке с сыном. Эта жалоба, конечно, была оставлена без последствий.

Новая надежда получить свидание с сыном появилась у несчастной матери после высочайшего манифеста 21-го февраля 1913 года, но эту надежду убил следующий ответ на ее запрос:

> По приказанию г. Начальника Отделения Канцелярия Отделения сообщает, что свидание с Жадановским не может быть дано, так как Жадановский за дерзкий ответ Прокурору посажен в карцер и права на свидание в течение семи дней после Манифеста лишился.

* * *

В августе Ольга Николаевна решила лично убедиться, что ничем нельзя смягчить сердце тюремщиков, и поехала в Орел. Колченко был с нею вежлив, но дать свидание с сыном категорически отказался.

— Я могу дать свидание только в том случае, если вы напишете ему письмо, в котором настойчиво посоветуете подчиниться тюремному режиму, и если он, прочтя это письмо, даст честное слово, что, начиная с этого момента, оставит все свои выдумки.

Письмо Ольга Николаевна написала, постаравшись сообщить в нем побольше сведений о родных и знакомых, но Борису был передан только тот кусочек, в котором были советы о подчинении. Слова он, конечно, не дал, и несчастная мать должна была ни с чем вернуться в Харьков.

Вскоре после этого Борису представился случай — единственный за все это время! — написать нелегальное письмо. Письмо это написано огрызком карандаша на маленьких клочках папиросной бумаги мельчайшим почерком. Вот что писал он:

> Милая, родная моя мамочка! Итак, ты, бедная, приезжала в этот проклятый Орел и беседовала с этим отвратительным человеком! Бедная мама! Меня об этом уведомили, конечно, дали кусок твоего письма. — Ну, я должен на этом кусочке изложить вам всем, мои дорогие, о себе. Здоровье у меня не так плохо, как ты, мамочка,

думаешь. В общем, могу сказать, не кривя душой, что оно не хуже, чем в Шлиссельбурге, а условия здесь действительно ужасны, уж ни в какие сравнения с Шлиссельбургом не пойдут... Условия страшно тяжелые. Я не стану этого скрывать. Этот новый начальник весьма большой негодяй. Но и на нем сказывается дух времени. Так, когда он ругается, то делает это очень культурно, по его мнению, — именно, хотя ругань самая отвратительная, но произносит он ее тихим голосом. За этакую «культурность», оказанную им мне, я уже не стану вовсе с ним говорить, из - за чего, вероятно, будут недоразумения... Духом я так же бодр, как всегда, и даже теперь моложе, чем когда бы то ни было. Уверьте барышень, что когда я выйду на волю, то не ударю лицом в грязь ни в венском, ни в мазурке... Ах, как это выдумали они лишить переписки! Ужасно тяжело это лишение. Я не говорю о моем поведении, я уверен, что все вы прекрасно меня понимаете: не могу же я подчиняться правилам, направленным исключительно к унижению человеческого достоинства. Так унижать себя я никогда не позволю и об этом у меня не может быть ни сомнений, ни вопросов. Ты, мама, писала в письме против этого, но я уверен, что ты прекрасно понимаешь в этом меня, как я понимаю тебя, моя хорошая. Итак, видно, вопрос относительно перевода меня в какую - либо другую тюрьму можно считать окончательно лопнувшим. Нуь, ведь, выбрали наихудшую и из нее не выпустят.

Вопрос о возможности перевода в другую тюрьму, очень волновал и самого Бориса и его родных и друзей. В этом отношении был предпринят ряд попыток. На первую из них — прошение матери о переводе Бориса в Харьковскую каторжную тюрьму тогдашний начальник главного тюремного управления Хрулев ответил отказом «за отсутствием каких - либо уважительных оснований». Сам Борис никаких прошений об этом не подавал, но при посещении Орловской тюрьмы начальником главного тюремного управления Граном, сменившим Хрулева, он сделал ему об этом устное заявление. Не рассчитывая особенно на Грана, он просил одного товарища по каторге, кончавшего срок и собиравшегося на этап, при первой возможности написать его родным о новой комбинации, которая, как он рассчитывал, избавила бы его от орловского ада. Исполняя его просьбу, этот товарищ уже из Сибири писал:

Так как положение Бориса скверное и улучшения не видать, он просит переговорить (указываются подробно пути) о замене каторги на тюрьму, так как туберкулезным заменяют по просьбе на 25 лет тюрьмы. Он же сам не может подать прошения по этому поводу. Ему помешает орловская администрация, так как он непокоримый. Сделайте все, что можете, иначе он погиб!

Такие замены каторги тюрьмою с соответствующим увеличением срока действительно практиковались в случаях серьезной

болезни арестанта и при его желании. Но, понятно, что только долгосрочные, которым все равно нечего было терять, соглашались на увеличение срока, который за то приходилось отбывать в более мягких условиях. Однако к этой новой комбинации прибегнуть не пришлось.

* * *

В конце 1913 года Ольга Николаевна получила одно за другим два письма от упомянутого выше пом. прис. поверенного А. В. Неустроева, горячо интересовавшегося судьбою Бориса, в которых он, уговаривая ее не опускать рук после первых неудач, указывал конкретные шаги, которые могли бы привести к успеху. «Прошение, — писал он, — должно быть написано в самых искренних словах и как можно яснее по смыслу. По отсылке прошения просите Ваших родственников и знакомых сходить самим в гл. тюр. управл., к начальнику, а также просите их, чтобы артистов, сенаторов, ченов Гос. Совета, кого угодно брали за бока и двигали поддержать Ваше прошение. Кто-нибудь *должен* этому делу посвятить неделю-другую — и дело завершится. Всегда нужно думать о благоприятном исходе и его добиваться, не боясь отказов. Своими хлопотами Вы никогда не повредите» и т. д.

Следуя этому совету и заручившись поддержкой депутатов Гос. Думы, Ольга Николаевна вновь подала прошение о переводе сына из Орла, и на этот раз хлопоты увенчались успехом. Об этом она узнала из официальной бумаги.

Министерство Юстиции.

ГЛАВНОЕ
ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Делопроизводство III,
распорядительное.
7 января 1914 года.
№ 235.

От Главного Тюремного Управления объявляется вдове инженер-подполковника Ольге Николаевне *Жадановской* на прошение ее, поступившее в Главное Тюремное Управление 19 декабря 1913 года, что вместе с сим сделано распоряжение о переводе сына ее, ссыльно-каторжного арестанта Бориса Жадановского из Орловской в Херсонскую временную каторжную тюрьму.

Помощник Начальника Главного
Тюремного управления *А. Принц.*

В маленькой квартирке на Старо-Московской улице царила радость великая. О том, что из себя представляет Херсонская тюрьма, они не знали, но уж если согласились Борю перевести,

то, конечно переведут его не в худшую тюрьму. Да и может ли быть на свете что-нибудь хуже Орла?! В новой тюрьме дадут, конечно, и свидания, и переписку. Он отдохнет, поправится.

Но когда Бориса 18-го января взяли на этап и сообщили, что он переводится в Херсон, он особой радости не испытал. Конечно, все лучше, чем Орел, но в Орле, по крайней мере, он тяжелой борьбой сумел отвоевать себе известное положение, а в Херсоне придется начинать сызнова. Про Херсон — правда, давно уже, — он слышал, что там практикуются избиения почище орловских даже. И своим предвкушением того, что его ожидает, он испортил и радость своих домашних.

«Сейчас отправляют в Херсон, — писал он в маленькой записке домой. — Это, кажется, последнее слово по части избиений. Так раньше было. Теперь не знаю».

Тут же он делился последними новостями из Орла. Колченко ведет настоящую травлю политических. Заморил себя голодной смертью Симоненко, бессрочный, б. матрос из Севастополя, еще в Шлиссельбурге в 1907 году ставший на точку зрения принципиального отрицания всякого подчинения тюремному режиму и державшийся с поразительным мужеством до самого конца. Его нещадно избивали, пороли, морили в карцерах, но сломить и подчинить не смогли. Коротков, прибывший вместе с Борисом из Шлиссельбурга, вешался, но его привели к жизни. Повесился Шубович. Было много других «неудачных» покушений на самоубийство. Подготовлялось массовое самоубийство человек 10 сразу. Там было ужасно. Но что впереди? Что впереди? Но что бы ни было впереди, его не запугают, не сломят. И он заканчивает это письмецо словами, такими характерными для него, так великолепно отражающими его мужественный дух:

«Ну, да посмотрим. Я не сдаюсь ни перед кем!»

Григорий Курочкин, прибывший с ним вместе из Шлиссельбурга в Орел и сидевший через камеру от него, в своем письме из Сибири к Ольге Николаевне говорит:

«Да, он не сдается ни перед кем. Чуткий и отзывчивый, всегда готовый реагировать на отрицательные стороны тюремной жизни, он, как Протей, черпает свою силу в сопротивлении, в борьбе с произволом, с полновластием церберов, этих апостолов гнета и мордобития. Он не попрал в себе *человека*, не согнул головы своей перед озверевшими гнусными насильниками, потерявшими человеческий облик».

* * *

Понятно, что так же, как и при переводе из Шлиссельбурга в Орел, при переводе Бориса из Орла в Херсон начальство постаралось дать ему самые отвратительные рекомендации.

Первым делом был предупрежден начальник орловской конвойной команды о том, что за этим арестантом «как за весьма

важным преступником» необходимо установить «особо тщательный надзор в целях предотвращения его побега или насильственного освобождения». Это уже обрекало Бориса на ряд стеснений и неприятностей в пути.

Рекомендации же его поведения были формулированы следующим образом:

1) В Статейном списке:

> Во время содержания в Орловском Испр. Арестантском Отделении и Вр. Каторжной тюрьме поведения был *самого скверного.*
>
> Начальник Орловской Временной
> Каторжной Тюрьмы *Колченко.*

2) В Статистическом листке:

> Во время и т. д. *поведения* был *отвратительного, характера неспокойного, к администрации и надзору относится непокорно, непочтительно и даже дерзко. Категорически отказался подчиняться установленному тюремному режиму и отвечать на приветствие, все время требовал называть его на «Вы».*
>
> Помощник Начальника
> Заведывающий делопроизводством
>
> *Павличенко.*

Но злобному Колченко и этого показалось мало, и он особым отношением к начальнику Херсонской каторжной тюрьмы постарался указать своему коллеге, как нужно обойтись с «этим арестантом» в новой тюрьме. В отношении этом он писал:

> ... Сообщаю Вашему Высокоблагородию, что арестант этот с момента прибытия с этапа во вверенную мне тюрьму 21 июля 1912 г. держал себя крайне вызывающе, предъявляя ряд безрассудных требований в роде того, чтобы ему говорили «Вы», а не «ты»; в день прибытия в тюрьму учинил беспорядок в одиночном корпусе с другими арестантами, прибывшими вместе с ним; за все время содержания *Жадановский* поведения был самого скверного, категорически отказывался подчиняться установленному порядку, к администрации и надзору относился враждебно, непочтительно и часто дерзко; на приветствие отвечает «здравствуйте», а не «здравия желаю», содержался он все время в одиночной камере и при выходе в баню, на прогулку или в уборную был сопровождаем особо приставленным к нему надзирателем.

 *

III.

ПО ЭТАПУ.

Победитель. — В Курске, — «Вы, а не ты». — В рукопашную. — «Выпорю!» — У начальника тюрьмы. — Легкий выход. — Курский конвой. — В вагоне. — «Кувыркалы». — В Харькове. — Неожиданная похвала. — Голодные.

И все-таки, покидая Орел, Борис чувствовал себя победителем. Именно, победителем! Победителем в жестокой долгой борьбе, в которой все преимущества были на стороне врага. Не было, пожалуй, торжества и ликования. Эти чувства судьба приберегала для другого, еще далекого момента его многострадальной жизни. Но было то спокойное удовлетворение, которое дает прекрасно выдержанный экзамен. На эту борьбу, на этот экзамен он шел с поднятой головой, с уверенностью в своей нравственной силе, но с большим трепетом и сильной тревогой за свои физические силы. Дух был силен, но плоть была немощна, и столько примеров он видел, когда жалкая, слабая плоть подводила самую мощную волю, заставляла ее сдаваться. А он не сдался, хотя много раз гримаса смерти скрывала от него улыбку жизни.

Орел был позади, но впереди ведь было то же самое: тот же враг и та же цель борьбы. Всякая новая тюрьма, открывая перед ним свои ворота, готовила ему те же испытания.

Чтобы добраться до Херсона, надо было побывать в ряде тюрем, потому что он на этот раз шел не специальным, а очередным этапом, от города до города, от тюрьмы до тюрьмы, единственный политический, единственный каторжанин в огромной толпе всякого пересылаемого по разным делам сброда — пьянчуг, мелких воров, проституток, беспаспортных, одним словом, «кувыркал», как их презрительно именует аристократия тюремнаго мира, с которыми в пересыльных тюрьмах не церемонятся, над которыми издеваются не только конвойные и тюремщики, но и выше их стоящие уголовные арестанты и которые сами себя считают париями, не имеющими никаких человеческих прав. Быть пересыльным арестантом — значит испытать все то, что испытывают эти жалкие люди.

И не будь позади Бориса всего перенесенного, он, может-быть, и не захотел бы тратить своих сил на эти мелкие стычки с администрацией пересылок, стычки, не оставляющие за собой никакого следа, и победа в которых не принесет пользы ни ему самому, ни другим его товарищам, проходящим тот же путь. Но за ним был уже и Смоленск, и Шлиссельбург, и Орел, позади было большое, пожалуй, огромное. И теперь отступить в маленьком, случайном, он чувствовал, значило бы уронить

себя перед самим собой, потерять то уважение к себе, которое в нем было не поверхностным пресным чувствицем, как у большинства людей, а глубоким, утвержденным в борьбе, неистребимым чувством. И оттого пришлось ему в Курске принять и выдержать новый бой, о котором он любил впоследствии рассказывать юмористически, но в котором, как и всегда, на карту был поставлен весь его огромный капитал достоинства и чести революционера.

Конвойные солдаты, с которыми в пути он сдружился и которые оставили в нем по себе исключительно хорошее воспоминание, распростились с ним дружески за руку, пожелав поскорее кончить срок, а один из них, ефрейтор, обращаясь к пожилому помощнику, принимавшему этап и с некоторым удивлением смотревшему на эту сцену, пояснил:

— Больно хороший человек, ни за что страдает.

Помощник же этот, измученный и, видно, заезженный большой семьей и тяжелой службой человек, прочтя рекомендацию Бориса, данную орловской администрацией, и внимательно прочитав его статейный список, не стал его даже опрашивать, а, показав на него пальцем старшему, устало сказал:

— Этого вот в одиночку.

Борис даже спросил, когда пойдет следующий этап на Харьков и обрадовался, когда старший вместо помощника ответил, что ему придется погостить у них всего три дня. Старичек старший ему даже понравился. Это был тип старой тюремной крысы, видавшей виды и разбиравшейся в арестантах так же легко, как курица разбирается в насыпанном ей корме. Он был вежлив и даже ласков, словоохотлив и любопытен. Узнав, что Борис едет из Орловского централа, он соболезнующе покачал головой и выразил надежду, что в новом месте, авось, будет легче. Словом, первые впечатления были такого рода, что, казалось, три дня, которые нужно было здесь провести, будут приятным отдыхом.

Однако, вышло не так. Не успел Борис еще осмотреть одиночку, в которую его заперли, как отворилась дверь и к нему вошел помощник начальника, один вид которого вызвал в нем привычное ощущение враждебной брезгливости. Серые мутные глаза с мешками под ними и с тупым взглядом, низкий, плоский лоб с продольными складками, как у обезьяны, и тонкие закрученные усы под сизым носом сразу отрекомендовали своего владельца как скотину и пьяницу. Он неодобрительно осмотрел Бориса с головы до ног, зачем-то понюхал воздух и сипло буркнул:

— Здорово.

— Здравствуйте, — медленно ответил Борис, чувствуя уже, что хорошего тут ждать нечего и что ухнули все его мечты о спокойных трех днях.

— Ты что же, не знаешь, как нужно отвечать на приветствие начальству?

Борис хотел промолчать, — может-быть, и отвяжется, хотя ему был ясно, что этот тюремщик орловской породы и не зря, не случайно явился к нему. Он отвернулся.

— Ты что же? Чего молчишь?

— Я прошу вас говорить мне вы, а не ты, —ответил он и с такой жгучей ненавистью взглянул в тупые глаза стоявшего перед ним человека, что тот отступил назад.

— Что?!... Что ты говоришь?

Борис повторил. В ответ послышались совершенно нечленораздельные звуки: «Ого-о-о-! А-а-а-а!» — в которых было и недоумение, и возмущение, и угроза. Затем дверь захлопнулась.

«Ну, будет дело», — подумал Борис про себя и, усевшись на табуретку, стал ждать продолжения. Было противно почти до тошноты. Минут через пять помощник, фамилия котораго была Маляревский, как потом узнал Борис, вернулся, но уже не один. Перед ним выступал, закинув голову назад, другой помощник, которого Борис охарактеризовал потом, как «шустрого мальчишку и большого забиячку». Роста он был небольшого, тоненький, туго стянутый новым форменным пальто. И странно было услышать из уст этого почти мальчика басом произнесенное площадное ругательство. Борис вскочил и с некоторой оторопью взглянул на него. Последовало второе еще более грязное ругательство, а затем новый усмиритель, постепенно переходя с баса на визжащий дискант, начал орать:

— Ты что же это?! Грубить вздумал?! Ты — каторжный арестант! Не знаешь?!

— Я прошу и вас тоже говорить мне вы, а не ты.

— А-а-а! Ну, так я тебя научу! — и он широко размахивается, чтобы нанести удар.

Но Борис, наученный уже орловским опытом, стремительно делает шаг назад, в свою очередь размахивается, насколько позволяют наручники, и, приняв такимъ образом оборонительную позу, говорит:

— Предупреждаю, я буду отвечать!

Это производит совершенно ошеломляющее впечатление. Мальчишка таращит на Бориса глаза, точно перед ним какой-то диковинный зверь, и в нерешительности мнется на месте. В недолгой, но богатой практике расправ с арестантами ему еще не приходилось встречаться с таким отпором. Минута нерешительности, и он хватается за шашку, рассчитывая на мгновенный эффект. Сверкает сталь. Борис делает шаг вперед, руки на грудь.

— Руби!

Снова замешательство, и шашка постыдно прячется в ножны. Борис смотрит на него с улыбкой презрения и ждет, что последует дальше. А «забиячка» настолько растерялся, что вдруг со страшным визгом бросается на Бориса, отталкивает его к стене, схватывает его за обе руки у кистей, трясет их и кричит:

— Задушу! Голову откручу!

— Души, крути, валяй! — в тон ему отвечает Борис и, в свою очередь схватив его руки, держит их на уровне его лица. Помощник пытается вырвать их, но силенки для этого у него оказывается мало. Такое положение длится некоторое время, помощь не приходит, так как Маляревский, не зная, что делать, топчется у двери, а собственная изобретательности нападавшему изменяет. Наконец он пищит:

— Пусти, — и, вырвавшись из рук Бориса, задыхаясь от ярости и усилий, уже от двери угрожает: — сейчас тебя тут выпорю.

Через четверть часа Борис в темном карцере. Оба помощника снова приходят и ставят ультиматум: или немедленно и во всем покориться, или порка сию же минуту. Борис твердо ответил:

— Вам не придумать такого наказания, которое заставило бы меня изменить мое поведение.

Оба ушли с опущенными хвостами.

На другое утро его вызвали в кабинет начальника тюрьмы. Шел он туда с тяжелым чувством, будучи совершенно уверен, что все это добром не кончится и что уж не выбраться ему из Курска. Начальник тюрьмы, однако, не встретил его ни криком, ни руганью. Он кивнул ему головой, подозвал его поближе к себе и начал расспрашивать, что у него вышло с помощником Зуевым (только тут Борис узнал фамилию напавшего на него юного тюремщика). Борис обстоятельно рассказал все с начала до конца, подчеркнув, что такого поведения он держится с начала своей каторги, т.-е. уже больше семи лет. Начальник помолчал немного и сказал:

— Значит, Зуев мне соврал? Он сказал, что вы набросились на него с кулаками, и он только защищался от вашего нападения. У него действительно руки были в крови.

— Он негодяй! — вспылил Борис. — Мерзавец!

— Ну, потише, потише. Я ведь с вами говорю вежливо, и у вас нет оснований в моем присутствии повышать голос.

— Простите, господин начальник... Но это ложь. Он набросился на меня, а не я на него. Он мог сам исцарапать руки о мои наручники.

— Хорошо, я вам верю. Но вы понимаете, что я не могу сказать ему, что я поверил вам, а не ему. Поэтому я должен вас наказать... но, конечно, не розгами, как он настаивает. Вам придется отсидеть семь суток в карцере. Вы понимаете мое положение?

Борис прекрасно понимал. Этот неожиданно легкий выход из положения, казавшегося ему таким трудным, даже обрадовал его, и единственное, что его несколько смущало, был вопрос об этапе.

— Но я ведь должен в четверг идти на этап, — сказал он начальнику.

— Вы и пойдете. Из-за этого мы вас не задержим.

Этим все дело и кончилось. Больше он уже не видел ни Маляревского, ни Зуева, а в темном карцере, где было довольно тепло и относительно чисто, много спал, а еще больше мечтал, ходя из угла в угол.

* * *

Борис часто слышал в тюрьме, что из всех конвойных команд курская особенно отличается своей грубостью и жестокостью. Не без некоторой опаски поэтому вышел он из карцера в контору, где уже стояли конвойные солдаты и душ пятьдесят разного рода пересылаемых. Партия была принята, и ждали только его. Старший конвойный вопросами его не мучил. Спросил только фамилию, возраст, какой губернии, и попросил перечислить казенные вещи. Увидев, что у Бориса нет полушубка, а только армяк, он потребовал от дежурного помощника, чтобы полушубок был дан.

— У нас нет лишних полушубков, чтобы каждой сволочи давать, — был грубый ответ.

— Я тогда не приму его. Вы обязаны давать полушубки каторжным, а этот, смотрите, совсем больной.

— Не принимайте, мне какое дело.

— Но у меня был полушубок, когда я пришел из Орла, — вмешался Борис.

— А тебя кто спрашивает? — злобно огрызнулся помощник.

— Не тыкайте, пожалуйста. Я болен и требую полушубка. Позовите, пожалуйста, начальника.

— Начальника я звать не буду, а если ты будешь грубить, опять пойдешь у меня в карцер.

Конвойному этот разговор не понравился, и он решительно заявил:

— Если вы не дадите полушубка, я его не приму и сейчас же подам рапорт.

Это подействовало, полушубок был принесен, и через несколько минут партия двинулась в путь.

В вагоне старший отвел Борису самое лучшее место, предложив лежать все время. Другие конвойные солдаты тоже проявили к нему много внимания, были вежливы и сочувственно расспрашивали его о каторге. Такое отношение очень удивило его, и он сказал одному из солдат:

— А мне говорили, что ваша команда самая плохая.

Солдат немного помялся, а потом, широко улыбаясь, стал оправдываться:

— Мы, земляк, этому не виновны. Есть, конечно, у нас сволочи, но только их мало. Главное, старший какой. Наш старший ничего себе, не позволяет бить арестантов, баб тоже, которых возим, не трогает и нам не позволяет. Насчет водки тоже не очень. А другие есть, так у них первое дело облаять, побить, деньги или вещи какие есть отобрать. Вам вот кормовые выдали сразу на руки. А другой, бывает, деньги себе оставит, а пересыльным даст хлеба нашего же, который лишний. Ты ему скажешь что, так он тебе в морду. А баб всех перепробует и нам велит. А мы что ж? Мы не отвечаем.

— Ну, а разве не жаловались?

— Жаловались, да разве кто посмотрит на арестанта? Один раз писали в газете, ну, тогда начальник приказал, чтоб полегче. А нам ничего не было.

— А как же с женщинами? Ведь бывают честные.

— Честных так не возят. Бывают, конечно, Ну, такую не всякий тронет. А только таких баб мало, все больше бл...

— А политических вы возите?

— Политических мало теперь, раньше, говорят, много возили.

Подсели другие конвойные, и Борису представилась возможность немножко поагитировать. Его объяснения того, почему «политических» сажают в тюрьмы, ссылают на каторгу, были приняты с большим сочувствием и пониманием. Один из солдат не только внимательно слушал, но и подкреплял доводы Бориса примерами и фактами, проявив большую начитанность. Потом он подошел к нему и сказал, чтобы никто не слышал:

— Я, товарищ, сам рабочий, наборщик... Так что все понимаю. Ну, только у нас очень следят, чтоб разговоров не было. А все-таки есть в команде такие, с которыми можно говорить, сознательные ребята.

* * *

Товарищи Бориса по этапу тоже относились к нему хорошо. В большинстве это была мелкая уголовная шпана, в глазах которых закованный по рукам и ногам каторжанин был существом высшей породы. Они осматривали с любопытством железные знаки его достоинства и в ужас приходили, слыша, что он осужден на вечную. Сами они любили тюрьму, сжились с ней настолько, что, когда долго не попадались, начинали тосковать по ней. Но сидеть в тюрьме подолгу им очень не нравилось. Мало кому из них приходилось отсиживать больше, чем полгода, но и те несколько месяцев, которые они проводили за решеткой, казались им очень значительным сроком. Тут же перед ними был человек, уже отсидевший в тюрьме, — да еще в какой тюрьме, в каторжной! — восемь лет, и которому пред-

стояло сидеть до самой смерти. И естественно поэтому, что они наперерыв старались оказать Борису все те услуги, какие они только могли. Один из них, высылаемый после отбытия нескольких месяцев тюрьмы на родину, даже торжественно вручил Борису большой медный чайник, выигранный им, как он объяснил «в очко».

— Я все равно на волю иду. На что он мне? Проиграть или пропить. А вам пригодится на каторге.

Борис отказывался сначала, но потом принял этот подарок, увидя обиду на лице дарителя.

Одна из пересылаемых женщин, пошептавшись со старшим, перенесла свой узелок на соседнее с Борисом место, согнав с него какого-то пьяницу-старика с трясущимися руками и слезящимися глазами. Из грубых, хотя и добродушных шуточек соседей он понял ее намерения, но постарался скрыть невольную брезгливость. Он видел, что ею двигало большое человеческое чувство, а за ее циничными словами чувствовалась нежная женская душа. Он мягко, но решительно отказался от ее дара и все время поддерживал разговор на темах, далеких от ее профессии.

Вечером в вагоне воцарилось веселье. Один из конвойных принес гармонию, среди «шпаны» нашелся музыкант, и под визгливые и хриплые звуки «гармоники» плясали в узком проходе. Пели:

Жил на свете мужичек,
Маленький, горбатый...

цинично мимикой иллюстрируя похабную песню. А ночью, воспользовавшись сном старшего, конвойные и некоторые из пересылаемых забавлялись почти публично с женщинами. Звали Бориса, но он отказался.

* * *

В Харьковской губернской тюрьме все обошлось благополучно. Требование Бориса о вежливом обращении было уважено, и помощник, которому он это требование предъявил, особенного неудовольствия не выразил.

— Мне что же?—ответил он.—А только я не понимаю, что может быть оскорбительного для вас, если я вам как и всем говорю ты. Я ведь не хочу вас этим оскорбить. Я всем арестантам так говорю, потому что такой обычай и даже циркуляр был такой.

— Однако, если у вас сидят политические, вы с ними обращаетесь вежливо?

— Да, если они не осуждены еще.

— А осужденные в крепость или к простой отсидке в тюрьмах?

— Ну, это другое дело: они не лишены прав. И потом, это люди интеллигентные, образованные, отсидят и снова будут адвокатами, учителями, или врачами там...

— Ну, образованность и интеллигентность роли не играет. Если у вас будет сидеть какой-нибудь толстосум, который десять раз, не чихнув, может вас со всеми потрохами купить, вы будете перед ним на задних лапках ходить, хотя бы он был мужик-мужиком. Разве не правда? А если я осужден на бессрочную каторгу, то хоть бы у меня было десять раз высшее образование, вы все равно будете тыкать меня. Почему? Потому, что я в кандалах. Не имею веса в обществе, которому вы служите. Разве не так? А у меня чувство собственного достоинства, может-быть, развито в тысячу раз сильнее, чем у этого толстосума.

Но ясность и убедительность его доводов на помощника не действовали. По его глубочайшему убеждению, чувство собственного достоинства зависело не от внутренних качеств человека, а определялось исключительно одеждой, кошельком, положением в обществе. В разговор вмешался и другой помощник, который даже сказал:

— Если бы меня осудили с лишением прав, хотя бы мое преступление было самым политическим, самым благородным, я даже требовал бы, чтобы со мной обращались, как с уголовными. Потому что я не захотел бы выделяться от своих товарищей по несчастью.

— А я думаю, что вежливо следует обращаться со всеми людьми, как бы низко они ни стояли. А потом, вы должны понимать, что человеческое, культурное обращение должно облагораживать, поднимать в собственных глазах даже самых падших людей. А ваше обращение с ними не только их не поднимает, но разлагает вас самих, принижает...

Это уж было для тюремщиков совершенно непонятно, и они лишь пожимали плечами. Но Борис был доволен, что ему довелось так откровенно потолковать с этой парочкой образцов тюремщицкой психологии. Он, конечно, и не рассчитывал, что они поймут его. Для них понятия «не хлебом единым...», «совесть», «честь» имели совершенно иной смысл, чем для него. Но бывает же у человека потребность выговориться, высказать все наболевшее. А тут кроме того были и другие слушатели, и один из этих слушателей, корявый с виду надзиратель, вечером открыл в двери его камеры форточку и тихо, чтобы никто не слышал, сказал:

— Ну, и молодчина же ты! Как ты им всю правду выложил! А они что ни скажут, то все дурное да дурное!

«Право, я готов был расцеловать его за такую похвалу»,— писал впоследствии Борис, описывая этот случай.

* * *

На вокзал в Харькове к отходу этапа пришли мать и сестры, извещенные одним из курских конвойных о его проезде. Но Борис только слышал их голоса и видел силуэты: повидаться с ним

конвой родным не позволил. За то ему передали массу всякой снеди. Изголодавшемуся Борису это было очень кстати. Но в вагоне с ним вместе была целая толпа таких же голодных, как и он сам, людей. А есть самому, зная, что голодны другие, он органически не мог. И по своему обычаю, разложив все принесенное на скамейке, он широким жестом пригласил окружающих:

— Ешьте, господа, на всех хватит. Не стесняйтесь.

Но на его призыв никто не откликнулся. Голодные, иззябшие, оборванные люди только жадно взглянули на разложенные припасы и мужественно отвернулись, бормоча слова отказа. Они не набросились и не уничтожили всего этого.

— Потому что,—как объяснил на настойчивые приглашения Бориса один из «кувыркал»,—мы на волю идем, а вы в тюрьму.

А воля то, которая ждала эти жалкие подобия людей, обещала им так мало, что каторжанский тюремный паек казался на ней каждому из них недосягаемым идеалом чревоугодия. Пришлось встать и каждому из них насильно вручить его долю. Борис знал, что при ином отношении эти самые «кувыркалы» без зазрения совести обчистили бы любого пересылаемого арестанта, не считаясь ни с его сроком, ни с его тюремным стажем. Голод не тетка! И аргументация тут была простая: ты думаешь о себе и нас презираешь, а мы тебя презираем и думаем о себе. Кто ловчее? И ловчее, конечно, всегда бывали они, вытренированные в тяжелой школе нищеты, лишений и порока. К Борису они отнеслись не как к «фраеру», а как к своему человеку, и путь от Харькова до Николаева, а затем оттуда со многими из них до Херсона был для него сплошным удовольствием.

IV.

В ХЕРСОНСКОМ ЦЕНТРАЛЕ.

Тон тюрьмы.—Посещение начальника.—Тюремный священник.—Хорошее и плохое.—Безделье.—Мечтанье.—Мечтатели.—Бумага из Петербурга.—Свидание с матерью. — Маленькая новость. — «Окончательный расчет».— Вдвоем.

Очутившись в одиночке Херсонской временной каторжной тюрьмы, Борис еще раз проверил в уме свои первые впечатления и с чувством облегчения мог констатировать, что все его страхи были напрасны. Прием совсем не походил на орловский. Старший помощник начальника, принимавший его, оказался добрым ласковым стариком. Не только не пахло никакими избиениями, но общий тон тюрьмы показался Борису чем-то совершенно необыкновенным. Кто-то из старших, правда, тыкнул его, но после первого же предупреждения показал, что он может быть вежливым.

Впечатления последующих дней еще более усилили это первое впечатление.

Приходил к нему в одиночку начальник. Он держал себя официально холодно, но вежливо. От него Борис узнал, что он по распоряжению тюремной инспекции будет содержаться в строгом одиночном заключении, во избежание его вредного влияния на других заключенных.

— В этом отношении мы преемственно связаны тем режимом, который применялся к вам в Орле,—пояснил начальник.—Если бы не было от орловской администрации предупреждения нас о ваших «опасных»—тут начальник улыбнулся—качествах, то, конечно, и режим к вам был бы применен иной. От вас зависит со временем изменить его. Но я надеюсь, что у нас с вами никаких недоразумений не будет. Мы, во всяком случае, будем считаться с вашими особенностями. А в общем, режим у нас в тюрьме легкий, боюсь, что даже слишком легкий.

«Кажется, порядочный человек», — подумал Борис, когда начальник ушел.—Впрочем, посмотрим».

Через полчаса после начальника в камеру к нему вошел тюремный священник. Он перекрестился на образ и... поздоровался за руку. Борис даже немного сконфузился от неожиданности. Он не любил попов и всегда относился к ним, как к чему-то враждебному, стоящему на стороне врагов. Бывают и хорошие священники, он это знал. Например, священник Смоленской тюрьмы—относился очень сочувственно к политическим каторжанам. Ему рассказывали про священника и дьякона Вологодской каторжной тюрьмы, всеми мерами облегчавших положение заключенных, при чем дьякон даже поплатился за то, что содействовал сношениям с волей. Но это все, несомненно, были исключения. Сословие в целом было реакционным и подлым. Но херсонский попик тоже оказался приятным исключением, и беседа с ним доставила Борису много удовольствия. Он жаловался, между прочим, на то, что тюремная библиотека, находившаяся в его заведывании, из рук вон плоха. Всего несколько десятков книжек на огромную тюрьму с несколькими сотнями заключенных. Да к тому же и книги в большинстве духовно-нравственного содержания, а светских очень мало. На все заявления священника начальство губернское отговаривается отсутствием денег. В последнее время, правда, пообещали отпускать на библиотеку по 120 руб. в год, но что-то не дают пока.

Старший врач тюремной больницы тоже произвел недурное впечатление, хотя по нем сразу было видно, что это врач-чиновник. При другом начальнике и при другом режиме в тюрьме, конечно, и он относился бы к заключенным больше как чиновник, чем как врач. Но сейчас в нем чиновническая его сущность отходила на задний план, и отнесся он к Борису очень хорошо. Обещал даже взять в больницу, но что-то помешало исполнить

ему это намерение. Он нашел у Бориса очень сильное малокровие на почве истощения, но в существовании у него активного легочного процесса усомнился.

Помощник, заведывающий одиночным корпусом, и даже один из молодых помощников тоже оказались приличными людьми. Только помощник Гарабурда, хотя и держался довольно вежливо, но в нем сразу почувствовалась враждебность. Видно было, что он сдерживается, подчиняясь чьему-то распоряжению, но при случае готов показать когти.

В общем, администрацией тюрьмы Борис остался доволен. Что касается режима, то в нем тоже было многое, примирявшее его и со строгой изоляцией и с короткими прогулками по 10—15 минут в день на вымощенном и лишенном всякой растительности внутреннем дворике. Можно было два раза в месяц делать на собственные деньги выписку продуктов на сумму в 4 р. 20 к. каждый раз. Можно было получать из дому посылки со съестным и книгами. Письмо не ограничивали одним листиком и переписываться можно было не только с ближайшими родственниками, но и со знакомыми. Пища казенная была очень неплоха. После орловской баланды и кислых щей малороссийские борщи, которые здесь давались, казались пищей богов. Каша сдабривалась не протухшим говяжьим жиром, а свиным салом. И еда была обильна. Уже через три недели по приезде в Херсон Борис заметил, что его вылезавшие из кожи кости начинают обрастать мясом, хотя он еще ни разу не делал выписки и не получал из дому посылок. Правда, после всех вольных и невольных голодовок он ел за двоих.

* * *

Первое время он сидел без книг. Безделье томило. Целыми днями с утра до вечера ходил он по своей одиночке, думал свои думы, строил планы будущих занятий. «Снова рассчитываю закопаться в свою милую науку, откуда, было, выскочил», — писал он в своем первом письме. — «И это, знаете, хорошо: нужно же было встряхнуться. Наука, как я говорю, вещь милая, но и опасная: засосет тебя и обратишься в лежачий камень, под который вода не течет. Ну, надеюсь, со мной этого никогда не случится». Он привык уже к одиночеству. На его здоровую психику оно не действовало так раздражающее, как действовало на многих других с психикой менее устойчивой, менее гибкой и приспособляющейся. В некоторых отношениях, пожалуй, одиночное заключение было для него благотворным. В его уме было много зерен, много еще не развившихся зародышей, много мертвого капитала, самых разнообразных знаний, в свое время поспешно нахватанных и оставшихся там лежать в неусвоенном виде. И теперь, в эти периоды одиночного заключения, когда ему приходилось сидеть без книг, без всякого общения с людьми, с самым

ничтожным количеством внешних впечатлений, эти зерна начинали пускать ростки, внедряться в ум его и сплетаться в затейливые кружева новых «своих» теорий и догадок. И не только в области сухих и отвлеченных теорий работал его ум. Он знал множество стихотворений, восстанавливая их в памяти из обрывков, случайно уцелевших, а недостающее выкапывал из подсознательных извилин и тайников, где оно, казалось, давно уже затерялось и погибло. Еще в Орле он приступил к изучению немецкого языка, и, не имея другого занятия, выучил наизусть несколько десятков страниц немецких стихотворений. Теперь пригодилось и это: он продолжал изучение языка исключительно на основании имевшегося в памяти запаса слов и оборотов, извлекая из него законы грамматики. «Пение тоже мое любимейшее занятие», — рассказывает он в письме к сестре. — «Но, во первых, громко нельзя, а во вторых, пополнение репертуара здесь гораздо труднее. Иногда вдруг вспоминаются мотивы, которых никогда не знал и очень давно слышал. И все-таки вокальных номеров у меня теперь порядочно. Думаю, что из тех, что знал на воле, не забыл ни одного, а кое-что прибавил. Ну, относительно исполнения... сама знаешь — это наш семейный талант». Огромный кусок времени уходил на мечтания. «Но это такой большой вопрос, — говорил Борис, — что и поднимать не стоит».

В тюрьме, особенно в одиночном заключении, чрезвычайно усиливается деятельность воображения, фантазии. При отсутствии деятельной жизни, внешних разнообразных впечатлений, особенно если художественная литература не восполняет этого недостатка, у молодых и здоровых людей фантазия неизбежно гипертрофируется и часто направляется не по нормальному руслу. В результате многие делаются «малахольными», ум у них заходит за разум, образы фантазии часто настолько заслоняют действительность, что граница между этими двумя областями совершенно стирается. В короткие моменты пребывания Бориса в общих камерах и на общих прогулках ему приходилось наблюдать таких фантазеров, и он довольно скоро определил причины их необыкновенных рассказов о своем прошлом, явно придуманных, с концами, очень часто не сведенными друг с другом, но всегда излагаемых с подкупающей искренностью. Особенно запомнился ему один «доктор», грамотный и развитой фельдшер в действительности, который довел это свое самозванство до того, что рисковал с ученым видом знатока спорить с тюремным врачем и поучать его. Сначала Борис, как и другие его товарищи, искренно верил ему, потом, усомнившись, считал его за простого обманщика, но после многих бесед с ним, в конце концов, убедился, что это невинная мания величия, фанантазированная в одиночестве Варшавской цитадели, где этому «доктору» долго пришлось испытать суровый одиночный режим. Тюремное изобретательство в большинстве случаев имело эти же

корни. Мании изобретения поддавались даже интеллигентные люди с неустойчивой психикой. Они носились с самыми фантастическими и необычайными изобретениями и всякое оспаривание считали проявлением личного недружелюбия или зависти, совершенно не видя всей бессмысленности своих выдумок. Был в Шлиссельбурге один социал-демократ, осужденный по большому и нашумевшему делу, рабочий З., который перестал разговаривать с Борисом только потому, что он несколько шутливо отнесся к выдуманной им новой теории, объясняющей закон притяжения. Но это были крайности. В большинстве случаев мечтательство к таким вредным результатам не приводило, а служило лишь замещением отсутствующей жизни. Систематический ум Бориса, богатый знаниями, погружаясь в мир фантастики, никогда не позволял ему смешивать ее с действительностью. Он фантазировал на всевозможные темы, сочинял романы на образец уэльсовских, в которых героем бывал то он сам, то его близкие, то его друзья и приятели, со всей полнотой их реальных личностей. Это давало забвение и отдых, это служило забавой и скрашивало серое однообразие тюремных будней или мрак карцера. Когда ему приходилось в карцере ли, или в одиночной камере сидеть вдвоем и когда сожителем его бывал человек, любивший послушать и умевший ценить выдумку, он посвящал его в богатый мир своей фантазии и скрашивал и ему скуку и холод заключения.

* * *

21-го февраля начальник тюрьмы получил от губернского тюремного инспектора бумагу, которая еще более утвердила «особое» положение Бориса, заставив администрацию считаться с его «норовом». Это была копия полученной херсонским губернатором от главного тюремного управления бумаги. Гласила она следующее:

> «Для свидания с переведенным в ведение Вашего Превосходительства для дальнейшего содержания в Херсонской временной каторжной тюрьме ссыльно-каторжным арестантом Борисом Жадановским имеет прибыть в Херсон в ближайшем будущем мать названного арестанта вдова подполковника Ольга Николаевна Жадановская. Уведомляя об этом Ваше Превосходительство, прошу Вас не отказать в разрешении г-же Жадановской свидания с сыном на общем основании, если к тому не встретится каких-либо законных препятствий, и о последующем меня уведомить.
>
> Кроме того обращаюсь к Вашему Превосходительству с просьбой сообщить мне сведения о состоянии здоровья каторжного Бориса Жадановского и об его поведении.

Для администрации тюрьмы было ясно, что уж если сам начальник тюремного управления в такой степени интересуется

«названным арестантом», то, значит, он желает, чтобы его особенно не притесняли. Это было новым закреплением орловской победы Бориса, и Ольга Николаевна, приехавшая на свидание к нему на Пасху, смогла убедиться, что доставлявшее ей столько огорчений поведение его давало и некоторые выгоды. Вопреки всем ожиданиям ее и Бориса, свидание было дано не через две решетки и не на пятнадцать минут, а личное и довольно долгое. Была огромная радость.

Вот как описывает Борис свои впечатления и от свидания, и от всего, чем оно сопровождалось:

> Я боялся, что, встретившись с мамой, я вдруг увижу новое, незнакомое мне лицо. Но нет, с первого же взгляда мне стало ясно, что со мной та же милая, родная мама, с которой я никогда не расстаюсь. Ты, конечно, изменилась, мамочка, — в чем, трудно сказать, но изменилась именно так, как я тебя изменял в моих думах. Кстати, по наружности перемены совсем мало, а ведь я боялся увидать совсем дряхлую старушку! Мои праздники в этом году прошли совсем необыкновенно, ни в коем случае не «по примеру прежних лет». Прежде всего приезд мамы, разговоры, расспрашивания, поцелуи, пожатия... И все это на яву! За мамой целая гурьба милых мне лиц в фотографии. Забавно, что и здесь я нашел лица такими, какими ожидал их увидеть. В камере вдруг меня окружает пасха, торт («наш торт») и всякие иные милые вещи, которых давно уже не видел. А затем пришли книги. Господи! Сколько интересного! Глаза разбегаются, жадность такая, что все сразу хочется захватить. К праздникам же получил множество поздравительных открыток. Можете себе представить, как все это наполнило эти дни, каким солнышком засияло в моей одиночке!»

Другим существенным результатом бумаги из Питера было применение к Борису царского манифеста 1913 года, не примененного к нему из-за дурного поведения в Орле. Этот манифест, не распространявшийся вообще на политических, в силу особого приказа по военному ведомству распространялся на военных, даже осужденных по политическим делам. Бессрочная каторга была заменена ему двадцатилетней. «У меня маленькая новость, — сообщал он об этом в письме от 14 мая 1914 года: — вчера мне объявили, что по манифесту 1913 года бессрочная каторга мне заменена на 20 лет. Сейчас же мне сняли наручни, а месяца через два могут снять и кандалы — нужно пробыть в этой тюрьме 6 месяцев. Большая штука эти наручни — без них так и кажется, что взлететь можно. Кандалы значительно тяжелей (по весу), но во много раз легче для ношения, чем наручни. Вот второй день, как я без наручней, а до сих пор еще, поднимаешь руку и по привычке тянешь за ней другую».

Соответственно с этим изменением, был составлен новый «*Листок примерного расчета каторжных работ для Бориса Жадановского*», предсказывавший ему следующее течение его каторжной жизни:

При одобрительном поведении:

1) Может быть перечислен в отряд исправляющихся...

2 сентября 1910 года.

2) Может получить дозволение жить вне тюрьмы...

2 сентября 1912 года.

3) Может быть окончательно освобожден от каторжных работ и перечислен в ссыльно-поселенцы...

2 января 1924 года.

Но ведь «одобрительного» поведения на лицо не имелось и срок перечисления в отряд исправляющихся отодвигался. Только в октябре начальство признало, что поведение его за время содержания в Херсонской тюрьме было «удовлетворительным», и лишь тогда была составлена следующая табличка:

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СРОКА РАБОТ.

В виду *не* одобрительного поведения *Жадановский* перечислен в отряд исправляющихся...

с 31 октября 1914 года.

Таким образом при безусловно одобрительном поведении (ст. 34 правил) в отряде исправляющихся может получить дозволение жить вне тюрьмы...

31 октября 1916 года.

Может быть окончательно освобожден от каторжной работы и перечислен в ссыльно-поселенцы...

12 сентября 1924 года.

При неодобрительном поведении в отряде исправляющихся может быть освобожден от каторжных работ и перечислен в ссыльно-поселенцы...

2 сентября 1926 года.

* * *

Борис был «ловцом человеков». Если какая-нибудь истина казалась ему важной и нужной, он проповедывал ее со всей силой своей пламенной души. Проповедническую цель он не ставил себе сознательно, пожалуй, сам не замечал, что формирует попадавших в сферу его духовного влияния людей по своему образу и подобию. Это происходило непроизвольно, в силу обаятельности его личности, в силу искренности его убеждений, в силу его страстности, подчиняющей стоявших ниже его. Многие, очень многие, встречавшиеся с ним, теряя его из вида, вследствие ли перевода в другую тюрьму, или вследствие выхода из тюрьмы

на поселение, вступали в переписку с его семьей. Одни хотели знать о дальнейшей его судьбе, другие просто в коротких, часто малограмотных, но всегда проникнутых искренней любовью строках высказывали его семье свои чувства по отношению к нему.

В Херсоне через несколько недель по прибытии Бориса к нему в одиночку посадили рабочего К—ко, с которым он сильно сдружился и которого ласково называл «Алимчиком». Он учил его грамматике, читал с ним вместе, а от него выслушивал длинные рассказы о его похождениях. Алимчик был осужден на каторгу еще в 1904 году, успел уже побывать в Тобольске и на золотых приисках в Забайкалье и обладал большим запасом интересных впечатлений, особенно ценных для Бориса, так как он не покидал надежды рано или поздно побывать в Сибири. Эти несколько месяцев, проведенных в тесном общении, Борис потом вспоминал с большим удовольствием. Но Алимчику разлука с ним была еще тяжелее. «Я скучаю за ним, иногда даже страдаю», писал он Ольге Николаевне с поселения.

В этом общении с Алимчиком, в нелегальной переписке с другими заключенными, в чтении и занятиях время летело незаметно. Казалось, что долго еще будет так: маленьким огоньком будет теплиться лампада надежды в спокойном течении тюремных дней, долгих в переживании и незаметных в прошлом, пока не потухнет вместе с жизнью.

И ничего не знал Борис о том, что за стенами тюрьмы, над миром вольных людей, среди кошмаров и радостей бурно кипящей жизни сгущается кровавый туман небывалой войны.

V.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.

«Война — это революция». — Отношение к войне. — Тюремный журнал. — Программа. — Зловещий слух. — Опять Синайский. — Преследования. — Синайский хочет отделаться. — Письмо к матери. — «Особо строгое наблюдение». — Смерть сестры. — Леонид Андреев. — На пороге. — Снова в одиночке. — Пробуждение.

Первый слух о собирающейся международной грозе дошел до Бориса от заведывающего баней надзирателя. Он попросту подслушал разговор этого надзирателя о мобилизации с приведшим его надзирателем.

— С австрияком, говорят в газетах, война будет, — объяснял банный надзиратель. — Как бы не потащили.

— Нас никогда не возьмут, — успокаивал его другой. — Вот японская война была, надзирателей и городовых тоже не брали.

Этого первого слуха оказалось достаточно, чтобы перспектива долгих лет неволи, открывавшаяся перед Борисом, сразу сократилась.

— Война — это революция! — с энтузиазмом восклицал он и приводил ряд примеров из истории, когда война развязывала революционную стихию.

Известия об объявлении войны, о размерах этой войны не заставили себя ждать. Начальство, желавшее приобщить к своему патриотическому порыву и заключенных, стало допускать в тюрьму военные телеграммы. Письма родных подробно и много говорили о событиях. Но военная сторона событий интересовала Бориса сравнительно мало. На первом плане у него стояли вопросы политики — внутренней и международной.

«Что думают Степан Дмитриевич, Степан Романович, Константин Дмитриевич и все родственники?» — спрашивал он об отношении к войне политических партий уже в первом своем письме, написанном после объявления войны.

В письмах Борис теперь много места отдает вопросам войны. В одном миновавшем цензуру письме он следующим образом описывает тюремную жизнь военного времени:

«Непосредственных ощущений войны, и особенно такой чудовищной войны, у нас нет. Ведь жизнь наша течет тем же порядком. Не видим мы ни раненых, ни солдат, ни пушек, ни измененной физиономии городов в связи с уходом мужского населения на войну. Ничего этого у нас нет, и как ни напрягаешь воображение достаточно яркого, непосредственного чувствования войны нет. Но все главные новости войны до нас доходят, и, понятно, мы много мудрствуем глубокомысленнейшим образом о всех возможных последствиях нынешних событий. И хотя, конечно, много в этих чаяниях узко-эгоистического, лично-арестантского, так сказать, но все же есть не мало и иных суждений, гораздо более широких. Есть много суждений и чаяний, ставящих во главу угла не ожидание освобождения из тюрем (даже в этом есть много извинительного), а интересы гораздо более широких слоев. В суждениях большое разнообразие, и это, пожалуй, еще более удивительно, чем то единодушие мнений, которое, как говорят, существует за стенами. Право-же, я не поверил бы еще недавно тому, кто сказал бы мне, что есть в тюрьме не то, что сторонники, а просто не слишком озлобленные противники того режима, представителем которого является Синайский, например. И, однако, есть немало людей, которые стараются свою личную ненависть, доведенную здесь до крайней степени господами Синайскими, умерить и рассуждать по возможности объективно. Что касается меня лично, то я стою на той формуле, что с теми данными, какие имеются в нашем распоряжении, трудно притти к определенному решению. Везде есть много плюсов, а еще больше минусов. Ну, а все-таки впереди есть свет.

Надо сказать, что я в настоящее время довольно хорошо осведомлен (сравнительно, конечно) об общем положении. Например,

я знаю отношение «Современного Мира», с одной стороны, а с другой — кое-что знаю о мнении Петровского и других с.-д. депутатов — ныне ссыльно-поселенцев. Хотелось бы знать, есть ли последние только маленькая группа, или же они имеют солидную поддержку среди рабочих? Статья Плеханова в «Сов. М.» отчасти указывает на существование раскола. Ну, как бы там ни было, а в конце концов не пройдут даром эти моря крови!»

Хотя Борис и не занимает в этом письме определенной позиции в отношении к войне, однако ориентация его с самого начала войны выяснилась достаточно ясно. Он был решительным противником поддержки существовавшего в России государственного строя, и патриотический подъем, охвативший в первые месяцы войны самые широкие слои русского общества и заставивший многих отказаться фактически от постановки и проведения революционных задач, был ему совершенно чужд. Еще до того, как он осведомился хотя бы в такой мере, как это видно из вышеприведенного письма, о разделении социалистов на приемлющих и отрицающих войну, на оборонцев и пораженцев, он занимал интернационалистскую позицию, хотя о существовании среди социалистов такой позиции еще не знал. Наоборот, первые письма родных о войне рисовали положение вещей как раз именно в таком свете, что он мог предположить, что эта его позиция не имеет сторонников. Отвечая именно на одно из таких писем в своем очередном подцензурном письме, он писал:

«Твое письмо... меня, правду сказать, удивило: я рассчитывал на совершенно обратное. И хотя я продолжаю думать, что в нем, в этом письме, много субъективного, но есть, значит, известная доля и общего. Сидя здесь, отстаешь, конечно, сильно от жизни, и, очутись я каким-нибудь чудом на свежем воздухе, на меня бы, вероятно, пальцами указывали, как на какого-нибудь допотопного ихтиозавра. Очень печально, конечно, но думается все-таки, что я прав, и что поветрие это очень недолговечное. Тюремное «отдаление» имеет, пожалуй, некоторую аналогию (по крайней мере, в этом случае) с отдалением во времени, обязательным для историка, желающего написать не памфлет, а беспристрастную историю. Как, например, ярко выступает эта пристрастность в суждениях об антигуманности, когда на аналогичные представления противной стороны просто закрывают глаза. А между тем, именно эти последние имеют, повидимому, очень серьезные основания, как направленные против уже не раз уличенных в том же 9 лет тому назад и тогда же стяжавших свои «боевые лавры», — напр. Ренен [1]... Все-таки мне ужасно хотелось бы узнать мнения Степ.-Дмитр. и Конст.-Дмитр. [2] Я хоть и шучу, что показался бы допотопным, но на самом деле убежден,

---

[1] Ренненкампф, прославившийся усмирением революции в 1905—1906 гг.
[2] Социал-демократической и конституционно-демократической партий.

что я не был бы одинок. Даже Конст.-Дмитр., повидимому, не слишком-то увлечен, что, отчасти, можно уже видеть по неоднократным и чрезвычайным по сумме убыткам его оффициозов [1].

Постепенно в тюрьму просачивалось все больше и больше известий.

«Слышал я, — пишет он в другом письме, —что с обеих сторон оказалось не мало известных лиц из крайних направлений в роде Ж. Гэда, Вандервельда, Кропоткина и др., явившихся сторонниками активности. Понятно, это меня крайне удивляет, особенно в отношении наших земляков. Не думаю я, чтобы они стояли, например, за замену лембергских условий существования нашими. А ведь говоря А, нужно сказать и Б. И еще нужно отдать справедливость и папаше [2]: он ни на иоту не уклонился от своих прежних положений, и ни в чем не пошел и даже, что особенно интересно, и не обещал пойти ни на какие уступки. И как ты ни увлекаешься благородством и мужеством партнеров [3] (в чем я тоже не сомневаюсь), все же в моих глазах "дружба с негодным" человеком не оправдывается для них тем, что он может помочь. Именно это (помнишь пушкинское «в одну телегу впречь не можно коня и трепетную лань» — тут надо бы только сильнее выражения подыскать), думается мне, и создало такое запутанное положение, при котором нельзя сказать решительное да или нет».

В конце 1915 года он во всех основных вопросах занимает уже довольно твердую позицию с которой не сходит до конца. Под псевдонимом «Не свой» он излагал свои взгляды в обширных статьях, написанных печатными буквами и ходивших по рукам, а впоследствии в рукописном тюремном журнале, вышедшем до революции в количестве 5 №№ и сыгравшем большую роль в самоопределении многих не только политических, но и уголовных каторжан. Несмотря на тот режим строгой изоляции, которому он подвергался, даже когда находился в больнице, он ухитрился через работавшего в тюремной больнице товарища (Каспарова) передавать свои статьи в «редакцию», где они переписывались. [4]

Эти его взгляды нашли себе следующее отражение в легальном письме к сестре, датированном 14 ноября 1915 года.

«Я, знаешь, немного, побаивался, что у тебя под неправильным влиянием военных событий может создаться недостаточно резкое отношение к поведению дядюшки [5] и, надо прямо говорить, к поступ-

---

[1] Штрафы, налагавшиеся в административном порядке на «Речь» и другие кадетские газеты в начале войны.

[2] Папаша—царь.

[3] «Партнеры» — союзники, государства, входившие в состав Антанты.

[4] См. ст. Н. Дрикера «Херсонская каторга в дни войны» в киевском сборнике «Каторга и ссылка». 1924 г., стр. 71—82.

[5] Правительства и вообще правящих кругов.

кам гораздо более ответственного за такое поведение папаши [1]. Пора уже бросить старую и очень выгодную для них легенду о добреньком и слабеньком дурачке, которого всякий проходимец может провести. Ну, да когда-нибудь приеду же я домой, тогда разберемся со всеми этими милыми родственниками. И мне ужасно досадно, что он все же успевает уверить многих, что его самодурства можно потерпеть на время. Думается мне, что и Серг.-Дмитр. неправ и своим письмом [2] он только укрепляет папашу в его упорстве. Впрочем надо сказать, что не все же так думают, напр., Серг.-Дмитр. Дунин [3] показал это ясно и в ответе на просьбу денег и в рассказах Дуне. Понятно, ни я и, вероятно, никто другой из нашей семьи не хотел бы разорения, но именно, чтобы его не было, нужно бы сразу рассчитать их всех, хотя бы это вызвало временную заминку в делах. Конечно, все это разговоры, и на вопрос, как же это сделать, ответ, может-быть, даст какой-нибудь адвокат, а я только сообщаю тебе мое мнение об этом.

От семейных дел перейдем к общественным, вернее, к военным. Я, знаешь, не ожидал, что ты так долго, несмотря ни на какие разочарования, не изменишь своему чересчур, по-моему, оптимистическому взгляду на общее положение. Я также хочу «победы» России и союзников, но моя «победа», может-быть, не сойдется с твоим объемом этого слова. Мне не нужно для победы завоевания чужих стран, мне достаточно было бы, чтобы был заключен мир без контрибуций и принудительных торговых договоров и чтобы населению оспариваемых областей был предоставлен голос самому решать, куда они желают присоединиться. Этим общим принципом решаются у меня все частные вопросы: о Польше, Литве, Прибалтике, Эльзас-Лотарингии, Бельгии, Галиции, Сербии, Македонии, Армении, Египте, Константинополе и друг. Видишь, у меня целая программа, хоть назначай меня посланником на мировой конгресс!

У меня настроение сейчас не скверное и, как говорит Ллойд-Джордж, «сквозь густые тучи, нависшие на востоке, я вижу уже светлую полоску зари!».

* * *

Но война войной, а тюрьма тюрьмой. Ничто не изменилось в существенном в стенах Херсонской каторжной тюрьмы. Одно время, пока еще был свеж первый патриотический порыв, начальство снабжало заключенных листками телеграмм, а потом и это перестало делать, и только много времени спустя, в ответ на многочисленные ходатайства, стало допускать в тюрьму, на собственный счет заключенных, такие, с позволения сказать, газеты, как «Правительственный Вестник» и «Русский Инвалид».

В конце 1914 года до Бориса дошел зловещий слух, что начальником Херсонской тюрьмы назначен орловский палач

[1] Царя.
[2] Декларация оборонческого крыла социал-демократов.
[3] Соц.-Дем. фракция думы. «Дуня» — Дума.

Синайский. И действительно, в середине февраля 1915 года *штабс-капитан* Синайский, уклонившийся каким-то шахер-махерством от обязанности совершать подвиги в боях с внешним врагом, обрушился на заключенных в Херсоне внутренних врагов со всей яростью сорвавшейся с цепи собаки.

Борис к этому времени лежал в околодке, и там новый начальник особенно не усердствовал. Он всего только при первом своем визите собственноручно стащил за ноги нескольких больных с коек, выразивши при этом свое глубочайшее убеждение, что только совершенно мертвый арестант имеет право не встать при посещении начальника. Вторично посетив больных, он наложил огульно на весь околодок наказание за то, что при его отдаленном появлении на дворе не все сняли перед ним шапки. Наказание это выразилось первоначально в лишении на месяц выписки, свиданий, переписки и пр., но потом он его ограничил только лишением переписки.

Но в общих камерах Синайский проявил себя, если не во всю, то для Херсона во всяком случае довольно внушительно. Избиения он пока не учинил еще, но карцеры наполнил сразу. И говорил при этом, запугивая:

— Узнаете Синайского,

Помощники, прежде державшиеся прилично, теперь начали плясать под его дудку и «испортились». В «деле» Бориса Жадановского завелся отсутствовавший в прошлом году листок «Дисциплинарные взыскания», в котором уже с начала апреля появились следующие записи:

1915 г. Апреля 3. Во время вечерней поверки при обращении к нему демонстративно не желал отвечать, требуя называть его на «вы».

Помощник Нач-ка Гарабурда.

1915 г. Апреля 7. Упорное нежелание подчиняться установленным тюремным правилам, требуя обращения на «вы».

8. При появлении г. Начальника во время прогулки по команде надзирателя не снял шапки.

Помощник Начальн. Луговик.

Iюня 4. При встрече с помощником и по команде надзирателя «снять шапки», такового не исполнил, а лишь демонстративно посмотрел, улыбаясь.

Помощник Нач-ка Гарабурда».

И в результате следовали «резолюции» Синайского, лишавшие «непокорного» свиданий, переписки и т. д.

Синайский помнил, что Жадановский спуску не дает и.... *боялся* его. Этот зверь был трусом. Это особенно ясно сказалось 8 апреля, когда Борис не снял по команде шапку. Синайский, не узнав его сначала, подбежал к нему с криком:

— Эй, ты! Как твоя фамилия?

Но в тот же момент узнал своего давнего врага и, проглотив готовое сорваться ругательство, забегав во все стороны глазами, отошел. И в тот же день он строчит сохранившееся в «деле» «срочное» отношение старшему врачу:

«Прошу сообщить в самом непродолжительном времени, может ли арестант Борис Жадановский, содержащийся в 4-й роте (околодке), по состоянию своего здоровья, быть выписанным и помещен для дальнейшего содержания в одиночку».

На это старший врач, статский советник Шаад, отвечает:

«Арестант Жадановский в настоящее время настолько поправился, что предназначен врачом околодка к выписке и на днях будет выписан».

Синайский кладет тут же резолюцию: «Г. Захаренко поместить!»

Захаренко, заведующий одиночным корпусом, извещает:

«Арестант Жадановский переведен из околодка в каторжный корпус и помещен на 2-м коридоре в № 9 одиночке».

Несомненно, Синайский хотел вывести Бориса из околодка, так как оттуда в карцер обычно не брали. Но, очевидно, потом, пораздумавши хорошенько, пришел к заключению, что новая расправа с ним вызовет с его стороны новый отпор. Еще находясь в околодке, Борис обращался к приезжавшему для ревизии помощнику начальника главного тюремного управления от имени заключенных с жалобой на вводившиеся Синайским порядки и на его обращение. Кроме того, Синайский не без основания считал, что его протесты в Орле в значительной мере посодействовали затмению его служебной карьеры. Новые наказания побудят его, пожалуй, опять жаловаться, будет шум, объяснения с высшим начальством. И потому он оставил без внимания последний рапорт усердствовавшего помощника Гарабурды. Надо было избавиться от неудобного арестанта, это всего проще. И вот сочиняется «Рапорт» на имя губернского инспектора:

«Прошу ходатайства Вашего Высокородия о переводе из вверенной мне тюрьмы в другую губернию ссыльно-каторжных арестантов: Вячеслава Трофимова *Шило*, Бориса Петрова *Жадановского* и Нахмана Израилева *Лева*, так как они, пользуясь большой популярностью среди арестантов вверенной мне тюрьмы, постоянно агитируют против членов администрации и надзора; арестант Шило сам поведения удовлетворительного, но действует исподтишка, Жадановский же, пользуясь своим болезненным состоянием и зная, что в виду этого к нему не могут быть применены строгие меры наказания, личным своим вызывающим поведением весьма скверно влияет на окружающих его арестантов. Перевод его тем более желателен,

что содержать его в одиночной камере я лишен возможности, так как, согласно заключения младшего врача г. Витвицкого, он должен находиться в так называемом околодке, где имеются лишь общие камеры. Нахман Лев поведения очень скверного».

Конечно и Шило, «действующий исподтишка», и Лев, о котором тоже многого сказать было нечего, введены сюда лишь для ансамбля. Центр тяжести лежал в Жадановском. И чтобы добиться его перевода, Синайский не посгеснялся притянуть заключение младшего врача, заведывающего околодком, хотя в «деле», хранившем самые ничтожные бумажки, этого «заключения» не имеется, а старший врач, наоборот, как мы выше видели, ссылаясь на младшего врача, сообщил о том, что Жадановский поправился и предназначен к выписке из околодка. И кроме того, мы знаем, что Синайский не только не был «лишен возможности содержать его в одиночной камере», но сразу же по выходе из околодка посадил его в одиночку № 9 и, как сообщает Борис в своих письмах, относящихся к этому времени, держал его в одиночке уже одного, строго изолировав от всей тюрьмы.

Губернский инспектор, не ладивший с Синайским и не одобрявший его вообще, не дал дальнейшего хода этой бумажке, и таким образом Борис был избавлен от новых мытарств.

* * *

Только в октябре 1915 года получил Борис возможность снова писать домой и получать письма. Скрепя сердце Синайский разрешил это, так как инспектор все больше и больше стал вмешиваться во внутренние дела тюрьмы и высказал определенное желание, чтобы Жадановский был оставлен в покое. Но из одиночки он его не выпускал.

«Один, всюду один... — боюсь не разучиться бы мне говорить», — жаловался Борис в первом легальном письме на свое положение. К одиночеству присоединился и холод, так как администрация, выполняя данный правительством «военный» лозунг экономить во всю, экономила также и на топливе, и тюрьма почти совершенно не отапливалась. Пища стала отвратительной по качеству и недостаточной по количеству.

Так прошел 1915 год. Новый год не принес никаких изменений в применявшемся к Борису режиме. Радостью было получение письма от матери, принесшее после почти года отсутствия вестей из дому подробности о домашней жизни. В ответ на него он пишет нелегальное письмо, дышащее огромной, неистребимой верой:

«Милая, хорошая мамуся моя! Только-что получил твое письмо; давно уж — год целый — не было от тебя писем.... И так у вас все держится в порядке, все готовит мне скорую встречу с моими милыми. Ты, мамуся, может-быть подсмеиваешься немножко над

моим легкомыслием (легковерием — вернее), это не беда. Я очень хорошо устроен, и сколько надо мной и здесь ни подсмеиваются мои товарищи, я все же все время держу «ушки на макушке» и жду, не пора ли собираться в дорогу. И ведь, в сущности, уже второй десяток лет идут эти сборы и эти ожидания; уже только в письмах от моих хороших можно без улыбки говорить «Боркоша», «Боречка», «мальчик», а я все прислушиваюсь и все распределяю будущие дни. Но все это — «в сущности говоря», а в действительности у меня тысяча доказательств сейчас в руках, что именно теперь-то и складываются так все обстоятельства, что скоро можно будет поехать «в Москву». И все-таки надо мною подсмеиваются! Ну, что же, я знаю, что всей моей тысячи доказательств мало, что нужен еще один маленький кусочек оптимизма. И я очень рад, что на этот счет у меня нехватки не будет.

Итак, как видишь, настроение у меня отнюдь не угнетенное. Бывают моменты, когда эти ожидания вытеснит какое-нибудь совсем не подходящее, но слишком уж близкое, чтоб можно было его не заметить, впечатление; и впечатлений этих, как можешь догадаться, чересчур уж много, но все же общий тон моего настроения остается неизменно светлым. Это я, конечно, мог бы сказать, и говорил на самом деле не раз, почти в отношении любого отрывка из этих 10 лет, но теперь... теперь особенно! И не бойся, мамочка, что новое разочарование может испортить мне настроение. Нет, тогда я найду новую тысячу оснований. Главное то, что все это, все эти новые и новые тысячи, это не надумано — иначе они и гроша медного не стоили бы, а рисоваться... ты поверишь, родная, что я не рисуюсь,— просто уж я так удачно устроен, что меня, конечно, очень радует».

Затем переписка становится регулярной, но письма однообразны, как однообразна и вся жизнь Бориса в этом году. Развлечение приносили болезни: он все чаще и чаще начинает болеть и попадать в больницу. Каждый такой случай сопровождается особой перепиской. Так 19 марта старший врач извещает начальника, что Жадановский вследствие обострившегося правостороннего эксудативного плеврита нуждается в стационарном лечении. Синайский разрешает взять его в больницу и предлагает помощнику Луговику установить за ним «особо строгое наблюдение». Луговик пишет, что «особое наблюдение установил». 25 мая опять старший врач извещает о выздоровлении и уже другому помощнику предлагается принять выздоровевшего на свое попечение. В течение года эта история повторяется три раза.

В больнице время проходит в живом общении с товарищами. Только в ноябре его и в больнице запирают в одиночку.

Смерть любимой сестры Зины принесла большое горе. Еще 1 мая встревоженный сообщениями об ухудшении ее здоровья, писал он ей:

Теперь одно — перетерпеть бы этот тяжелый период, оставить его позади.... А дальше... ведь не забывай, дорогая, что как бы то

ни было, но уже прежнего не будет. Ведь тебе пришлось жить как раз в самое темное, отвратительное время. В истории России таких периодов, слава богу, немного... зато ведь есть и другие, за которые не жаль много, много отдать. Будь же бодра, дорогая, только бы справиться с этим приступом, — мы еще поживем, и как весело, все вместе, без исключений, будем вспоминать и безоблачное детство и все пережитое.

А 13 мая, глубоко потрясенный, пишет Ольге Николаевне:

«Милая, родная мама! только-что получил.... Утешать, хорошая моя, нельзя — Зиночку ничто не заменит! Одно помни, мама, что у тебя есть еще дети, которые тебя боготворят, что пока ты с нами, у нас есть семья тесная, близкая, несмотря на то, что мы далеко друг от друга. Береги же себя, родная, береги для нас. Зиночку забывать не надо, да мы и не забудем ее, ее образ всегда будет сближать нас, напоминать о всем лучшем, чистом, что может иметь человек....

Известие застало Бориса в больнице, и первая острая боль была пережита на людях. Когда он снова вернулся в одиночку, он тут лишь только почувствовал всю огромную тяжесть горя. Но время успело проявить всю свою целительную силу, и не было больше той нестерпимо острой тоски первых минут после утраты, которая в тяжелой атмосфере одиночного корпуса была бы ужасной даже для его стойкой души.

К этому времени в тюрьме начала функционировать библиотека. Как ни жалка она была — в ней, вместе с духовно-нравственными книгами, было всего 580 томов на 1500 абонентов,— все-таки Борис имел возможность получать из нее беллетристику и старые журналы. И эта беллетристика, заменившая теперь не шедшие на ум серьезные занятия, отвлекала и развлекала. Трудно было только выбирать себе чтение: книги были почти все на руках и приходилось читать, что дадут. И как на зло в эти тяжелые дни в руки к нему попадали сочинения Леонида Андреева, такие вещи, как «Сашка Жегулев», «Жизнь человека» и др. «Положительно он талантливый писатель,— делился Борис с матерью своими впечатлениями, — и когда такой талантливый писатель пропитан насквозь каким то безысходным пессимизмом, ему надо противопоставить свою жизнерадостность. Это последнего элемента у меня, думаю, достаточно, но все же лучше не растрачивать ее так, зря, в такой неблагоприятной обстановке. Бог с ним, пусть им наслаждаются те, с кем он поет в унисон, а мне он дал здесь несколько черных часов»... И от Андреева он снова переходит к своим занятиям. К этому времени он кроме английского, овладел также немецким и французским языками. Закончил начатый еще в Шлиссельбурге перевод «Истории математики» Рауз-Болла; изучил ряд книг по высшей математике... И скоро, погрузившись снова в работу, обрел прежнюю ясность духа.

* * *

Подходил к концу 1916 год, один из самых тяжелых, пережитых Россией в эту пору реакции.

За тюремные стены, сквозь железные решетки до узников доживавшего свои последние дни старого строя, доходили все чаще и чаще вести о растущем недовольстве народных масс, о разложении армии, о непопулярности правительства даже в самых, казалось бы, верноподданных слоях общества. И все ярче разгоралась надежда на то, что скоро победоносная революция положит конец их страданиям. «Как ни вертись, а не отвертишься!» в своем последнем письме этого года писал Борис, предрекая гибель ненавистных ему порядков.

На пороге новой жизни он подводил итоги пережитому:

> В сущности, как расфилософствуешься (хотя я и не «филозоф»), то сам чорт ногу сломит в вопросе: что лучше? Конечно, результат философствования известен: «веревка — вервие простое», — и дальше ни гу-гу. Но вот я вспоминаю, как я, да и не только я, а чуть ли не все «товарищи» (кроме самых толстолобых) тосковали о том, что поставили в 10 лет на дорожку, и пошел катить без единой задоринки из корпуса в училище, из училища в строй, там опять пошли ступеньки: «не свернет ни разу с колеи рутинной»... Меня это всегда до чрезвычайности злило. Ведь все-таки жизнь же один раз дается, и неужели же эти ступеньки ее самая интересная форма!? Мне хотелось бы собрать некоторых из этих «товарищей» и выяснить: кто же все-таки больше всего доволен пройденным путем? Ты, конечно, сейчас же скажешь, что мне-то нет особых оснований быть довольным. Это верно, но думаешь ли ты, что там много радости найдется? У меня, правда, настоящее отвратительно (хотя, если серьезно разобраться, не ограничиваться материальной обстановкой, то не мало и здесь «роз» можно найти среди чащи шипов), но у меня есть надежда. А что у них? Какая у них надежда? Крестик, звездочка... И я уверен, что наиболее развитые из них скажут: «тоска беспросветная». Пожалуй, те, кто был убит в первые недели войны, сказали бы (если бы могли): «мы счастливы». А теперь, теперь угар прошел, и я уверен, там та же тоска. Правда, никто, конечно, из них не поменялся бы со мной, но, во-первых, и я бы не поменялся, а во-вторых, если бы можно было представить соответствующее внутреннее положение, то отказ от мены объяснялся бы просто боязнью резкой, крутой перемены. Иной богач всю жизнь мучается, искренне мучается и понимает, что виной тому его богатство. А вот не хватает решимости сделать решительный жест: сжечь корабли... А так просто: отказался от богатства — и счастлив. Та же боязнь перед операцией. Но я, конечно, говорю о своей *бывшей* профессии, а, понятно, и помимо моей *теперешней*, есть много других, где может человек быть захвачен целиком.
>
> Видишь, мамочка, сколько я пофилософствовал, а всего-то хотел только сказать, что печалиться обо мне не приходится, что есть люди гораздо более достойные сожаления, хотя это и не кажется с первого взгляда.

В конце февраля Бориса выписали из больницы и снова перевели в опостылевшую одиночку. Тяжело было менять чистоту, тепло и относительный уют больницы на камеру одиночного корпуса, расположенную к тому же на самом неприятном месте. С одной стороны его соседями были буйные душевно-больные, а с другой — уголовные, отбывавшие одиночку как временное наказание. Как раз перед дверью камеры в коридоре находилась «конторка», где непрерывно производился суд-расправа над провинившимися и сосредоточивалась вся карательно-административная жизнь этого огромного здания. Ложась в мягкую постель накануне перевода, укрывшись чистой белой простыней и мягким одеялом, Борис испытывал отвратительное чувство: от такого хорошего и приятного приходилось уходить в грязь, холод и на многие еще другие лишения. И как на зло он чувствовал себя относительно недурно и не мог рассчитывать скоро снова попасть в больницу.

— Ну, Боб, чувствуй, запасайся такими ощущениями, бо завтра... — сказал он себе.

* * *

Пришло завтра, пришло послезавтра и еще несколько дней.

И вдруг мечты воплотились в жизнь. Совсем как в одном из стихотворений П. Я., его любимого поэта.

В полночь угрюмую
Будит уснувшего
Зов неожиданный:
— Брат, выходи!
Стража расбросана,
Клетка растворена,
Цепи раскованы,
Враг позади....
Флаги на площади.
Песня победная
Льется по городу — звонкой волной...

Но у поэта-каторжанина это был сон только. А здесь это была живая, подлинная действительность.

Там этот дивный сон кончался словами:

Сторож, гремящий ключами железными,
Стой, не буди!

Здесь широко открытые глаза видели долго жданную победу, освобождение, казавшееся сном, оказывалось явью.

Часто в одинокие дни и бессонные ночи на бесконечном протяжении этих одиннадцати лет грезил Борис об этом дне, об этом миге и в отдаленном предчувствии испытывал разрывающую грудь огромную радость.

В живой действительности радость и торжество лишь постепенно просачивались в сознание и медленно отходили назад свинцовые тучи одиннадцати лет неволи. Психика постепенно приспособлялась к новым условиям жизни.

ПОСЛЕ КАТОРГИ.

В Херсоне.— В Харькове.— В Крыму.— За работу.— Борьба.— Смерть.

История каторжанина Бориса Жадановского, отбывшего одиннадцать лет каторги в ряде централов и за эти одиннадцать лет ни разу не опустившего то знамя, нести которое он взялся в революционную бурю 1905 года, — могла бы окончиться совсем не так, как она кончилась. Он мог бы умереть от чахотки, подкарауливавшей его у ворот царской тюрьмы, но он мог бы и продолжать еще многие годы свою жизнь, как продолжают ее многие сотни тех, кто с ним вместе вступил на трудный путь каторжанина и кто вместе с ним, пережив самое трудное и самое ужасное, что только может представить себе воображение культурного человека, вышел живым из этих тяжелых испытаний. И мы не знаем, не можем знать, чем стал бы он и куда привела бы его жизнь в этом втором случае.

И нужно ли жалеть, что эта гордая и прекрасная жизнь оборвалась так рано? Ведь она оборвалась так дивно хорошо: под красным знаменем в защиту революции.

Дата его смерти — 27 апреля н. с. 1918 года [1].

* * *

Борис не поехал в Харьков немедленно по освобождении, хотя и страшно рвался поскорее личным присутствием обрадовать своих близких. Он оставался в Херсоне, чтобы ликвидировать тюрьму. Так же, как и в Шлиссельбурге, как и в ряде других каторжных мест, освобожденные политические Херсона не захотели, вырвавшись из каторги, махнуть рукой на оставшихся в тюрьмах уголовных. По акту амнистии Вр. Правительства освобождению подлежали только бесспорные, «чистые» политические, при чем этот акт совершенно обходил тех катор-

---

[1] Эту дату указывает Л. Н. Трофимова, присутствовавшая при его последних минутах. В некрологе, напечатанном в газете «Ялтинская Коммуна» (номер от 30-го апреля н. с. 1918 г.), указано 26 апреля. В статье Д. Зинковского «Тени минувшего» («Пролетарская Революция» № 2, 1921 г.) эта дата установлена, как 29 апреля.

жан, которые хотя и были осуждены по уголовным статьям, но преступления которых были продиктованы политическими мотивами. Кроме таких несомненных политических, в царской каторге томилось много случайных преступников, являвшихся жертвами павшего строя. Но и среди подлинных уголовных огромное большинство отнюдь не являлись закоренелыми преступниками, такими врагами общества, освобождение которых могло бы серьезно угрожать нарождающемуся новому строю. И совесть не позволяла оставить их в тюрьме: среди них очень многие поддерживали политических в борьбе с начальством, они переносили вместе суровый тюремный режим, они были товарищами по пережитому. И политические во главе с Борисом Жадановским их не оставили. На освобождение и на отправку их на родину пошло свыше трех недель.

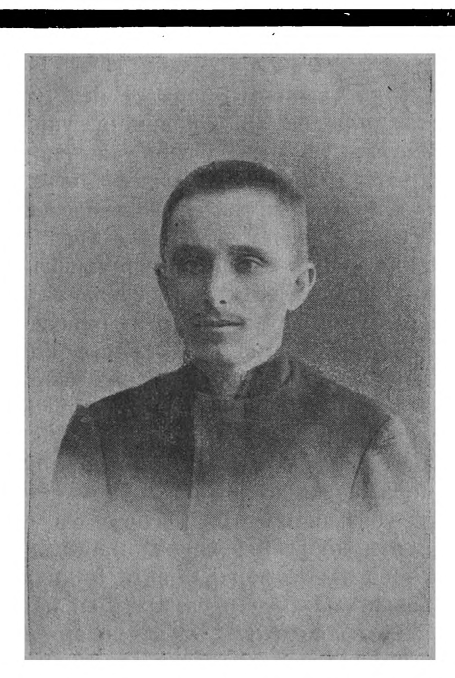
Только 31 марта обняла Ольга Николаевна, доживавшая свои последние дни, любимого сына.

В Харькове здоровье не выдержало, пришлось слечь в постель. Но и лежа в постели и потом, ставши на ноги и непрерывно выставляя себя на обозрение родных и знакомых, Борис жадно впитывал впечатления новой вольной жизни, впечатления революции. Он чувствовал, что для той работы, какую он только и мог бы нести в этой кипучей жизни, работы, в которую человек уходит с головой, у него не было сил.

Случайно, в революционном Красном Кресте он встретился с одним из товарищей по Шлиссельбургу, который предложил ему устроить его на поправку в Ялте в общежитии для амнистированных политических. За это предложение он ухватился с радостью. «Желания работать у меня хоть отбавляй, а вот сил физических не очень много, — думаю восстановить их полнейшим отдыхом в течение месяца в Ялте» — писал он своему другу Вл. Лихтенштадту.

Состояние его здоровья потребовало серьезного лечения и отдыха. Он поселился в Ялте на даче «Гнездышко», где, окруженный роскошной природой Крыма, наслаждался полным и безмятежным отдыхом до середины июня. К этому времени все соображения благоразумия начала пересиливать потребность активно вмешаться в развивавшиеся события революции и приложить свою руку к строительству новой жизни.

«Наше настроение начинает явно портиться, — пишет он о себе и об одном товарище по Херсону в письме от 10 июня, — от безделья начинает развиваться «меланхолия». Поэтому мы решили бросить такого рода жизнь и взяться за общественную работу сейчас же или, по крайней мере, возможно поскорее.» Но он не чувствует себя вполне подготовленным к такого рода работе, а на общественное поприще ему хотелось бы выступить во всеоружии. Надо подучиться. «Но если чему учиться, — писал он Вл. Лихтенштадту в вышеупомянутом письме, —



Б. П. Жадановский в 1917 г. по освобождении из каторги.

так учиться в высшей школе, т.-е. отправиться в самый центр, познакомиться с образцовой постановкой дела, а уж с таким опытом можно на свой риск и страх вести самостоятельно дело в какой-нибудь Чухломе, если уж это будет признано целесообразным». «Ведь вот и здесь в Ялте, — продолжал он, — можно было бы в сущности заняться работой; конечно, и здесь очень нужны дельные работники. И может-быть, мы-таки возьмемся здесь за работу, по крайней мере пока не решим окончательно вопрос о переселении, но все же это нам не больно улыбается: уж больно Ялта и по составу (жителей), и по положению никчемный городишко».

В сущности, единственным препятствием к осуществлению этих планов было здоровье. Оно, конечно, укрепилось, по его мнению, настолько, что он считал себя не застрахованным от принятия на военную службу, как бывшего офицера. В отношении его к этой возможной перспективе сказалась старая военная косточка. «Если призовут сейчас, — писал он, — я пойду, а если правительство наше сделает все от него зависящее для прекращения войны, или если у нас встанет у власти чисто-социалистическое министерство (чего я опасаюсь, но что, по моему, скоро случится), — тогда я пойду на войну добровольцем».

Но на военную службу его не взяли, уехать в центр ему также не удалось, и он сначала постепенно, а потом совсем с головой отдается общественной деятельности здесь в Ялте.

По своим убеждениям он был социал-демократом интернационалистом и почти целиком стоял на позиции газеты «Новая Жизнь». С этими убеждениями он и сошел в свою преждевременную могилу, хотя после переворота работал вместе с большевистской фракцией Ялтинского Совета, и буржуазия считала его одним из самых умных и идейных большевиков.

Он был гласным городской Думы, товарищем председателя Исполнительного комитета Ялтинского Совета, редактором газеты «Известия Ялтинского С-Р и С-Д, переименованной впоследствии в «Ялтинскую Коммуну» [1], состоял ответственным членом массы комитетов и комиссий — как он писал уже позже сестре.

В ноябре социал-демократическая организация Ялты раскололась по вопросу о переходе власти в руки советов на отдельные организации большевиков и меньшевиков. Борис, стоявший за этот переход, входил в выделившуюся группу интернационалистов.

В дни переворота в Ялте (10—13 января 1918 г.) он был захвачен в плен белыми, производившими налет на город, и уве-

[1] Помимо ряда статей на общественные и политические темы в № «Известий» от 25 дек. 1917 г. была напечатана его статья о восстании киевских сапер. К сожалению, мы не имели возможности ознакомиться с этой статьей.

зен ими по направлению к Симферополю, но по дороге бежал. 17 января его видели в Симферополе, где он связался с военно-революционным комитетом, захватившим там к тому моменту власть. По возвращении в Ялту он получает крайне ответственный и трудный пост продовольственного комиссара Ялты и уезда.

Эта новая работа увлекает его. «Я работаю много, — писал он сестре из Алушты 24 марта н. с., — и, полагаю, не без толку. Сейчас веду очень трудное дело продовольствия г. Ялты и уезда. Работа у нас в Ялте вообще очень налаживается. Ведем творческую работу и чувствуем, как строится новая жизнь. Положение страшно трудное, в особенности с осложнениями вне Ялты, но все же, я убежден, справимся мы».

Мирная работа, однако, была нарушена в середине апреля наступлением контр-революции в образе объединенных немецких войск и «гайдамацких» банд Центральной Рады, поддержанных местными татарскими и русскими белогвардейцами. В Ялте получилось известие, что Симферополь занят и делается центром дальнейшего наступления. На красную гвардию надежда была плохая: в ее кадры втесалось много всякого сброда; рабочих, вследствие местных условий, было в ней очень мало. Стала организовываться социалистическая дружина, в которую вошли преимущественно амнистированные политические каторжане, люди в большинстве не умевшие обращаться с оружием и не обученные военному строю. Борис стал во главе этого отряда и пытался использовать немногие остающиеся часы для обучения их основам военного дела.

Этих часов, к сожалению, оказалось слишком мало. 25-го апреля стало известно, что в Массандре в пяти верстах от Ялты появились гайдамаки и немцы. В рядах красной гвардии началась страшная паника, в Совете почти никого не осталось. Паника распространилась и на социалистическую дружину, расположенную в гостинице Джалита. С большими трудностями удалось Борису, никогда не терявшему спокойствия и хладнокровия, привести в порядок растерявшихся и отказавшихся повиноваться людей. Началось наступление на белогвардейцев. Социалистической дружиной совместно с теми остатками рассеявшейся красной гвардии, которые удалось Борису собрать, были заняты Массандра, Никиты и ряд других деревень до Алушты (40 вер. от Ялты). Вечером 26-го наступление прекратилось, на ночь были выставлены заставы. Борис наравне со всеми также стоял на посту, хотя силы его уже были на исходе.

Часов с 5-ти утра 27-го наступление продолжалось. Борис один выехал на лошади вперед. Социалистическая дружина шла цепью, за нею красногвардейцы. Через несколько времени передовые отступили в панике: Жадановский, говорят, ранен. Когда друзья прибежали к нему на помощь, они нашли его в стороне

от дороги. Раненый в ногу он очевидно упал и отполз с дороги. Подбежал гайдамак и ударом приклада разбил ему все лицо. Он еще дышал, но говорить не мог, хотя и пытался. Его отнесли на санитарный пункт, сделали легкую перевязку и повезли на автомобиле в Алушту. По дороге он умер.

Его тело было оставлено в Алуште в покойницкой. Остатки социалистического отряда и красногвардейцы, лишенные руководства, отступили на Ялту. Из Ялты хотели предпринять поездку в Алушту за телом, но не удалось. Вместе с другими убитыми он был похоронен на местном кладбище [1].

30 апреля Ялта была эвакуирована.

В 1919 году, когда Советская власть снова установилась в Крыму, одна из улиц Ялты, Кутузовская, была названа улицей Жадановского.

---

[1] Эту версию, рассказанную здесь со слов присутствовавшей при его смерти Л. И. Трофимовой, следует считать единственно правильной. Мало от нее отличается рассказ о смерти Жадановского в статье Д. Зинковского. Совершенно невероятна версия, распространявшаяся его врагами и нашедшая свое выражение в следующей заметке, напечатанной 26 мая 1918 года в Харьковской гетманско-хлеборобской газете «Возрождение»: «В Ялте». «Тело губ. Ялтинск. большев. комиссара по продовольствию Жадановского, получившего в последние дни пост главнокомандующего, разрушавшего вместе с ними весь район Алушта-Ялта, где бросавшимися шутки ради бомбами разбит весь виноградный район Гурзуфа, Сууксу, Алушты и пр., и убитого затем самими бандитами, — все еще не найдено». Здесь обычная черносотенная выдумка и клевета перемешаны. Однако автору пришлось слышать от товарища-каторжанина, бывшего в те дни в Ялте, рассказ о том, что Жадановский был убит возмутившимися против дисциплины красногвардейцами. Эта версия была, повидимому, довольно широко распространена. Вероятно, основание ей дал тот факт, что незадолго до своей гибели социалистическая дружина во главе с Жадановским прекратила начавшийся в Алуште самосуд красногвардейцев над местными жителями, заподозренными в сочувствии белогвардейцам. В социалистической дружине по словам Д. Зинковского было до 150 человек, из которых спаслось лишь около 40 человек.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Часть III.

В ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ.

Часть IV.

СТРАШНЫЕ ГОДЫ.

Цена 2 р.

